



ЕЛЕНА
МИХАЛКОВА

Нет кузнечика в траве

Annotation

Чужая жизнь – айсберг: наблюдателю видна лишь малая часть. Но какие тайны скрываются в глубине? Какие подводные течения несут его, и какими бедствиями грозит встреча? В благополучной на вид семье исчезает жена, и муж становится первым подозреваемым в ее смерти. Узел могут распутать детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин. Но для этого им придется нырнуть в темные воды прошлого и понять, что вмерзло в основание ледяной глыбы.

- [Елена Михалкова](#)

- - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Глава 14](#)
 - [Глава 15](#)
-

Елена Михалкова
Нет кузнечика в траве

© Михалкова Е., 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Глава 1

Греция, 2016

1

Гаврилов подошел к окну, стараясь ступать бесшумно, чтобы не разбудить жену. Начинало светать. Перед отелем лежало море и, казалось, тоже дремало, как и большинство постояльцев в этот ранний час.

Оделся он быстро. Схватил с сушилки полотенце и побежал вниз: с третьего этажа по лестнице, затем еще сто пятнадцать ступенек к морю, упиваясь своей ловкостью, – трр-р-р-р! – словно перебираешь клавиши аккордеона.

Он в детстве играл. Сохранилась фотография, где Гаврилов сидит на табуреточке, смехотворно маленький по сравнению с огромной лаковой пастью аккордеона, и стриженная его голова едва торчит над мехами.

«Нужна мне была эта музыка? – думал Гаврилов, стягивая футболку. – Ходил ведь, занимался... Помнится, лупили меня пару раз по дороге в школу».

Он посмотрел на свежий синяк слева под ребрами и поморщился.

Однако вскоре уже отмахивал свою тысячу метров по заливу. Не полагалось нарушать границу из красных буйков, но Гаврилов из чувства противоречия всегда подныривал под канат. Никто не будет указывать, где ему плавать.

На берегу он насухо вытерся, окинул взглядом синюю гладь. Ни рыбацких лодок, ни катеров, которые изредка вывозят туристов половить большую рыбу. Местные заламывают за поездку такую цену, что состоятельные немцы и англичане, уже предвкушавшие улов, недоуменно вскидывают брови.

Торговаться бесполезно. Местные жадны и ленивы, даром что весь этот благословенный край обеднел и корчится в припадках экономических болезней.

Гаврилов скривился: греков он не любил. Бездельники, и кухня так себе. В полдень возле отеля открывались три таверны. И отовсюду несло жареной сардиной, или окунями, или еще черт знает какими пучеглазыми тварями, которые даже мертвые смотрели на Гаврилова так, словно лишь

по недоразумению в корытце колотого льда оказались они, а не он.

Ни за что бы не приехал сюда, если б не Ольга.

– Калимера!

На стойке регистрации молодая горничная расставляла цветы.

Он буркнул в ответ «Доброе утро» и свернул к лифту. Спихватился: надо было попросить у девчонки бутон для жены. Но двери уже захлопнулись. Урчащий механический ящик с такой торжественной медлительностью вознес его на третий этаж, словно вышел далеко за пределы своих рабочих обязанностей и теперь ждал чаевых.

Вот что еще злило его. Этот запущенный отель, стоящий вдалеке от достопримечательностей и трасс, словно пытался утвердить главенство над обитавшими в нем людьми. Антропоморфизм был Гаврилову чужд. Он высмеял бы любого, кто посмел бы предположить, будто он наделяет ветхое здание душой.

Тем неприятнее было ловить себя на ощущении, что он пленник враждебного существа, следящего за каждым его шагом.

Гаврилов был рациональным человеком. Он прекрасно осознавал, что все дело в профессиональной непригодности управляющего и распущенности персонала. Но не мог отделаться от мысли, что это место развращает людей.

В первый же день отпуска, ужиная на открытой террасе, Гаврилов попросил менеджера поставить ширму. С моря дуло так, что казалось, с него вот-вот сорвет не только одежду, но и плоть, и на стуле останется объединенный хищным ветром скелет.

– Ширма? – удивился менеджер. – Нет, сэр, у нас нет никаких ширм. Вы можете вернуться в ресторан.

– Там кондиционер, – сквозь зубы сказал Гаврилов. – А здесь дует.

При слове «дует» официант обрадованно закивал, наклонился и доверительно шепнул:

– Это море, сэр. Здесь так и должно быть.

Ольга тогда засмеялась.

А Гаврилов не понимал, что здесь смешного, и внятно объяснил ей: это туристическое место, пусть и малоизвестное; оно существует за счет него и ему подобных; следовательно, здесь все должно быть устроено так, как хочет клиент.

Смех жены всерьез его задел. Он горячился, размахивал руками, уронил вилку, и та зазвенела по мраморным плитам, словно тоже хихикала над ним.

– В конце концов, можно поужинать в номере, – примирительно сказала Ольга. Но дело ведь было не в ужине и не в номере, а в том, что он был прав, тысячу раз прав, а она отказывалась это признать и, значит, играла на стороне противника: официанта, вилки и ветра.

Он высказал ей и это.

– Официанта, вилки и ветра? – переспросила жена.

И вдруг захохотала. Она хохотала так, что им пришлось уйти с террасы, потому что на них начали коситься, и продолжала хохотать как сумасшедшая, пока он тащил ее по коридору. Она не замолчала и возле стойки регистрации. Только в номере ему удалось ее успокоить.

– Чертов отель, – пробормотал Гаврилов.

Лифт издал мелодичное восклицание, означавшее, что они наконец-то добрались до третьего этажа. Вместо того чтобы выйти, Гаврилов с мстительной радостью вмял пальцем в панель кнопку с цифрой «1». Давай, валяй обратно! Он осознавал, что его поведение нелепо. Но на губах играла удовлетворенная ухмылка, когда лифт, кряхтя и гроыхая механическими суставами, потащился вниз.

Горничная уже ушла. Спросить разрешения было не у кого, и Гаврилов молча вытащил из букета цветок, похожий на пион. На обратном пути не стал пользоваться лифтом, а поднялся по лестнице.

Войти в номер. Склониться над спящей Ольгой. Положить цветок на подушку, чтобы первым, что она увидит при пробуждении, оказались розовые лепестки.

Он толкнул дверь и замер: постель была пуста.

– Оля?

Внезапно его окатило волной безотчетной тревоги. Отель, о котором он думал как о затаившемся недоброжелательном существе; его дурацкая выходка с лифтом; наконец, неожиданное отсутствие жены, которая в ранний час еще должна была спать, – всё это слилось в жутковатую картину, абсурдную, но не лишенную внутренней логики.

Страх сменился облегчением, едва он увидел полосу света из щели под дверью уборной.

Гаврилов перевел дыхание.

– Эй, всё в порядке? – Он легонько постучал.

В ответ на его прикосновение дверь медленно распахнулась. За ней оказалось пусто. Только из зеркала испуганно смотрел небритый мужчина лет пятидесяти, с полотенцем на плечах и цветком в руке выглядевший как персонаж идиотской комедии.

– Оля, ты где?

Он выбежал на балкон. С замиранием сердца перегнулся через перила. Внизу зеленела лужайка, за ней сплелись колючими ветвями кусты – естественная преграда перед скалистым обрывом.

Гаврилов выглянул из другого окна. Чистильщик в панаме сомнамбулически бродил вокруг синего прямоугольника бассейна, волоча за собой сачок.

Ольги не было.

Он быстро обшарил вещи. Телефон под подушкой. Фотоаппарат на подоконнике, рядом с биноклем. Из одежды ничего не взято, обувь на месте.

Гаврилов сбежал вниз, к лобби, и долго звонил в колокольчик, пока к нему не вышел заспанный менеджер с глубокими отпечатками подушки на лице, похожими на шрамы, оставленные сновидениями. Мадам нет в номере? И что же? Нет, он не видел мадам, но уверен, что с ней всё в порядке. Возможно, она спустилась в бар выпить кофе.

– Ваш бар работает с двенадцати, – еле сдерживаясь, процедил Гаврилов.

Менеджер выразительно пожал плечами.

– Значит, она купается, – заверил он, улыбкой показывая, что проблема решена.

Гаврилов поймал за рукав идущую мимо горничную.

– Вы не видели мою жену?

Девушка тоже предположила, что Ольга пошла на море. Или решила прогуляться ранним утром. Она ведь, кажется, фотограф?

Гаврилов обежал небольшую территорию, поросшую соснами, заглянул в общественные туалеты. На парковке под тентом какая-то старуха упаковывала вещи в багажник «Фиата». Но и она отрицательно покачала головой в ответ на его расспросы.

Испуганный и злой, Гаврилов вернулся в номер. В нем теплилась надежда, что жена будет там и недоразумение вот-вот разъяснится.

Ольга не появилась.

Следующие два часа слились в вязкий кошмар. Он побывал на берегу моря, хотя твердо знал, что к воде она не спускалась. Бегал по камням, выкрикивая: «Детка! Детка!» Вернувшись, еще раз осмотрел отель.

Повара удивленно наблюдали, как он обыскивает закутки на кухне. Гаврилова сопровождал менеджер с приклеенной улыбкой, твердя, что тот напрасно волнуется.

Подошло время завтрака. Постояльцы подтягивались к лобби, точно сонные рыбы к кормушке. Гаврилов всматривался в них, ощущая себя

потерявшейся на вокзале собакой.

В девять часов он потребовал вызвать полицию.

Его пытались вразумить. Сначала мягко, потом настойчиво, взмахивая руками и наперебой убеждая, что он придает чрезмерное значение пустякам. Мадам ушла гулять!

– Без обуви? – рычал Гаврилов.

Возможно, он помнит не все ее туфли.

– В пижаме?

Сегодня очень жаркий день.

– Тогда почему она до сих пор не вернулась?

– Купается, – пожали плечами окружавшие его люди.

Гаврилов обвел взглядом их лица. Ему показалось, что у каждого сквозь маску снисходительного сочувствия пробивается насмешка.

– Вызывайте полицию, – хрипло повторил он. – С ней что-то случилось.

Девять дней спустя

2

Самолет из Москвы приземлился в аэропорту города Салоники в девять утра. В числе ступивших на трап было двое: худощавый юноша с обаятельной улыбкой и огромный, как медведь, коротко стриженный мужчина в джинсах и мятой футболке. Юноша, оказавшись под солнцем Греции, нахлобучил на голову сомбреро, подаренное ему попутчицами. Мужчина смерил его насмешливым взглядом и вытащил из сумки черную бейсболку.

В таком виде они предстали перед службой паспортного контроля. Сотрудник пограничной службы попросил обоих снять головные уборы и заглянул в паспорта.

Юношу с сомбреро звали Макар Илюшин. Хмурого здоровяка, мявшего в руках кепку, – Сергей Бабкин.

– Цель прибытия? – заученно спросил пограничник.

– Отдых, – весело ответил юноша.

– Его отдых, – мрачно ответил мужчина, кивнув в сторону Илюшина, уже прошедшего контроль.

Высокое небо. Густое душноватое тепло. Многоголосый стук тележек по тротуару.

Лишь с пятым по счету такси им повезло. Водитель, услышав о пункте назначения, помялся и кивнул. Когда загрузились, стало ясно, что внутри не работает кондиционер.

– Пить хочется, – сказал Сергей. – Давай попросим остановиться на заправке, я куплю какую-нибудь колу. Сколько нам ехать?

– Часа три.

Шофер припарковал машину и молча вышел. Хлопнул багажник. Мужчина вернулся в салон и протянул Сергею литровую бутылку с водой.

– Говоришь по-русски? – спросил Макар.

Тот усмехнулся.

– Пятнадцать лет на русской женат. – В речи явственно звучал акцент. – Говорю по-русски, понимаю по-русски. Молчать тоже скоро буду по-русски.

Они тронулись, быстро набирая скорость. Дорога в очередной раз вильнула, и за поворотом открылось море – неожиданное, как подарок без повода. Оно походило на растянутую до горизонта синюю фольгу, местами смятую, с заломами и морщинами. Солнечные лучи отскакивали от нее, как мячики, и разлетались во все стороны, так что глазам было больно смотреть.

Сергей все равно смотрел.

– Красота какая, – сказал Илюшин.

– Ни ты, ни я не знаем языка, – помолчав, сказал Бабкин. Ветер врывался в приоткрытые окна, дергал за одежду, как назойливый нищий.

– Чувствуешь, соснами пахнет! – Макар будто не слышал его замечания.

– Это освежитель. Ты понимаешь, что мы на каждом шагу будем нарушать местные законы?

– И тепло!.. – Илюшин потянулся на заднем сиденье. – Наконец-то тепло. Говорят, в Сибири снег выпал. В июне.

– На то она и Сибирь, – рассеянно сказал Бабкин и стал смотреть в окно.

Он не любил авантюры. А больше всего не любил авантюры, заканчивающиеся неудачами.

Они ехали не три часа. Вдоль моря, по серпантинам, мимо длинных теплиц и сосновых рощ, мимо пыльных деревень, в которых перед тавернами курили старики, мимо плантаций олив, росших безупречно ровными рядами, точно гигантская петрушка, – так долго, будто время потерялось где-то среди апельсиновых деревьев, как подросток, гонящийся

мячики недозрелых плодов.

Сергей сначала ерзал, потом отодвинул сиденье до упора, откинул спинку... Он ненавидел путешествия за необходимость упаковывать себя в ячейки недружественного пространства, предназначенные для тел совсем другого калибра. Кресла в самолете казались ему спроектированными с расчетом, что в них будут сидеть хорьки. В проходах он невольно чувствовал сходство с огромным соленым помидором, который пытаются протащить через узкое баночное горлышко. Вставая с места, Сергей неизбежно ударялся головой о багажную полку и даже не знал, что злит его сильнее: боль, приглушенные смешки или сочувственные взгляды.

Материальный мир упорно напоминал, насколько он здесь неуместен, и Сергей без капли иронии полагал, что платить за авиабилеты в его положении – верх издевательства.

Он обернулся к Илюшину. Тот растянулся на заднем сиденье и безмятежно дремал, прикрыв лицо подаренной шляпой.

Море, рощи, море, рощи, море... Когда однообразие пейзажа нарушилось холмом, у подножия которого белели дома, Сергей вынырнул из своего полузабытья. Вскоре открылся невысокий отель, увитый розовой бугенвиллеей. Центральный вход был украшен двумя гигантскими амфорами, претенциозными, нелепыми и в то же время грозными в этой нелепости, – как напоминание о богах, некогда бродивших по высохшей земле среди смертных, а ныне оставшихся только в виде рисунков на обожженной глине.

– Прибыли, – сказал Бабкин и обернулся.

Илюшин уже сидел, крутил головой, и в ясных серых глазах не было ни капли сна.

В вестибюле отеля, прохладном и пустом, им навстречу поднялся грузный мужчина.

– Гаврилов, Петр Олегович. Спасибо, что приехали.

Сергей увидел одутловатого человека с тем едва заметным выражением брезгливости на лице, которое свойственно людям, облеченным властью. Из досье Бабкин помнил, что Петр Гаврилов, прежде чем уйти в крупную нефтяную структуру, служил в управе одного из московских районов. Его прочили на место главы, когда вокруг управы разразился скандал. Стремительно закрутившимся смерчем сплетен и газетных статей на обозрение публики выносило то мебель для школ, которую Гаврилов якобы заказал по цене в сорок раз выше реальной, то пандусы для инвалидов, по которым не могла въехать ни одна коляска, то

безродных собак, выгнанных вместе с волонтерами, чтобы на месте приюта мог открыться ресторан «Русское застолье».

«Почти каре, – сказал Илюшин, изучив краткую биографическую справку будущего клиента. – Школьники, калеки и дворняжки. Странно, что упустили пенсионеров». – «Не веришь, что Гаврилов действительно этим занимался?» – «Отчего же? Но больше похоже на заказ. Кто-то его выдал. Ладно, нас это не касается».

Тогда Бабкин решил, что Макар прав. Однако при первом же взгляде на Петра Гаврилова он ощутил родство с оскорбленными инвалидами и лишенными крова собаками. Стоящий перед ним человек не просто был когда-то типичным чиновником – что гораздо хуже, он им и выглядел. Со времен работы оперативником Бабкин не терпел подобных людей. Им все сходило с рук.

– Ко мне в номер поднимаемся, там я все расскажу, – распорядился Гаврилов, направляясь к лестнице.

– Сначала мы отнесем вещи и примем душ, – с неожиданной злостью возразил Сергей.

Взгляд Илюшина заставил его замолчать.

– Дорога была тяжелая, Петр Олегович, – кротко сказал Макар. – Нам потребуется не больше получаса.

Кажется, и Бабкин, и Гаврилов хотели изменить этот срок – один в большую, другой в меньшую сторону. Однако Илюшин, закинув на плечо рюкзак, каким-то магическим образом уже переместился к стойке регистрации.

За окнами просторной комнаты мерно вздыхало море. От бассейна долетали выкрики детей, и Гаврилов, поморщившись, закрыл створку.

– Я вышел из номера около шести утра. – Эту фразу он повторял, должно быть, уже тысячу раз. – Оля спала. Когда я вернулся, ее не было. Все ее вещи на месте. Обувь, телефон, деньги, документы. Я вам рассказывал...

Илюшин кивнул. Да, день назад Гаврилов позвонил ему в Москву. Он изложил свое предложение так сухо и деловито, что Макару захотелось согласиться из одного только любопытства: как выглядит человек, платящий тройную цену за расследование в чужой стране и при этом ни разу не выказавший волнения?

Сейчас, рассматривая клиента, он осознал, что тот держится из последних сил. Голосом Гаврилов владел неплохо. Лицом хуже. Мелкая,

едва заметная судорога пробежала по нему время от времени, искажая черты до неузнаваемости. Илюшин попытался мысленно сфотографировать это другое лицо. Но судорога продолжалась долю секунды. Он не успевал за ней.

– Ваша жена спала голая?

– В пижаме. – Гаврилов показал на кондиционер. – Он постоянно включен. Слабый.

– Пижаму нашли?

– Ничего не нашли. Я же сказал!

Он зачем-то принялся яростно нажимать на кнопки пульта. Узкая панель кондиционера приоткрылась, дохнула холодом и снова захлопнулась.

– Петр Олегович, – позвал Макар. Гаврилов все терзал пульт. – Петр Олегович...

– Слышь, мужик! – вмешался Бабкин.

Петр очнулся. В глазах мелькнуло диковатое изумление, словно он впервые увидел этих двоих.

– Или психуешь, или работаем. – Сергей отобрал у него пульт и бросил на диван. – Нервы шалят? Выпей.

Гаврилов обмяк.

– У меня жена пропала...

– Это мы уже знаем, – сказал Макар. – И вы обратились в полицию.

Пока Илюшин пытался добиться от клиента ответов, Бабкин шагнул к бару. Тот оказался забит пустыми бутылками из-под виски. Среди них одиноко лежала зубная щетка с толстой гусеницей зеленоватой пасты и скрученный в жгут носок.

– М-да...

В дальнем углу нашелся непочатый скотч. Бабкин нацедил треть стакана и сунул клиенту.

– Это что? – вскинулся Гаврилов.

– Валерьянка.

Сыщики молча смотрели, как клиент глотает скотч не морщась.

– Ты бухло, которое в баре, в одну харю выжрал? – спросил Сергей, сознательно перестраиваясь на близкий Гаврилову язык. – Или были компаньоны?

Петр посмотрел на него проясневшим взглядом и ничего не ответил.

Андреас вытащил лодку на песок. Солнце заливало маленькую бухту – сегодня он припозднился с возвращением. Несколько чаек, сопровождавших его последние пару миль, выжидающе расселись на камнях.

Пальцы погрузились в мокрую сеть, когда наверху раздался шум. Задрав голову, Андреас разглядел невысокую фигуру с шапкой курчавых волос. Юноша спускался по тропе. Камни и песок, сброшенные вниз, со змеиным шуршанием скользили среди кустов.

– Доброе утро, Андреас!

– Сколько? – спросил рыбак. Он не любил тратить лишних слов, и особенно не любил тратить их на лишних людей.

– Четыре, восемь – сколько есть.

Парнишка с любопытством заглянул в лодку и едва удержался на ногах, когда мозолистая рука толкнула его в плечо.

– Знаешь, от чего собака сдохла? – спросил рыбак.

Ян покачал головой.

– Совала нос не в свое дело.

Он сам вытащил пойманную рыбу. Перламутровые тушки, уже начавшие тускнеть, одна за другой легли на широкую доску, омытую морской водой.

– Выбирай.

Ян ткнул пальцем в десять самых крупных, немного подумал и прибавил к ним еще три помельче. На кухне столько не требовалось, но он надеялся, что Андреас быстрее забудет о его промахе, если выручит больше.

Длинная тень легла возле него. Юноша непроизвольно отодвинулся.

Рыбак помолчал, что-то прикидывая в уме. Потом назвал цену.

– Опять приезжие? – спросил он, пока Ян облегченно отсчитывал деньги.

– Двое.

– А.

Одним этим коротким восклицанием Андреас выразил сомнение, что в ресторане понадобится столько рыбы, и одновременно дал понять, что это не его дело. Хотят купить – он продаст.

– Русские, – добавил Ян. – За той бабой, которая пропала.

Смуглая рука Андреаса задержалась над купюрами. Юноша хотел спросить, что означает татуировка, но вспомнил о дохлой собаке и промолчал.

– Что, нашлась? – после паузы спросил рыбак.

- Они искать будут.
 - Лучше бы рыб нанял, – усмехнулся рыбак.
- Ян угодливо хихикнул.

Вообще-то ему нравилась исчезнувшая русская туристка. Она была *трели*, чокнутая: фотографировала всякую ерунду. Пустую стену, исчерканную тенями. Сломанную ветку. Грудю камней. Пыльную дорогу. Как-то раз он спросил, зачем она это делает, когда вокруг столько прекрасных пейзажей.

Женщина усмехнулась и на хорошем английском ответила, что есть уже сто снимков здешнего моря, но нет ни одного снимка местной пыли. Это несправедливо. Если подумать, пыль ничуть не уступает морю. В ней даже можно купаться, – в подтверждение она кивнула на воробьев, барахтающихся неподалеку.

Ян хотел обидеться, что с ним разговаривают как с дураком. Но она подмигнула ему, и он признал ее право уйти от ответа.

И еще она заплатила, когда он показал ей гнездо сорокопута. Целых пять евро, а потом записала номер его телефона и прислала ему готовую фотографию. Заработать пятерку было приятно, но получить снимок птиц – еще лучше. Как будто из пацана на побегушках Яна повысили до помощника профессионального фотографа.

Он очнулся, поняв, что Андреас ему что-то протягивает. Десять евро.

– Завтра придешь сюда снова, – сказал рыбак. – Расскажешь, где они были.

- Кто?
 - Русские. Где были и что выяснили.
- Ян заколебался.
- Хочешь больше? – оскалился Андреас.

Зловещая двусмысленность прозвучала в его вопросе. Ян торопливо схватил купюру и сунул в карман. Молча сложил рыбу в пакет и уже собирался карабкаться обратно, когда его пригвоздила к месту тяжелая ладонь.

Ему показалось, рыбак не живой, а каменный, как те статуи, что он видел на экскурсии по Афинскому кладбищу. Надавит чуть сильнее, и Ян провалится под землю, сразу в ад.

- Ты же умный парень, правда?

Когда такие люди, как Андреас, спрашивают об уме, они имеют в виду вовсе не способность возводить двадцать семь в квадрат.

- Конечно, – выдавил Ян. – Я никому не скажу, честное слово.

Его потрепали по зашивке, вручили пакет. Он выскользнул и кинулся

наверх, не замечая крутизны подъема.

Вернувшись домой, Андреас постоял, задумчиво разглаживая купюры. От рук несло рыбой. Деньги теперь тоже воняли. Он принялся, жадно втягивая ноздрями воздух.

Из кухни вышла жена.

– Позови Мину, – сказал он, не глядя на нее.

Роза скрылась и вернулась, ведя за руку старшую дочь. При виде девушки замкнутое лицо Андреаса озарилось улыбкой. Он усадил ее на табуретку и сам присел перед ней на корточки.

– Сюда могут прийти гости, девочка моя, – сказал он. – Скажи мне, ты делала что-нибудь плохое?

Несколько секунд в голубых навывкате глазах ничего не отражалось. Затем медленно, очень медленно, как издалека плывущее облако, в них появилось удивление.

– Плохое?

– Плохое, Мина. Если тебя станут спрашивать.

– Кто спрашивать, папа?

– Чужие люди. Незнакомые.

Круглое лицо исказилось в гримасе обиды и испуга.

– Я н-ничего плохого! – в голосе прорезались визгливые ноты. – Честное слово!

– Чш-ш! – Андреас положил ладонь на руку дочери. Жена стояла молча в отдалении. – Тише, тише. Я знаю, девочка моя. Главное, чтобы никто не убедил тебя в обратном. Но все-таки расскажи мне. Что дурного ты делала?

– Цыпленка не я! – всхлипнула Мина и закрыла лицо ладонями. – Цыпленка убила Катерина!

Быстрый хитрый взгляд из-за растопыренных пальцев убедил Андреаса, что дочь лжет.

– Что еще? – допытывался он.

– Ничего не знаю!

– Мина, представь, будто я чужой человек. Что ты должна сказать ему?

– Чужой?

– Да.

– В новой одежде?

– Может быть. В новой. Да.

– Мужчина? – допытывалась Мина.

– Мужчина, мужчина!

Девушка повела плечом и кокетливо засмеялась.

– Хватит! – рявкнул Андреас. Пальцы, мягко поглаживавшие запястье дочери, впились в ее кожу. Мина заверещала как обезьяна, рванулась, но оплеуха заставила ее сжаться на табуретке. – Дура! Что надо отвечать чужим на все вопросы?

Мина хныкала, прижимая ладонь к щеке.

– Девочка моя маленькая. – Переход от ярости к нежности был молниеносным. – Чему я тебя учил? Отвечай, не бойся.

Девушка замигала часто-часто и выдавила:

– Спросите у Катерины!

Андреас торжествующе засмеялся.

– Молодец! Умница моя!

– Спросите у Катерины! – радостно повторила Мина. – Спросите у Катерины! Спросите! У! Катерины!

Андреас, хохоча, поднялся и хлопнул себя по ляжкам.

– Ай да девочка! Слышала, Роза? Наша дочь знает, что сказать чужакам.

Женщина молча кивнула.

– А ты? – внезапно спросил рыбак. – Знаешь?

– Я все время в доме, – тихо ответила та. – Я буду отвечать: «Вам лучше спросить моего мужа».

Несколько секунд Андреас буравил ее взглядом, затем, успокоенный, кивнул. За его спиной Мина продолжала талдычить: «Спросите Катерину».

– Славная шутка, а, Роза?

Не дождавшись ответа, он вышел во двор.

– Да замолчи уже, – в сердцах прикрикнула женщина на дочь.

Скотч помог. От клиента удалось добиться связного рассказа о том, что произошло после исчезновения его жены.

По вызову приехала местная полиция и поначалу отнеслась к его заявлению серьезно. Отель обыскали, осмотрели ближние скалы и побережье.

– В этом районе всего несколько бухт пригодны для купания, – устало рассказывал Гаврилов. – Местность скалистая, в воду не залезешь. Ничего, конечно, не нашли. В конце концов решили, что Оля упала с обрыва.

– Что потом?

– Я побывал в консульстве. На следующий день здесь появился какой-

то потасканный тип с усами... Кажется, следователь из Афин. Если я правильно понял. Не уверен, что хорошо соображал.

Бабкин вспомнил батарею пустых бутылок.

– И что следователь?

– Он был не один. С ним трое, может, четверо. По новой обыскали отель. Осмотрели каждую комнату, светили... специальными фонарями.

– Ультрафиолетом, – подал голос Сергей. – Исключали версию, что ваша жена была убита в одном из номеров отеля.

– Моя жена вполне могла быть задушена, – криво усмехнулся Гаврилов. – Никакая криминалистическая лампа не помогла бы обнаружить следы. Еще привели собаку.

– Собаку?

– Чтобы взяла Ольгин след. Дебилы!

Бабкин вынужден был согласиться. Спустя три дня после исчезновения человека искать его следы в отеле, где все исхожено клиентами? Демонстрация активной деятельности, показуха.

– А потом кто-то из персонала дал показания... Я так и не узнал, кто именно.

– Какие показания?

– Будто бы мы ссорились. И я постоянно орал на Олю. А она...

Петр споткнулся на полуслове. Бабкин поймал его быстрый взгляд, брошенный на бутылку возле кресла.

– А она? – переспросил он, не двигаясь с места.

– ...заигрывала с местными. С официантами. Менеджерами. Как бы в отместку.

Последнее признание далось клиенту тяжело.

– Она действительно заигрывала? – поинтересовался Макар.

Гаврилов оторвал взгляд от бутылки и перевел на Илюшина. Он сидел набычившись, смотрел исподлобья, – побагровевший, потный, люто ненавидящий их обоих и несчастный настолько, насколько могут быть несчастны люди, которых некому жалеть.

– Нет, – выдавил он наконец. – Это бред. Но они вцепились в меня... Решили, будто я ее изводил.

Гаврилов умолчал о том, как двое суток подряд ожидал, что ему вот-вот будет предъявлено обвинение. Во всех взглядах он ловил невысказанную мысль: ты что-то сделал с ней. Он частично помешался, наверное, и вдобавок пил без перерыва, вызывая все большее отвращение у окружающих. Люди не любят иметь дело с жертвами. Другое дело – человек, прикончивший собственную жену и поднявший шум, чтобы

отвлечь от себя подозрения. Когда Гаврилов осознал, что в его номер каждый час заглядывает кто-нибудь из персонала, и на лицах их, смуглых носатых лицах сияет плохо скрытый восторг, он окончательно обезумел. «А-а-а, зоопарк! – надрывался он, стоя посреди комнаты в одних семейных трусах. – Денег даете, чтобы посмотреть на меня? Давайте, уроды! Я вам сам заплачу! А, каково?» Он расшвырял вокруг горстями звонкую мелочь, которую Ольга держала для чаевых, а когда деньги кончились, начал швырять стулья.

Молоденькая горничная, зашедшая якобы для того, чтобы оставить полотенца, с визгом убежала. Его едва не выставили из отеля. Уезжать Гаврилову было никак нельзя. Пришлось забыть про виски.

Без выпивки стало совсем плохо.

– Полиция пришла к выводу, что жена от меня свалила, – бесцветным голосом сказал он. – Ольга меня боялась. Я ее запугал. Настолько, что она бросила все, дождалась, пока я уйду купаться, и исчезла.

– Эту версию подтверждают только показания персонала? – спросил Сергей. – Или есть улики?

– Какие еще улики... Ничего у них нет.

– И это весь результат расследования?

– Понятия не имею. Здесь уже два дня никто не появлялся.

Макар внимательно посмотрел на него.

– Почему ваша жена не могла уйти купаться за вами следом?

– Потому что у нее болело горло. – Из голоса Гаврилова снова исчезли эмоции. – Она легко простужается. Если окунется в прохладную воду, точно разболеется. Поэтому она не была утром на море. Это исключено.

– А сбежать от тебя могла? – не удержался Сергей.

По губам Гаврилова пробежала диковатая усмешка.

– Без фотоаппарата?

– Что?

Усмешка стала шире.

– Ты слушал, что я рассказывал? Ольга – фотограф. Она не оставила бы камеру. Никогда! Моя жена скорее бросила бы меня, чем свой «Кэнон». Но нас обоих она бросить не могла.

Он наконец захохотал, мучительно и неестественно, словно выпуская застоявшийся смех, который давно прокис у него внутри.

Глава 2

Русма, 1992 год

1

Все началось с голубя.

Или нет.

Все началось раньше. Когда Димка Синекольский нарисовал в атласе по географии голую бабу, разлегшуюся на Евразии.

Или нет.

Может, все началось, когда они вышли из такси и увидели свой новый дом?

Раз за разом Оля Белкина пыталась найти день, о котором определенно можно было бы сказать: «Именно отсюда все пошло не так».

Вот бы заполучить машину времени, как у Герберта Уэллса.

Она неосторожно поделилась с Димкой своей мечтой. Циничный Синекольский заржал. Могу, говорит, показать тебе даже не машину, Белочка, а настоящий эликсир времени. Зайди как-нибудь в субботу с утра к вашему соседу Власову. Часиков в десять он будет уже поддатый. Садись на табуреточку и слушай его вдохновенные рассказы о том, как всю интеллигентскую сволоту и жидовщину пересажают по его доносам, едва те дойдут до товарища Сталина. Он, кстати, сразу набело их пишет, причем таким почерком, что наша Кулешова указку бы сгрызла от зависти. Зайди-зайди, это ж натуральное шапито! Меня бабка к нему таскала пару раз, они старые приятели.

В шапито Оля не хотела.

Машина времени, сказал Синекольский, это просто дополнительный миллион возможностей просрать свою судьбу.

Задумавшись о судьбе, Оля завернула за угол продуктового и врезалась в старуху Шаргунову. Та выронила пакет с конфетами, клетчатые батончики «Школьницы» разлетелись по тротуару.

– Гхэ-э-э-э, – сказала старуха и глянула на окаменевшую Белкину мертвыми глазами.

Оля боялась в Русме только двух человек. Шаргунова была одним из них. Ее тощее как палка тело венчала крошечная голова – круглая и ровная,

словно декоративные тыквы, которые мать выращивала по осени на продажу. В этой несоразмерности крылось что-то невыносимо жуткое.

В русминской библиотеке Оля однажды наткнулась на статью о высушенных человеческих головах – тсантса. Журнал она незаметно утащила со стола библиотекаряши Марии Семеновны, заинтригованная иллюстрацией.

Забывая от ужаса дышать и не в силах захлопнуть журнал, девочка читала, как кожу стягивают с черепа, как наполняют горячим песком, как индейцы выскребают внутреннюю поверхность тсантса ножом, и руками возвращают искаженные посмертные черты к прежним, живым.

Она вышла из библиотеки с таким чувством, будто это ее собственный череп набили раскаленным песком. И первым, кто попался ей навстречу, оказалась Шаргунова.

Старуха пересекала дорогу – долговязая, тощая, с микроскопической головкой, из которой торчали длинные черные волосы, и не сводила с Ольги равнодушного взгляда.

Девочка закричала и шарахнулась в сторону.

– Тихо, тихо, ты чего!

Ее схватили большие крепкие руки. Встряхнули, прислонили к стене. Подняв глаза, Оля узнала человека, которого пару раз приводил домой отец.

Тот смотрел на нее улыбаясь.

– Зойку испугалась? Да не бойсь. Она полуслепая. Вишь, у нее бельма на зенках?

Шаргунова прошаркала мимо. Оля не посмела взглянуть на ее лицо.

– Бате твоему скажу, пусть приведет тебя к ним познакомиться.

– Не надо... бате... – выдавила Оля.

Она вспомнила, что спасителя зовут Виктор. Виктор Левченко.

– Не говорите папе, дядя Витя. Пожалуйста.

– Ну, дело твое, – хохотнул Левченко. – А то познакомилась бы с Шаргуновыми. У них три бабы, одна другой страшнее. Как в цирк к ним хожу, ей-богу! Ладно, беги. Вечерком заглядывай, Марина блинов обещала напечь.

Оля облегченно кивнула и быстро пошла прочь.

И вот теперь конфеты.

Любому другому человеку она помогла бы собрать их не задумываясь. Но мысль о том, что придется дотронуться до желтых восковых пальцев, парализовала ее волю. *Что, если они холодные?* Старуха стояла, беззвучно шевеля губами, словно стягивая силы для проклятия.

– Это, мил-моя, не дело! – вдруг хрипло объявила она. Присела на корточки и принялась шарить вокруг. Вид у нее был одновременно устрашающий и жалкий.

Оля оглянулась. Никого. Свидетелей ее постыдной трусости не нашлось. Она попятилась, обошла по широкому кругу сгорбившуюся фигуру и кинулась к пятиэтажке, стоявшей на окраине.

– Где тебя носит? – недовольно спросили из темного угла, едва Ольгина голова показалась над полом.

– Сегодня, между прочим, классный час был. – Девочка подтянулась над чердачным люком, выпрямилась и отряхнулась. – Рассказывали о вреде наркотиков.

– Значит, я в тему клея нанюхался.

Из темноты показался мальчишка, волочивший стул размером почти с себя. Оля только теперь почувствовала, как сильно пахнет «Моментом».

– Фу! Ты все провонял!

Она распахнула маленькое чердачное окно.

– Закрой, балда! Увидят!

Димка установил стул на свету, присел перед ним и любовно погладил по спинке.

Сломанный стул они с Олей притащили из Ямы.

Ямой назывался овраг, куда жители поселка сбрасывали рухлядь. Когда-то по нему текла река, певучая и живая. Потом пришли люди. Река то ли высохла сама, испугавшись гостей, то ли была насильно загнана под землю, – Оля не знала, а родители и подавно: они слишком недолго прожили в Русме. Остался овраг. По склонам его долго еще кустилась земляника, крупная и сладкая, как мармелад.

Кто первый придумал выкидывать сюда мусор, дознаться не удалось. Сперва жители возмущались, призывали разобрать помойку и наказать виновного. Но постепенно идея осела в умах, укрепилась, и стало казаться, будто овраг именно затем и существует, чтобы у людей было место для ненужного хлама и старья.

Постепенно исчезли кусты земляники. Склоны покрыли крапива и полынь. Овраг лишился собственной души и стал Ямой – страшеньким детищем природы и человека.

Для взрослых это была гигантская свалка.

Для детей – остров погибших кораблей.

Здесь можно было найти альбомы со старыми фотографиями, заправленными в бархатные уголки, – пожелтевшие листья, облетевшие с

навсегда иссохших генеалогических древ. Обломки старинной мебели: кокетливые гнутые ножки, пустые ящички, истершиеся кресла, похожие на одряхлевших старух в бархатных накидках. Поношенную одежду; резиновые игрушки, потускневшие, как и те дети, которые играли ими когда-то; книги, потерянно шелестевшие на ветру страницами; драные сумки с такими яркими подкладками, словно внутри каждой таилась бабочка; и много, много других бесценных вещей.

Димка однажды притащил из оврага мешок лекарств, просроченных лет на двадцать. Оля заставила его все это выкинуть, и он долго ругался, что она загубила на корню его бизнес по продаже аспирина.

Они часто слонялись вдвоем по колесо в мусоре – неприкаянные бродяжки, Ливингстон и Стэнли на огромном неведомом континенте чужого прошлого.

Два дня назад им подвернулся стул.

Стул был совершенно необходим. У них уже имелся стол – ящик из-под посылок, утащенный на почте, и лежанка из досок: матрас для нее сшили сами из дерюги и поролон. Сверху бросили дырявый плед. За культурную составляющую отвечали вырезки из журналов «Бурда моден» на стенах. Табуретку Димка обещал сколотить на следующей неделе, а пока возился со стулом, который полюбился ему за непрактичную гнутую спинку и тонкие антилопы ножки.

Оля уселась по-турецки на заштопанный плед и принялась наблюдать, как ее товарищ шкурит сиденье.

Димка мелкий. Один глаз у него вечно прищурен, а второй приоткрыт, и если смотреть на него справа, то видишь ехидного старичка, а если слева – изумленного ребенка. Это у Димки последствия какой-то детской травмы. Во время разговора его мелкое личико преобразуется от гримас. Когда-то его пытались высмеивать за этот недостаток, но быстро прикусили языки: Синекольский язвитель, как старая дева, и столь же наблюдатель. В его заглавнике тысяча сплетен и миллион оскорблений.

Вступать с ним в драку не рискует почти никто – для Димки не существует запретных приемов. Слабую физическую подготовку он компенсирует беспринципностью. До сих пор ходят слухи о парне, которого Димка ударил в пах остро заточенным карандашом.

Учителя называют его шутом. «Синекольский, прекрати паясничать!»

Да, фамилия у Димки красивая. Что не помешало одноклассникам окрестить его Синяком. Прозвище возникло в те времена, когда легенда о заточенном карандаше еще не родилась и Димке приходилось махать кулаками куда чаще.

А про Олю, едва она появилась в шестом «А», учительница сказала: «Ребята, у нас новая ученица, она переехала к нам из Дзержинска. Познакомьтесь: Оля Белкина».

«Белкина-Побелкина», – взвизгнул кто-то, и класс грохнул от хохота. Оля пожала плечами, спросила, где она будет сидеть, и со спокойным достоинством прошла на свое место. Страх новичка – стыдный, неловкий, мучительный страх маленького зверька перед стаей – она загнала внутрь.

Ее самоуверенность сделала свое дело. В классе хватало своих изгоев, и одним-единственным неторопливым проходом от двери к парте Оле удалось избежать этой участи.

Но друзей у нее не было.

До тех пор, пока однажды она не заметила, как Синяк рисует в атласе обнаженную женщину, в которой просматривалось сходство с географичкой.

Две девочки, проходившие мимо, скорчили брезгливые гримасы.

– Фу, мерзко!

– Синяк, ты извращенец!

Синекольский невозмутимо пририсовал женщине пупок.

– Вас тоже изобразить?

Обе фыркнули и ушли. Оля осталась на месте.

– Червончик – и намалюю твой портрет, – ухмыльнулся Синекольский, не поднимая головы. – Рисую только с натуры. Соглашайся, Белочка.

– У нее груди одинаковые.

– Чего?

– Груды одинаковые, – повторила Оля. – А должны быть разные.

Димка оторвался от своего занятия и уставился на нее.

– Как – разные? Это ж сиськи!

– И что? Их же не на заводе штампуют. У всех женщин правая грудь отличается от левой. Хоть чуть-чуть, но разница есть. А у твоей, – Оля бросила взгляд вниз, – при таких формах точно должно быть заметно.

Синекольский склонил голову набок.

– Ты откуда знаешь?

– В бане видела.

Авторитетность ее тона сразила Синекольского.

– По размерам отличаются? – помолчав, спросил он.

– По форме тоже могут.

– Блин, и ведь не сотрешь уже...

Он сокрушенно уставился на Олю.

– Новую нарисуешь, – успокоила она.

– Дай твой атлас!

– Перебьешься.

Несколько секунд они смотрели друг на друга. Затем Димка рассмеялся.

В этот день они впервые пошли домой вместе.

Их сразу стали звать «Белка с Синяком», но быстро разгорающийся костер чужого интереса так же стремительно потух. Никто не хотел попадаться острому на язык Синекольскому. К тому же было очевидно, что этих двоих объединяет не влюбленность, а общее дело.

Общее дело у Белки и Синяка было такое: весело проводить время вне дома.

Летом с этим не возникало сложностей. От дождя они прятались в чужих сараях. Пару раз обшаривали заброшенные дома, однако там не находилось ничего интересного. Все успевали растащить соседи и старшие подростки. Димка уныло прикидывал, что с наступлением холодов им негде будет болтаться, кроме библиотеки, и даже обдумывал серьезный разговор с бабкой, запрещающей приводить гостей.

Но случилось так, что они наткнулись на незакрытый чердак пятиэтажки по соседству с Ольгиным домом.

Их радость была сродни торжеству Робинзона, закончившего многолетнюю постройку хижины. Наконец-то они обрели место, принадлежащее лишь им двоим.

– Офигеть, – сказал Димка, обведя взглядом низкое пыльное помещение с четырьмя квадратными окошками.

Солнце било сквозь стекла, обнажая убожество их нового пристанища.

– Круто, правда? – гордо сказала Оля. Это она открыла, что навесной замок на чердачной двери не запирается на ключ.

– Не то слово! Прибраться бы только. И на пол бросить что-нибудь мягкое, чтобы в нижней квартире не слышали шаги.

– Ну ты даешь!

– Чего?

– Предусмотрительный!

Они надеялись добыть ковер в той же Яме, но свалка, их морской прибой подводных сокровищ, унесенных с берегов чужой жизни, на этот раз не была к ним щедра. Тщетно рыскали они по склонам: ковра не нашлось.

Без него оставаться на чердаке было опасно.

Димка пару дней ходил задумчивый, а на третий приволок откуда-то

прекрасный, лишь немного плешивый ковер – красный с золотом, толстый, восхитительный, как драконья шкура. О происхождении ковра он умолчал. Оля подозревала, что Синяк выпросил сокровище у старухи Шаргуновой, с которой прятельствовала его бабушка.

Так родился Дом-на-Чердаке.

С тех пор как Димка с Олей начали обставлять свое укрытие, оно все явственнее обретало черты настоящего дома. Вряд ли оба осознавали, во что пытаются превратить пустой уютный чердак пятиэтажки. Это была просто забава.

Но Димку в его квартире ждала только пожилая хмурая женщина, мать его отца, который уехал на Север и увез с собой жену, а младшего Синекольского оставил бабушке. Хмурая женщина не любила своего сына, не любила и внука.

Олю ждала мама, любящая мама с тихим голосом и теплыми руками.

Но кроме мамы был отец.

2

Перемену судьбы Оле Белкиной стоило бы отсчитывать от телефонного звонка, раздавшегося в их квартире полтора года назад. Мама, послушав бормотание в трубке, растерянно сказала:

– Да-да, Коленька, конечно, только, может быть, сперва...

И надолго замолчала.

Двенадцатилетняя Оля выползла из кухни в прихожую и стояла в коридоре, глядя на мать и почесывая босой пяткой щиколотку. Мама должна была беззвучно замахать руками: брысь с холодного пола! Вместо этого она поглядела сквозь Олю и ласково сказала:

– Я тоже безумно рада.

– Кто звонил? – спросила девочка, когда разговор закончился.

– Папа. – Мать по-прежнему смотрела сквозь нее. Но вдруг тряхнула головой и улыбнулась: – Отличная новость, Лелька! Мы переезжаем!

– Куда еще?

– В Русму.

Николай Белкин вырос в Астрахани. Закончил мореходное училище и много лет работал механиком на кораблях дальнего плавания. В Русме жила его старая тетка. Племянника она не видела очень давно, но хранила фотографию времен его курсантской юности, где молодой красивый Коля

до боли в сердце напоминал ее покойного мужа.

Перед смертью она оставила все, чем владела, ему.

Механик Белкин получил телеграмму из Русмы. Думал он над ней ровно пять минут. Затем поставил в известность капитана, дождался замены и уволился из пароходства.

Его ждала земля – его собственная земля! Морем он был сыт по уши. Бессмысленное тупое пространство. Однообразие морских переходов убивало его. Новые города быстро приедались. Они воняли одинаково, и драки в них завязывались одинаково, и шлюхи скалились одинаковыми улыбками, какого бы цвета кожи они ни были.

А от тетки остался домик и двадцать соток земли, которые можно было превратить в сорок, купив соседский участок.

Он землевладелец!

В мыслях Николай видел себя фермером. Стройные ряды парников дышали помидорным теплом из приоткрытых окон. Картофельные клубни со стуком ссыпались на холодный пол погреба. Жирная пахучая земля плодоносила, цвела, рожала для него, а он возвращал ее дары и обретал втрое, вдесятеро больше.

В душе отзывалось радостью, стоило представить, как он идет среди грядок, а навстречу ему из чернозема тянется зеленая поросль.

Квартиру в Дзержинске продали. Вырученные деньги потратили на приобретение соседского участка. К лету переехали в Русму, и Николай стал хозяйничать.

Все сразу пошло не так, как он задумывал.

Дом оказался недружелюбен к новым жильцам. Текла крыша, оседал порог, в рамках ветер дырявил щели и гонял по полу тугие сквозняки. Николай никак не мог почувствовать себя полноправным владельцем. Дом существовал независимо от него, как если бы Белкин оказался в утробе кита и полагал, что отныне будет командовать, куда тому плыть.

Но кит не слушается тех, кто внутри.

К тому же Николай был в доме не один.

Неистребимая маленькая жизнь шла под самым его носом: жучки-древоточцы по крохам перемалывали внутренности его жилища; в комоды безбоязненно вили гнезда мыши; под балками чердака, в пугающей темной высоте, гудел серый мешок, похожий на дьявольский маракас, – пристанище злых голодных ос.

Но главное – крестьянский труд оказался настолько тяжел, что Николай с тоской вспоминал опостылевшую работу в пароходстве. На ум ему не раз приходило слово «пахота». Вставай засветло, тревожься о

поливе, обрабатывай посевы, вовремя выпалывай, пересаживай, удобряй, собирай и снова пропалывай... Ни дня перерыва, ни недели отдыха. Тоскливое монотонное занятие, выедавшее его изнутри. Оно не приносило ни радости, ни удовлетворения.

Он все чаще проклинал день, когда его жена согласилась на переезд. Дура. Безмозглая дура.

Тем временем Оля Белкина изучала мир, в котором очутилась.

Русма – поселок городского типа. Здесь жизнь вывернута наружу, здесь существуют бытом наизнанку: влажные простыни хлопают на ветру, ужин готовится во дворе. Скандалят, жалеют, ревнуют – все на глазах у соседей: шумно, напоказ. От этого даже у беды оттенки театральности.

Но есть и другая Русма: невидимое подводное течение, качающее водоросли в глубине. Обитатели ее немые, они разговаривают взглядами. Все, что здесь происходит, остается на дне.

Русма – это деревенские улицы, запутанные и неопрятные. На весь поселок едва наберется дюжина пятиэтажек. Когда-то жить в них считалось престижным. Сейчас их стены татуированы граффити, а окна нижних этажей забраны решетками, сквозь которые сочится запах кислой капусты и жареного минтая. Оле временами кажется, что зловоние исходит сам дом, и если обойти квартиры, выяснится, что ни одна живая душа не готовит рыбу, не квасит капусту. Это миазмы серого блочного уродца, его тяжелое гнилостное дыхание.

В Русме есть заводик по производству маникюрных ножниц. Маму взяли работать в бухгалтерию, и это большая удача. Еще открыты два кафе, загс и три похоронные конторы, работающие круглосуточно. Синекольский говорит, они конкурируют за покойников. Утверждает, что еще немного, и ритуальщики начнут сами убивать жителей, чтобы было кого хоронить.

Летом в Русме хорошо.

Хорошо и в мае, который уже-почти-лето, и в сентябре, который еще-почти-лето.

Все остальное время в Русме такая тоска, что хочется повеситься, но непременно лицом к стене, чтобы не видеть бескровного, измученного зимой заоконья.

А еще в Русме с ними постоянно живет отец.

Его мать переехала с ними. К ней нужно обращаться «бабушка», но Оля упрямо зовет эту чужую незнакомую старуху бабой Леной. Летом и ранней осенью баба Лена ходит по местным лесам, принося огромные

корзины с грибами. Зимой каждое утро методично обходит Русму. Однажды Димка с Олей тайком увязались за ней. Старуха шла час, два – и ни разу не остановилась, пока не сделала круг и не вернулась домой.

– У нее внутри механизм, – диагностировал Синекольский. – Она сконструированная. Спроси у отца, не заводит ли он ее по утрам.

– Дурак ты, – сказала Оля.

Однажды она принесла старухе ужин: мама задержалась на работе, отца не было, они остались дома вдвоем. Елена Васильевна сидела на стуле, размеренно дыша и уставившись перед собой.

– Баба Лена?

Та откликнулась не сразу. Коротко стриженная голова медленно повернулась к двери.

– Ты кто? – спросила старуха. И, не дав Оле времени ответить, продолжала ровным, лишенным выразительности голосом: – Подойди ко мне. Подойди ко мне.

Оля автоматически сделала шаг к бабушке, держа перед собой поднос, и остановилась. Что-то смутило ее. Не то странное механическое удвоение призыва, не то безучастность, с которой старуха позвала ее.

– Где ты? – сказала старуха. – Я не знаю, где ты.

Выцветшие голубые глаза смотрели прямо на Олю. Старуха *видела* ее! Живой, осмысленный, голодный взгляд тянул к себе с такой силой, что засосало под ложечкой.

– Я поднос на стол поставлю, – тихо сказала Оля.

– Сука, – очень ровно сказала Елена Васильевна и начала подниматься – громоздкая, неповоротливая, жуткая. – Ты никуда не пойдешь. Знаешь, что мы с ним сделали? Тринадцатого мая восемьдесят девятого года был задержан за пересечение границы неба в непопозволенном месте и расстрелян, невзирая на апелляцию крыльями. Двадцать восьмого мая того же года был убит за недоказанностью факта человеческого происхождения.

Оля попятилась.

– Баба Лена!

– Восьмого июня того же года ожил по специальной программе, вернулся в Читинскую область, где продолжил свою подрывную деятельность и был вскрыт консервным ножом как истекший сроком годности...

Кукла с заевшей программой официально зачитывала одну за другой причины смерти, не делая пауз и не останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Толстые бледные губы шевелились, голубые глаза тянули Олю к себе; несколько невыносимо страшных секунд ей казалось, что у нее вот-

вот подогнутся колени, и тогда ее подтащит, точно примагнитенную скрепку, к этой железной бабе, идолу с громкоговорителем внутри.

– Елена Васильевна!

– Пятнадцатого сентября был пойман в тюремной камере и оскоплен без соответствующих...

Оля пошатнулась и уронила поднос.

Красный борщ залил половицы. Из густой жижи обломками раздробленной кости торчали белые куски фарфора.

Старуху словно прострелили навывлет. Она дернулась и вдруг пришла в себя.

– Кор-рова! Тащи тряпку!

Оля пристально взглянула на бабушку. Механическая кукла исчезла. Старая женщина со злобой смотрела на нее и требовала у своего бога, чтобы отец чаще порол криворукую дуру.

Позже девочка убедилась, что с бабой Леной иногда случаются... зависания. Ее охватывает неподвижность, пробуждение от которой выглядит как неостановимый бред, изложенный тяжеловесным канцелярским языком. Словно кто-то назначил ее делопроизводителем в аду.

Отцу о происходящем говорить нельзя. Оля своими глазами видела, как, зайдя вечером к бабе Лене, папа стаскивает с нее тапочки и благоговейно целует раздутые красные ступни.

Мама недавно нарушила негласный запрет.

«...Коленька, мне нужно тебе кое-что сказать. Бабушка кричит на Олю дурными словами».

Это правда, только мама не должна была об этом знать. Оля держала язык за зубами. Мать сама услышала, забежав как-то домой с работы в неурочное время.

«Коленька, она ведь ее сукой назвала, – тихо говорила мать. – Я своими ушами... Поверь мне, это было ужасно грубо. Я глубоко уважаю твою маму, разумеется, это не она сама кричит на девочку, это ее возраст и болезнь, но давай что-нибудь придумаем, так ведь нельзя... Может быть, Елена Васильевна станет обедать сама? Она вполне способна разогреть себе еду, твоя мама очень самостоятельная, ты же знаешь... Я могла бы готовить ее любимые блюда и раскладывать порционно...»

«Порционно?» – переспросил отец.

Мать замолчала не сразу. Она продолжала что-то объяснять, и это было ошибкой.

Отец произнес «порционно» еще раз, и еще – нараспев, с нарастающей

громкостью. «Порционно» приобрело отчетливо итальянское звучание. И сам отец с его черной шевелюрой стал похож на исполнителя оперной партии, осанистого итальянца со жгучим взглядом.

Мать прервала свою речь, состоящую из вопросительно-умоляющих предложений. Но было поздно.

Они сидели за обеденным столом и ели картофельное пюре. Три яйца разбить в сваренную до рассыпчатости картошку, но сначала влить полстакана теплого молока, а лучше сливок, и обязательно добавить масло, от души, не жалея. Мама толчет картошку, рассказывает Оле рецепт, от кастрюли поднимается густой пар.

Теперь пухлые желтые облака лежат на их тарелках. Каждое украшено веточкой укропа.

В это облако отец макает маму лицом, схватив ее за затылок. Его растопыренные пальцы на ее голове похожи на намертво вцепившегося розового краба. Мама не успевает даже вскрикнуть – рот ее забит картошкой, глаза и нос забиты картошкой, а отец возит ее по тарелке, аккуратно и вдумчиво, словно мамино лицо – это тряпка, которой он отмывает от грязи белый фарфор. Оля сидит неподвижно. Попытаешься помочь, и – *посмотри что ты наделала мама вся в крови это ты виновата если бы ты не полезла все было бы в порядке.*

– Никогда. Не смей. Притеснять. Мою. Мать! – отчетливо говорит отец, наклонившись к голове на тарелке. Ладонь так сильно давит на ее затылок, что у мамы сплюснулся нос. Она издает сдавленное мычание, машет руками в воздухе, ее зад беспомощно елозит по стулу. – Ты понятия не имеешь, что она для меня сделала. Она меня спасла. Она святая. А ты, дрянь, супа для нее пожалела.

Оля смотрит в свою тарелку. От желтого облака поднимается пар.

– Если она захочет, ты будешь языком ее испачканную задницу вылизывать. Поняла меня? Поняла?

Мама пытается кивнуть. Очень трудно кивать, лежа лицом в тарелке с горячим ужином.

– Не слышу! – кричит отец.

Сдавленное мычание.

– Да или нет?

– Там, кажется, кто-то пришел.

Оля говорит это таким тоном, будто в эту секунду мама штопает носки, отец читает газету, а сама она решает примеры. У Оли специальный чуть-чуть озабоченный голос с легчайшим оттенком недовольства (ведь она занята, а в дверь стучат), и самое сложное – выдержать правильную

интонацию.

Но у нее было достаточно тренировок.

Отец поднимает голову. Снаружи в самом деле доносится шум. Пришли не к ним, а к соседям; сквозь занавеску девочке видно, что это Зоя Шаргунова. Снова ищет свою глупую Маню.

Отец с раздраженным видом поднимается и идет в прихожую.

Быстро, очень быстро Оля хватается маму за руку и тащит в ванную комнату. Запираться нельзя. Как бы ни хотелось, запираться ни в коем случае нельзя.

Девочка открывает кран с холодной водой, легчайшими касаниями смывает с маминого лица горячую картошку. Мама молча вздрагивает, словно ее бьют током. У нее красная кожа, ресницы слиплись от пюре. Оле страшно прикасаться к ней, но в школе их учили, что при ожоге нужно первым делом приложить к пострадавшему месту холод.

Оля не говорит ни слова, и мама не говорит ни слова, только вздрагивает и как-то странно передергивает плечами. Комки пюре, прекрасного воздушного пюре уносит в слив потоками холодной воды. «Три яйца и полстакана теплого молока», – думает девочка.

Дверь распаивается.

– Кто приходил? – беззаботно спрашивает Оля. Она не прекращает своего занятия, не поворачивается, словно нет ничего естественнее, чем смывать горячее картофельное пюре с лица своей матери. Отец стоит у нее за спиной. Краем глаза в зеркале она видит его синюю футболку, на которой написано «Никто кроме нас».

Ответа нет. Он нависает над ней молча, и Оля уже успевает подумать, что сейчас ее очередь, как вдруг ее несильно отталкивают:

– Чего делаешь-то? Балда безрукая!

Девочка послушно отступает.

– Мазь принеси, – приказывает отец. – А ты сядь на ванну. Дуры-то, господи, ни на минуту нельзя одних оставить...

Он осуждающе качает головой.

– Дурочка ты, Наталья, – приговаривает отец, поворачивая мамино лицо к свету то правой, то левой стороной. – Ну ладно, Ольга не знает, но ты-то взрослая баба! Зачем воду лила? Теперь вся красная, как эта... задница павиана. Видала павиана?

Мама отрицательно качает головой.

– А я видел. У него зубы – во! Челюсть больше, чем у лошади. Все на его зад смотрят, а надо бы на морду.

Он протягивает руку, и Оля быстро кладет в нее тюбик с кремом.

– Ничего-ничего, – ласково говорит отец и отводит в сторону прядь, падающую на мамин лоб. Он как будто не замечает, что ее волосы в картошке. – Сейчас помажем, и все пройдет. Эх, Наташа, Наташа, горяшко мое... Ну вот что с тобой делать! Сиди тихо! Сам справлюсь.

Белая гусеница крема выползает в его ладонь. Он мягко размазывает его по лицу своей жены.

– Здесь не больно? А здесь? Ну потерпи, моя хорошая, еще чуть-чуть, и пройдет.

Оля приоткрывает дверь. Она здесь больше не нужна.

Последнее, что видит девочка, – как распухшие мамины губы трогает благодарная улыбка.

Глава 3

Греция, 2016

1

Бабкин стоял на обрыве. Внизу синело море, и он подумал именно этими словами – «синеет море», но раздраженно дернул плечом. Беспомощность фразы, ее безликость рассердила его. Она не передавала ни доли впечатления от того ошеломительного зрелища, которое открывалось перед ним.

Вокруг было очень много воды и очень много неба – словно их зачерпнули со всего мира и выплеснули здесь, на краю света. Простроченные тонкой нитью горизонта, вдалеке они соединялись, и сквозь синь проступала белоснежная облачная пена. И волны, и небо, и облака исходили неуловимым свечением; чем дальше он смотрел, тем сильнее ему казалось, будто само море и есть это свечение. Необъятное голубое сияние, притворившееся водой.

Вокруг не было ни души.

Сергей подумал, что в таких местах человек должен либо уверовать в Создателя, либо окончательно утратить веру, раздавленный собственным ничтожеством.

Но вот беда – он не знал, что делать со всей этой красотой. Не умел ею пользоваться.

Где-то в голове должно быть хранилище для неразделенных воспоминаний. Для осенних дворов, извилистых улиц, пустынных берегов, по которым ты бродишь один. Бродишь, смотришь и не понимаешь, что ощущаешь, кроме сожаления, что некому сказать: «Гляди, а вон там!..»

Для того чтобы воспоминание отпечаталось в твоих чувствах, нужен закрепитель, а без него ты просто белая бумага, плавающая в растворе памяти.

Его собственный закрепитель спал сейчас на третьем этаже сталинки в Москве.

Не то чтобы Сергей сильно скучал по жене. Просто без нее это все не имело смысла.

Он достал телефон, с сомнением покачал в ладони. Ну, позвонит, и что

скажет?

«У меня тут море».

«Сфотографируй», – попросит Маша.

Он сфотографирует, отправит ей, и выйдет даже хуже, чем если бы совсем не звонил. «Красиво», – скажет Маша. «Да офигеть», – ответит он.

Но при чем здесь красиво, когда дело вообще в другом!

Сергей все-таки набрал номер и слушал гудки, звучащие здесь, на обрыве, так неуместно, словно он звонил из рая.

– Привет! – сонным голосом сказала Маша.

– Привет. – Он помолчал. – Как ты?

– Только проснулась. Мусоровоз грохотал.

А ты?

– У меня тут море, – сказал Сергей. – Здоровенное, как лось.

– Ого! – восхитилась Маша, словно это было что-то удивительное – море в Греции. – А какого цвета?

«Синее, какое же еще», – хотел ответить Бабкин, но вдруг понял, что это неправда и спрашивают его не о том.

– Помнишь, мы с тобой в Минск ездили? – сказал он. – Там был участок шоссе, километров на десять, совершенно пустой.

– Где ты до двухсот разогнался?

– Ага.

– И нас гаишники остановили.

– Ага. Но до этого. Мы ехали, и там поля такие с двух сторон, широченные как стадионы, и день солнечный, и мы гнали под двести, и ты ругалась, но тебе все равно нравилось, я видел.

– Помню, – сказала Маша.

– Вот такого цвета море, – сказал Сергей.

– Ты только его не фотографируй, – попросила Маша.

Он засмеялся.

– Пойду яичницу пожарю, – сонно сказала жена. – Сережа, тебе там совсем тяжело?

– Нет, – сказал Бабкин, – уже нет. Кстати, я в холодильнике перед отлетом нашел три упаковки перепелиных яиц размером с икру. Это для кого?

– Это для гномиков, – сказала Маша. – Не забывай воды пить побольше, хорошо?

Входя в отель, он продолжал ухмыляться. Для гномиков, значит. Бог знает, отчего его так рассмешили эти гномики, но только Греция и даже

Гаврилов на время стали выглядеть почти выносимыми.

Ольга Гаврилова. Девичья фамилия – Белкина. Тридцать восемь лет, из них пять в браке. По профессии – свадебный фотограф. С будущим мужем познакомилась, когда выезжала на корпоративную фотосъемку. Родилась в Дзержинске, с двенадцати лет росла в поселке Русма. Позже вместе с матерью переехала к дальним родственникам в Ростов, а оттуда – поступать в Москву. Закончила педагогический университет, три года работала учителем русского и литературы.

Илюшин вывел на экран снимок. Бабкин присел рядом, рассматривая пропавшую женщину.

Прямой взгляд, короткие, торчащие ежиком темные волосы, тонкие бледные губы без улыбки. Выглядит младше своих лет. Фотограф поймал ее в тот момент, когда в выражении лица читалась глухая воинственность и готовность к отпору. То ли неудачный кадр, то ли, напротив, слишком удачный.

– Характерная бабенка, – пробормотал Сергей. – Куда тебя, милая, занесло без паспорта и без денег?

– Это если занесло, – сказал Илюшин. – А не занесли.

– Дурацкий каламбур.

– Глупый, согласен.

Он пролистал дальше.

На других фотографиях Белкина выглядела иначе. Как и предполагал Макар, улыбка совершенно ее преображала, парадоксальным образом отнимая часть индивидуальности. Он остановился на кадре, где Ольга сидела за столом с бокалом вина и смеялась: маленькая женщина с короткой шеей и неудачной стрижкой. На таких не оборачиваются, их не запоминают.

– Покажи еще раз тот, первый.

С экрана на них вновь уставилось враждебное лицо. Откровенная неприязнь почти заворачивала.

– Смотрит, как солдат на вошь. Кто ее фотографировал, любопытно.

– Сейчас выясним.

Макар позвонил Гаврилову.

– Везде снимал муж, – с легким удивлением сказал он, положив трубку. – Кроме, собственно, вот этого кадра.

– Подожди, сам догадаюсь. Давний враг? Любовник с гонореей? На кого еще можно так смотреть?

– Это автопортрет, – сказал Илюшин.

– Ты серьезно?

– Если верить Гаврилову.

А еще, если верить Гаврилову, у его жены не было ни одной причины покинуть отель. Петр Олегович утверждал, что они с Ольгой много лет счастливы в браке. Их отдых омрачался лишь тем, что ему не слишком нравится климат и еда. Но жену привела сюда работа, а он с уважением относится к ее занятиям.

«Мы с Олей очень близки. Чтобы она собралась уехать, не предупредив меня, – это исключено, абсолютно. Но даже если допустить невозможное... Скажем, она сошла с ума, я не знаю... Без одежды, без вещей, без документов? Это нелепо! Этого просто не может быть».

– Давай теоретически рассуждать, просто накидывать версии. – Илюшин встал и задернул шторы. – Человек рано утром исчезает из номера бесследно. Что с ним случилось?

– Не человек, а женщина.

– Ты отвратителен в своем шовинизме.

– Иди к черту, – сказал Сергей. – Понимаешь ведь, о чем я. Могла стать жертвой изнасилования.

– А еще?

– С балкона упала, – сказал Бабкин. – Работники отеля оттащили тело и спрятали, чтобы скрыть ЧП.

– Туристка пропала – это не ЧП, а разбилась – ЧП?

– Сам же сказал – только версии. Ладно, держи еще одну: услышала шум в соседнем номере, вышла и вляпалась в какую-то дрянь.

– Классическое «оказалась не в том месте не в то время»?

Бабкин утвердительно угумкнул.

– Шум драки, например... Выходит, заглядывает к соседям, а у них на столе чемодан с наркотой. Или оружие. Ее по-тихому придушили, тело вывезли в багажнике, пользуясь безлюдным временем, закопали где-нибудь в лесу. Это если фантазировать. А если говорить серьезно, сбежала сама. С любовником. Муж вышел – она удрала.

– А муж – слепой болван?

Бабкин выразительно пожал плечами.

– Почему вещи не взяла?

– Это другой вопрос. Может, собиралась имитировать самоубийство, чтобы ее не искали. Хотя я бы ставил на наркоту или алкоголь. Или

таблетки. Ты спрашивал Гаврилова, что она принимает?

- Утверждает – только противозачаточные.
- И больше ничего? Даже эти, как их... от депрессии...
- Психотропные? Нет, говорит, ничего такого.
- Может и не знать...

– Может, – согласился Макар. – Но давай пока исходить из того, что знает. Ты фотографии на камере просмотрел?

– Все до единой. Пейзажи, много свадебных, всякие двери-камешки-дома. А, птиц довольно много. Еще муж. На первый взгляд – вообще ничего криминального. Последние сняты седьмого вечером, перед исчезновением, там только море и сорок фоток закатного неба.

В дверь постучали. Курчавый юноша, почти мальчик, со смущенной улыбкой вошел в комнату и положил перед ними три листа бумаги с распечатанными фамилиями.

- Спасибо, Ян. – Макар склонился над листами. – Здесь все клиенты? Юноша кивнул.

– Полиция их... э-э-э-э... проверила, – сказал он по-русски. – Четверо уже уехали. Я отметил имена.

- Ты их помнишь? Описать можешь?
- Старые. Две пары. Мужчина и женщина, – уточнил он, подумав.
- Две семейные пары?
- Да. Немцы, около пятидесяти, прожили тут почти два месяца.
- Почему уехали?

– Жарко! – улыбнулся Ян. – Они второй год приезжают. Надолго не остаются. Май, июнь – и обратно. Не купаются, гуляют только.

Илюшин покачал головой. Вряд ли это те, кого стоило подозревать в убийстве Белкиной.

– Нам с тобой придется сходить в деревню через пару часов, – сказал он. – Кстати, как она называется?

– Дарсос. – Ян озабоченно посмотрел за окно, где голубело чистейшее, без единого облака небо. – Машина нужна. Иначе под солнцем сгорим.

- А сколько здесь идти пешком?

Юноша задумался.

– Минут сорок? Даже не знаю, меня обычно подвозит кто-нибудь из наших. Агата или Делия... Я в прошлом году пешком ходил от автобусной остановки, но время не засекал.

- А в прошлом почему пешком?
- Сказали, болтаю много очень... Высаживали на середине пути... –

Ян смутился и покраснел.

– Ну, в нашем случае твоя разговорчивость только на пользу делу, – успокоил Макар.

Яна привел Гаврилов. На каких условиях они договорились с руководством отеля, Илюшин не спрашивал, рассудив, что это не его дело.

Мальчишка работал в гостинице несколько лет, выполняя разнообразные мелкие поручения. Макар успел заметить, что к нему относятся со снисходительностью, не лишенной колкости. Гаврилов между делом упомянул, что два года назад парнишке купили велосипед, чтобы тот добирался на нем из деревни до гостиницы. Однако Ян решил снять видео, которое заработало бы миллион просмотров на Ютьюбе, и повторил известный трюк – «водитель, выпрыгивающий из несущейся к обрыву машины». Телефон с камерой он сунул одному из местных бездельников, а машиной назначил только что подаренный велосипед. «Чудом не убили, – сказал Гаврилов. – А трюк его на записи виден ровно полторы секунды».

Час назад, обходя вместе с ним отель, Илюшин краем уха услышал отголоски скандала. Полная румяная женщина, накрашенная так густо, словно собиралась выступать на театральной сцене, за что-то распекала парнишку. Ян яростно огрызался.

– У нас не будет с ним проблем? – поинтересовался Макар.

– Он тихий, – равнодушно ответил Гаврилов.

Его характеристика вопиюще противоречила тому, что видел Илюшин, но спорить Макар не стал. Ян был единственным в округе, кто говорил по-русски и мог служить переводчиком.

Кроме того, он вырос в соседней деревне. В их случае это было не менее, а то и более полезное свойство.

– За что тебя ругали? – спросил Макар, будто невзначай.

Ян недоуменно взглянул на него.

– Ругали?

– Утром. Такая толстая женщина...

– А! Агата! Она всегда на меня злится. Говорит, я краду велосипед.

– Крадешь? – Макара озадачила несовершенная форма глагола.

– Хозяин купил для клиентов. Иногда люди просят покататься, хотя посмотреть побережье. Было десять, остался один. Ломаются, стареют. Хозяин не чинит, ему все равно. Никто не берет последний. А мне запрещено!

Илюшин понял, что давняя история с подарком, чьи обломки ржавеют под местными скалами, аукается Яну до сих пор.

– А я ей говорю: что ты орешь! Ори на своего мужа, если, конечно, кто-нибудь согласится жениться на такой ужасной крикунье, как ты!

Бабкин, молча слушавший их разговор, невольно ухмыльнулся. Похоже, со времен своего безумного трюка мальчишка не набрался ни ума, ни осторожности.

– Но разве можно в чем-нибудь убедить женщину, – сокрушенно закончил Ян.

Илюшин склонился над списком.

– Серега, тут русская фамилия – Кушаковы, тоже семейная пара. Можешь прямо сейчас к ним подойти, чтобы времени не терять?

– Сделаю. Ян, вот этот номер – на каком этаже?

– На третьем.

– А завтрак уже закончился?

– Да, он до одиннадцати.

– Значит, на пляж тащиться. – Сергей вытащил из-под кровати чемодан и с отвращением достал оттуда пеструю гавайку. – Хуже клоуна, ей-богу...

– Извините, – сказал Ян. – Вам не нужен пляж, я думаю.

– Почему?

Юноша улыбнулся.

– Эти русские всегда очень долго спят, – доверительным шепотом сказал он. – А потом целый день курят и пьют возле бассейна. У моря они только фотографируются.

Когда Сергей вышел, Илюшин обернулся к нему:

– Где ты так отлично выучил наш язык?

– Я на всех говорю! На французском, итальянском, немецком... – Ян почему-то отогнул четыре пальца вместо трех. – Английский даже не считаю, – пренебрежительно объяснил он. – Шведский немного знаю. В Греции у людей способности к языкам очень хорошие. Это страна такая, здесь у всех все получается!

Он лучился нескрываемой гордостью.

– У тебя акцента почти нет, вот что удивительно.

Илюшину показалось, что улыбка мальчика потускнела.

– Туристов много, – сказал Ян, отводя взгляд. – Есть за кем повторять.

Двадцать минут спустя вернулся Сергей.

– Дохлый номер. Вообще ничего не знают. Не видели, не слышали, сами в шоке, наверняка ее муж убил... короче, стандартный набор свидетеля.

– Почему муж?

– Потому что они читали детективы. По закону он получит наследство. Об этом мне напомнили четыре раза, чтобы я не забыл.

– Ян, у тебя есть версии, где может быть Гаврилова? – неожиданно спросил Макар.

Тот вытянул губы трубочкой.

– Я над этим много думал! Все говорят, она со скал свалилась. Я не верю.

– Почему?

– Без фотоаппарата утром ни разу ее не встречал. – Юноша почти дословно повторил объяснение Гаврилова.

– У нее были знакомые в деревне?

Ян пожал плечами.

– Она много где бродила... Птиц любила фотографировать. Могла и познакомиться. Не знаю. Я не видел.

– А тапочки? – Поворот темы был таким внезапным, что Ян высоко поднял брови. – Тапочки, Ян. Они во всех номерах одинаковые?

Макар кивнул на пару обуви, напомиравшую сланцы: с перемычкой и тонкой резиновой подошвой.

– А, эти... Из Китая заказывают, стоят дешевле, чем из ткани. Правда, разваливаются быстро. Да, везде такие.

Илюшин выключил планшет и поднялся.

– Серега, я проведу рекогносцировку местности. А вы принимайтесь за полный опрос свидетелей.

– Их уже полиция опрашивала дважды, – осторожно заметил Ян.

– Ничего, потерпят. Здесь не так много развлечений, чтобы отказываться от дополнительного.

Сергей взглянул на свое отражение в бело-голубой гавайке с красными попугаями и беззвучно выругался.

Выйдя из отеля, Макар Илюшин пошел не в сторону моря, а в направлении холмов. Агата, скупавшая за стойкой регистрации, насыпала ему перед уходом в ладони целую горсть мелких цветных леденцов.

– Ешь, мой сладенький!

Русский, конечно, ни слова не понял.

Она проводила его взглядом и непроизвольно облизнула губы. Ясноглазый, русоволосый, улыбчивый... Ах, рыбонька моя!

Но тут же пожала плечами. Все эти светлокожие рыбоньки на третий день отдыха ползут мимо прожаренными креветками, и плечи их дымятся, а в глазах плещется мутный кисель раскаяния. Этот не станет исключением. Туристы!

Агата не любила их за то, что они приезжали и уезжали, воспользовавшись ее страной как одноразовой салфеткой, чтобы стереть усталость, ввевшуюся в их серые лица. Являются на две недели, будто у них есть на это право! Было что-то унижительное в той легкости, с которой туристы осваивали ее благословенный край. Словно бабочки, кратко приземлившись на цветущий луг и тут же взлетевшие, чтобы бездумно нестись к иным полям, к другим медоносам. Это обесценивало ее родину. «Даже историю не знают!» – фыркала Агата с тем чувством уязвленного превосходства, с которым продавец сокровищ смотрит на проходящих мимо покупателей, что отворачивают глупые лица от его неподдельных ваз династии Мин к сувенирным пагодам из пластика.

Илюшин миновал безлюдную парковку, свернул с главной дороги и стал взбираться на холм. К вершине вела хорошо утоптанная тропа, но сойти с нее не было никакой возможности: склон покрывал низкий колючий кустарник с очень толстыми, будто резиновыми листьями. Кое-где его плотное полотно протыкали острые веретена можжевельника и низкие деревца со скрюченными стволами. Выше зеленели сосны. В чистейшем прозрачном воздухе был разлит запах хвои.

За поворотом открылась площадка, к краю которой кто-то заботливо подтащил поваленный ствол. Солнце сверкало в янтарных каплях смолы. Илюшин сел, не заботясь о чистоте своих брюк, отхлебнул теплой воды из бутылки и осмотрелся.

По правую руку внизу виднелась деревушка – хаотично разбросанные у подножия холма красные крыши и неровно нарезанные лоскуты земельных участков. На каждом лежали сероватые пузыри теплиц.

Но куда больше, чем деревня, Макара заинтересовало то, что было перед ней.

Относительно ровная линия берега в этом месте нарушалась бухтой, глубоко врезавшейся в сушу. Сверху это выглядело так, словно исполинское чудовище, разинув пасть, выгрызло из тела земли огромный кусок. При некоторой доле воображения можно было даже разглядеть отпечатки зубов.

Слева на крайней точке полукруга белел отель.

А справа, на дальней стороне бухты, совершенно симметрично

гостинице стоял черный дом.

Он производил до странности злое впечатление – то ли потому, что являлся зеркальной противоположностью отеля, то ли из-за своей обособленности. К нему вела узкая желтая дорога, петлявшая среди оливковых рощ.

Чем дальше Илюшин смотрел на мрачную постройку, тем больший внутренний протест она в нем вызывала. Природу этого ощущения он не мог уловить. Дом выглядел чужеродным и отталкивающим, точно надгробие на детской площадке, точно украшенная черепами изба Бабы-яги, перенесенная ураганом из еловой чащобы на скалистый берег Эгейского моря. Но помимо этого существовало что-то еще – неуловимое, как тень хищной птицы, промелькнувшей над головой.

Он сидел, чувствуя, как стекают по спине капли пота, рассматривал сверкающее вдалеке море и наконец, приняв решение, встал.

Сколько здесь – три километра, четыре? Стоило бы вернуться в отель и еще раз поговорить с Гавриловым, но дом манил Илюшина к себе. Он не мог оторвать от него взгляд. Так пальцы тянутся потрогать ноющий зуб, от которого по челюсти расплзается боль.

Солнце припекало с каждой минутой все сильнее. Если бы не ветер, долетавший с моря, жара была бы нестерпимой. Пока Илюшин спускался с холма, путь казался легким, но над асфальтовой дорогой воздух внезапно сгустился в горячее желе, и даже звуки, казалось, просачивались сквозь него с трудом. Только острый стрекот цикад распарывал тишину да редкий шорох травы, когда очередная ящерица удирала с обочины в сухие заросли.

Макар обливался потом, но продолжал идти с уверенностью человека, знающего, что совершает ошибку, и знающего, что ошибка эта ему необходима.

Пусто. Знойно. Пыль вспыхивает облачком под подошвой, словно с каждым шагом давишь табачный гриб. Солнце выжигает дыру в соломенном сомбреро.

Когда Макар уже начал всерьез раскаиваться в своей затее, дорога вынырнула из оливковой рощи. Он оказался перед забором, густо обсаженным миртом. На железных воротах, выкрашенных в серый цвет, были отпечатаны силуэты оскалившихся собак; надпись с восклицательным знаком и уточнением «danger» говорила сама за себя.

Он хотел обойти огороженную территорию, но с одной стороны уперся в непролазные заросли, а с другой – в нагромождения валунов на краю обрыва. Дважды попытавшись взять их штурмом, Илюшин осознал, что рискует переломать ноги.

Чертовски странное место, подумал он. Все на виду, но не подберешься.

С дальней стороны участок был естественным образом ограничен возвышенностью, напоминавшей холм, верхушку которого срезали острым ножом. Прищурившись, Макар разглядел на ее склоне в темно-зеленых зарослях мирта и вереска одноэтажное строение. Оттуда и дом, и участок должны быть видны как на ладони.

Но сейчас искать тропу к нему было бы безумием.

Илюшин опрокинул в рот последний глоток из бутылки, подошел к воротам и нажал на звонок.

Вместо лая изнутри донеслось блеяние. Прошло не меньше пяти минут. Наконец, со скрипом приоткрылась маленькая калитка, и вышла тщедушная пожилая женщина в черном платке и глухом платье до пят. Она смотрела на Макара без улыбки, без любопытства, без приязни; на ее непроницаемом лице не отразилось даже немого вопроса – что ему нужно? Взгляд, странно пустой и при этом сосредоточенный, был устремлен сквозь него.

Илюшину стало не по себе.

– Калимера! – Он заставил себя улыбнуться. – Сорри, май вотер... Вотер из финиш!

И помахал пустой бутылкой.

Женщина не шелохнулась. Странное дело: даже приглядевшись, он не мог определить цвет ее глаз.

– Вил ю хелп ми, плиз, – сделал Макар еще одну попытку.

Не поворачиваясь к нему спиной, она шагнула назад. Калитка захлопнулась. Скрипнул засов.

– Знаменитое греческое гостеприимство, – пробормотал Илюшин.

Он растерялся, что случилось с ним редко.

Во рту пересохло. Теперь его действительно мучила жажда. Макар представил обратный путь, ушел под самый большой валун и сел в тени, надвинув сомбреро на глаза. Отдохнуть – и назад.

Снова послышался скрип. Илюшин открыл глаза и вскочил.

К нему приближался высокий широкоплечий грек в свободной белой рубаше и хлопковых штанах, подвернутых до колен. Возраст его был трудноопределим. Сперва Макар решил, что ему около пятидесяти, затем взглянул на морщины, прорезавшие лоб, и набросил еще десять лет. Лицо его дышало большой внутренней силой. Он казался своего рода противоположностью той безликой старухе, которая встретила Макара.

«Хозяин», – понял Илюшин.

– Ясас! – сказал он, вспоминая разговорник. – Паракало... Вотер!

Из калитки выскочила толстая белая коза, подбежала к греку и ткнулась мордой в ноги. Тот ласково погладил ее. На хмуром лице проступила улыбка.

Но при взгляде на Макара улыбка исчезла. Грек протянул мозолистую руку за бутылкой – Илюшин молча отдал ее, – и скрылся.

На склоне возле сарая что-то промелькнуло. Что-то пестрое. Внезапно солнечный зайчик вспыхнул в глазах Илюшина, и он на несколько секунд ослеп.

Вскоре грек возвратился.

– Паре!

В бутылке плескалась холодная вода.

– О! Эфхаристо!

В ответ на его благодарность хозяин пожал плечами.

– Это ваш дом? – по-английски спросил Илюшин, сопровождая вопрос жестом.

Старик уставился на него. Ни один мускул в лице не дрогнул, но Макар отчетливо ощутил исходящую от грека немую угрозу.

– Здесь очень красиво, – сделал он еще одну попытку и обвел рукой побережье. – Никогда не был в таком прекрасном месте. Вери бьютифул!

На мгновение у него возникло ощущение, что его сейчас собьет с ног страшный удар. Никаких предпосылок для этого подозрения не было: грек по-прежнему стоял неподвижно, положив ладонь на загривок козы, сопровождавшей его, словно собачонка.

Наконец губы старика дрогнули.

– Бьютифул, – повторил он за Макаром с преувеличенно выраженным акцентом, придававшим одному-единственному слову оттенок глубочайшей издевки. Если до этого Илюшин прикидывался туповатым туристом, то теперь он себя им действительно ощутил.

– Эфхаристо, – сказал Макар и пошел по дороге, чувствуя, как спину ему сверлит презрительный взгляд.

А еще один взгляд провожал его от сарая, скрытого в зарослях. В этом он мог бы поклясться, даже не поворачивая головы, чтобы проверить свою догадку.

Глава 4

Русма, 1992

1

Именно в Русме двенадцатилетняя Оля Белкина по-настоящему осознает важность обучения.

К школе это не имеет никакого отношения.

Оценки выставляются по обратной шкале, от нуля вниз. Если ты хорошо подготовилась, ничего не случится. Мама будет готовить ужин, отец рассказывать о проекте свинофермы, которую он откроет, когда у него появятся деньги. Об их происхождении он умалчивает, а они благоразумно не спрашивают.

Если ты совершила маленькую ошибку, получи минус один. Оплеуха Ольге или маме – легкая, обманчиво небрежная, словно хозяин треплет собаку, – так это могло бы выглядеть со стороны, если бы у приступов отцовского гнева были свидетели.

Минус два – нужно быть готовой увернуться. Получишь минус два, и в ход пойдут вещи. Оля учится экстерном, и ее отношение к материальному миру меняется довольно быстро. Например, веник! Веник – смешная штукавина, довольно неожиданная, если рассматривать ее в контексте причинения боли другому человеку. Зато формируется полезная привычка любой предмет встраивать в этот контекст.

Поэтому в их доме всегда образцовый порядок. Оля следит за тем, чтобы на подоконнике не оказался утюг, а шланг от пылесоса был свернут в кладовке. Точно заботливый домовый, оберегающий хозяина, Оля ходит за мамой и прячет вещи, которые та неосмотрительно забывает на виду. Нет ни одной безопасной. А если тебе покажется, что это не так, вспомни тот случай, когда он ткнул ее в ухо пинцетом.

Минус три: плохо, девочка, плохо. Ты не справляешься.

Последний раз тройку Оля получила два месяца назад. Отец сидел за обеденным столом, закипая от ярости. У его гнева не было видимой причины, Оля с мамой вели себя хорошо. Но она обязана была распознать,

что отец зол, с той минуты, как он вошел в дом.

Целых две ошибки!

Оля не заметила, как он принюхивался к супу, – раз. И как дернул ртом в ответ на мамины слова о том, что курица ей на рынке сегодня досталась со скидкой, – два.

Девочки, которые хорошо учатся, должны опережать логику своих мам и пап.

«Это вроде как намек на то, что я денег в дом не несу? Нам скидку делают, как нищим?» – вкрадчиво спросил отец.

Секунду спустя вилка вонзилась в стол. Мама еле успела отдернуть руку, а вилка сломалась, и отец заорал уже в полный голос, освобожденно выпуская из глотки целый улей взбесившихся жалящих слов: *из-за тебя сука в этом доме все дерьмо...*

Что было дальше, Оля предпочитает не вспоминать.

Минус четыре получают безмозглые девочки. Девочки, которые вовремя не сообразили, что пуговицу на папиных джинсах следует незаметно переставить – так, чтобы он постепенно отказался от привычки носить ремень. И на брюках тоже. И не забыть про вторую пару. И внимательно следить за его весом: если папа похудеет, снова перешить пуговицу, чтобы ремни висели в шкафу, безобидные и противные, как дохлые змеи.

Минус пяти еще не было.

Оля очень старается быть хорошей ученицей. В ней просыпается маленький зверек; их выживание зависит от его чутья.

Зверек и Оля умеют по шагам определять, насколько пьяным отец вернулся домой. Их внимание к деталям обостряется до предела.

Из кармана торчит пачка «Мальборо»? Значит, его угостил Витя Левченко; отказаться отец не в силах, но он расценивает дружеский жест как намек на его несостоятельность – не способен даже сигарет себе купить! – и в душе его клокочет бешенство, ища лишь повода, чтобы вырваться наружу.

Тише, мама, тише. Не зли его, мама.

Словно паучок, затаившийся в центре своего сложного плетения, Оля контролирует подрагивание невидимых нитей; она научилась ловить еще не высказанную угрозу, заранее протягивать руки, чтобы созревшее яблоко его гнева упало в подставленные ладони.

Полтора года в Русме, по словам отца, пошли его дочери на пользу. «Ты здоровее любого городского засранца!» Это правда. Оля двигается куда ловчее, чем прежде. Она умеет уклониться от удара, который другого ребенка застал бы врасплох.

Не говоря уже о навыках дипломатии. Нельзя открыто занять сторону матери. Но по умолчанию подразумевается, что Оле разрешено исправлять некоторые... последствия.

...Отец стоит в дверях ванной, смотрит, как она размазывает пальцем жидкий тональник по иссиня-лиловому вздутию. Это называется «растущевывать». Нежное слово, точно перышком коснулись.

– Возьми с собой какую-нибудь пудру, Наташа, – недовольно говорит он. – Чтобы на тебя пальцем не показывали. Позорище...

Оля молча выдавливает на палец еще каплю средства.

– Ужас, до чего дурная баба способна довести нормального мужика, – сокрушенно бормочет отец.

Дверь за ним закрывается. Оля с мамой остаются вдвоем.

– Я тебе пудру уже положила, – говорит девочка. – В сумку, в боковой карман.

Мама поднимает на нее глаза. Вернее было бы сказать, один глаз. Правый. Левый затек, его подпирает снизу разбухшая скула, напоминающая баклажан, зачем-то выросший из человека. Из узенькой щели торчат длинные мамины ресницы. Глазного яблока не видно. Оля может выдавить на ее лицо все содержимое тюбика с тональным кремом. Глаз от этого не появится. Он спрятался глубоко-глубоко и боится выглянуть наружу.

– Котенька, папа не специально, – тихо говорит мама. – Он просто очень нервничает. У него не получается с огородом, и дом запущен... Не сердись на него. Он сам страдает. Папе хотелось бы, чтобы у нас было все самое лучшее. Но работы пока нет, а с фермой... С фермой все сложится, просто не сразу.

«Я сейчас ударю ее», – думает Оля. На какую-то долю секунды она вдруг прекрасно понимает отца, более того – видит мать его глазами, и пальцы сами сжимаются в кулак. Врезать бы по этой вечно виноватой толстой овечьей морде!

Девочка кладет тюбик на полку, снимает с батареи горячее полотенце и зачем-то начинает вытирать сухие ладони – очень медленно, очень тщательно.

– Я сама виновата. Провоцирую его. – Голос мамы полон раскаяния. –

Но знаешь, если люди любят друг друга, они все перенесут, пройдут рука об руку весь путь. У нас просто... тяжелое время. Да. Тяжелое время.

Холодные ее пальцы вдруг обхватывают Олино запястье. Это как прикосновение мертвеца, и девочка вздрагивает всем телом. Ее мама толстая, большая, живая и теплая! У нее не должны быть такие руки!

– Миленькая моя, лапушка, я же вижу, как тебе тяжело, – задыхаясь, говорит мать. – Но ведь он тебя почти не трогает, верно? А я потерплю! Ты не бойся за меня, правда, я потерплю, честное слово!

– Зачем? – сквозь зубы спрашивает Оля.

Она смотрит на мать, а та смотрит на нее: две девочки, отчего-то поменявшиеся местами: одна взрослая и очень уставшая, вторая – несообразительный ребенок, думающий, что даже в аду можно жить, если не сердить дьявола.

Мама ласково гладит Олю по щеке.

– Глупенькая ты. Это ведь не папа меня наказывает. Это водка в нем говорит. Если бы он не пил, ничего такого не было бы. Папа – человек очень добрый, отзывчивый. Я помню, как мы в Дзержинске жили... Лужа была перед подъездом, жидкая такая, черная. А я в туфлях. И папа меня каждый день на руках через нее переносил. В парке мы с ним гуляли, листья собирали кленовые... Он желтые, я красные. А однажды венок из листьев мне сплел и говорит: «Ты у меня королева осени».

На лице ее появляется мечтательное выражение.

Это зрелище – едва ли не самое страшное из всех, что Оля Белкина видела за свою жизнь: женщина, сидящая на краю ванны и улыбающаяся своим воспоминаниям о человеке, три часа назад вмявшем кулак в ее лицо.

– Все у нас будет хорошо, – уверенно заканчивает мама. – Переживем мы эту черную полосу. Лишь бы папа не пил. И с его проектом все получится, он ведь очень умный, папка твой! Ты у меня тоже умница.

Она целует девочку в лоб и хлопает в ладоши:

– Вставайте, граф, вас ждут великие дела!

На лице ее напускное оживление.

– Все, котенька, побегу работать. А ты в школу опоздала, между прочим! Геометрию не пропускай, потом сложно будет нагнать. Давай, Олька, не подводи меня!

Мама улыбается, гладит девочку по плечу. Она держится так, словно последних восьми часов в ее жизни просто не было.

Проводив ее, Оля бредет в свою комнату.

– Геометрия, – бормочет она. – Свойства равнобедренного треугольника. Теорема о соответственных углах параллельных прямых,

пересеченных секущей.

При слове «секущей» желудок конвульсивно сжимается. Девочка едва успеваешь метнуться к кухонной раковине, и ее выворачивает прямо на непомытую отцовскую чашку с Рокки Бальбоа, которую они с мамой подарили ему на прошлый день рождения.

День стоит весенний, солнечный, яркий и очень ветреный. Один из тех дней, когда, сидя дома, жалеешь, что не бродишь по улице, а выйдя на улицу, жалеешь, что не остался дома.

Ветер забивает узкие бутылочные горлышки улиц пылью и мусором. Ветер толкает в грудь двоих подростков, идущих по проселочной дороге. Однако те и не думают возвращаться.

Их класс в эту минуту пишет контрольную по литературе.

Двое подростков направляются прочь от Русмы. У мальчика за плечами рюкзак с припасами, девочка постукивает самодельным посохом; ручка обмотана изолентой.

Половину пути они проделали на рейсовом автобусе. Им осталась всего пара километров; Оля с Димкой рассчитывали преодолеть их быстро, но ветер сегодня не с ними заодно.

– Ненавижу ее, – говорит Оля. – Ты себе представить не можешь, как я ее ненавижу.

Они сворачивают с проселочной дороги и углубляются по тропинке в поле. К заброшенной ферме есть и прямой путь. Он куда короче. Но с той стороны участок Бурцева отделен от поселка рвом, размытым после дождей.

– Чушь! – лаконично отзывается Димка.

– Честное слово. Она все время ест. С тех пор как переехали, набрала килограмм тридцать! Она уже под восемьдесят весит!

Димка думает, что Белкина мама похожа на подтаявшего снеговика; еще он думает, что она весит уже под сто, но вслух этого не говорит.

– Он же ее постоянно кормит! – продолжает Белка. – Картошку жарит в салате. Пельмени ей отваривает! Потом они сидят, точно два голубка, он пельмешек на вилку наколет, в сметану обмакнет – и протягивает ей, как ребенку. Еще и подует на него! А она лопает!

– Слушай, по-моему, это довольно мило. – Димка перехватывает поудобнее рюкзак. – Ну, в смысле, это все дрянь, конечно, все эти

сюсюканья у взрослых. Но с другой стороны, может и неплохо, что он с ней нежничает.

– Ты не понимаешь! – Оля резко останавливается.

Ветер треплет ее короткие волосы.

Еще неделю назад она ходила с каштановым каре – Димке очень нравилась эта прическа. Все девчонки с тощими косицами, а у Белки на башке римский шлем легионера: гладкий, из темной меди. Но три дня назад подруга явилась в школу коротко стриженной, причем, судя по торчащим в разные стороны прядям, не удосужилась дойти до парикмахерши, а оболванила себя сама. Классная подняла было шум. Однако с Белкой спорить сложно. Она стоит со спокойным видом, кивает и твердит: да-да, простите, я не подумала. При этом ни раскаяния в ее голосе, ни вызова, ни притворства. Взрослые теряются и отступают.

– Выглядит так, словно... словно он ее откармливает! На убой! Знаешь, есть такое блюдо – фуа-гра.

– Утиная печень.

– Вот-вот. Утку подвешивают с разинутым клювом и пихают в нее еду. Она жрет и жиреет, жрет и жиреет. А потом ее забивают, а печень едят гурманы. Она как будто его любимая уточка! Хотя сейчас, наверное, уже корова...

Синекольский хмыкает, не удержавшись.

– Страшно мне на это смотреть, Дим, – очень серьезно говорит Белка. – Она толстеет, а он ее кормит. К нам на днях Левченки заходили. Отец как раз готовил мясо под майонезом в духовке. Жир так и течет! Пахнет, конечно, зашибись. Дядя Витя спрашивает: «Марин, как называется, когда у людей все хорошо?» Она ему: «Идиллия, Вить». И они давай наперебой повторять, какая у мамы с папой идиллия. А эти двое сидят, улыбаются, типа счастливые...

Белка с силой сшибает палкой ранний подсолнух.

– Оля, а может, и правда счастливые? – осторожно спрашивает Димка. – Я слышал, у мужа с женой бывает такое. Вроде как сильно поссориться, чтобы потом... ээээ...

– ...примирение было ярче, – мрачно говорит Белка.

– О, точно! Примирение!

Они выходят на край поля. Отсюда уже видны две полусферы, похожие на шляпки гигантских поганок.

– Ну, может, – нехотя соглашается Белка. – Не знаю... Жалко мне ее, аж сердце дерет. Будто скипидаром плеснули.

– А говорила – ненавидишь...

Девочка обреченно машет рукой и надолго замолкает.

Они идут через поле. Земля пружинит под ногами. Мелкие птицы вспархивают из травы и потом долго кружат в умытом небе.

– А отца? – спрашивает Димка.

– Что отца?

– Ну, мать тебе жалко. А с отцом что?

Родители Синекольского приезжают раз в год, и две недели Димка купается в коротком горячем счастье. Он смутно помнит те времена, когда они жили вместе. Никто никого не бил. Только бабка ходила с протухшим лицом, но Синекольский уверен, что она и родилась с таким, и к райским воротам подойдет с этим же выражением, принюхиваясь, чем воняет от облака. Ее, конечно, возьмут в рай, думает Димка. Бабка безгрешна, как гладильная доска.

Оля смотрит на друга. Проводит рукой по коротким прядям. И тут до Синекольского внезапно доходит, отчего она обстригла волосы.

– Теперь не ухватишь, – говорит девочка и улыбается. Это, наверное, худшая улыбка из всех, которые Димка видел за свою жизнь.

В десяти шагах вырастает покосившаяся ограда из металлической сетки. Ее давно обглодала ржавчина. Влево и вправо, насколько хватает взгляда, уходит длинный ряд столбов.

– Пришли...

Они пролезают в ближайшую дыру, стараясь не зацепить одежду торчащими крючками.

– Мы с тобой как две рыбы, которые нашли прореху в сети.

– Лишь бы не зажарили, – откликается Белка. – Слушай, а если все-таки сторож?

– Свалим!

– Стремно.

– Да брось, – насмешливо говорит Димка, – какой нафиг сторож? Чего ему тут сторожить, крапиву?

– Ну не знаю. Может, этого, в бассейне?

– Ерунда. Нет там никого!

– А вдруг есть?

Они препираются еще минут пять, без огонька, лишь затем, чтобы внутренне подготовиться к тому, ради чего заявились сюда, сбжав с уроков. Обоим не по себе.

Бурцев – местная притча во языцех. А ферма Бурцева – запретное место. Если узнают, что они были здесь...

– Никто нас не увидит, – с преувеличенной твердостью говорит Димка

и авторитетно харкает в траву.

– Да уж надеюсь!

Пару лет назад городской человек Геннадий Бурцев выкупил несколько гектаров земли под Русмой и собрался фермерствовать. Его вел дух предпринимательства. Как и Николай Белкин, Геннадий никогда не имел дела с сельским хозяйством, но в отличие от Николая прочитал множество книг и рационализировал в теории кое-какие идеи, изложенные предшественниками. Их он собирался воплотить на русминской земле.

Долговязый Бурцев носил подтяжки поверх свитера, а на кудрявой черноволосой голове – шляпу с заломленными полями. Уже одного этого было достаточно, чтобы за ним закрепилась слава чудака. Вдобавок он выражался высокопарно и туманно, твердил, что приведет Русму к славе, и в целом производил впечатление блаженного, обремененного деньгами.

Еще никто не знал, в чем состоят его проекты, но им уже предрекали скорый крах. Он был чужак, причем чужак инициативный – порода людей, вызывающая в любом маленьком сообществе неприязненное любопытство. Ему желали провала. Русминские мужики, завидев Бурцева в магазине, подходили и принимались грубовато учить его жизни. Не строился бы ты на поле, Геннадий! Там, говорят, подземные воды близко. Не надо тебе туда лезть. Промыкаешься зря.

– Кто говорит? – спрашивал Бурцев.

В ответ пожимали плечами.

Бурцев отходил, за его спиной оставалось висеть облако враждебных шепотков.

Он возвел на своем участке коровник, начал подводить коммуникации. Отделил пастбище для кормовых культур и завез землю, стоившую безумных денег. Поставил два ангара, которые получили условное название зернохранилищ, – условное, потому что истинное их назначение так и осталось неясным.

В одном из них Бурцев вырыл котлован и забетонировал его. «Три метра глубины! – рассказывали рабочие. – А в длину все семь». Сколько у Геннадия ни спрашивали о его функции, тот лишь загадочно улыбался и отвечал, что всему свое время.

Время пришло очень скоро. Но принесло не то, что ожидал несчастный чужак.

Рабочие, пришедшие утром, обнаружили, что яма заполнена ледяной водой. Одновременно подмыло фундамент коровника. Три секции, отведенные под боксы, рухнули, и только чудом никто не пострадал.

Прибежавший в ужасе Бурцев застал на своем участке

апокалиптическую картину. Поле было покрыто ровным слоем черной воды. Земля, словно рассердившись на безумца, выдавила сок из своих недр и растворила в нем амбициозные планы чужака.

Бурцев привез из Москвы специального ученого человека. Ученый человек подтвердил то, что местным было ясно сразу: строиться здесь нельзя. Колебания грунтовых вод на участке непредсказуемы из-за подземных ключей. Кроме того, есть и еще причины... Человек стал перечислять их одну за другой, но несостоявшийся фермер уже не слушал. Он понял одно: вода не уйдет.

В этом Бурцев ошибся. На третий день земные соки растворились без следа. Залитой осталась лишь яма. Воду выкачали, однако она вернулась сутки спустя. Повторили – и снова наутро увидели бассейн, глянцево поблескивающий под лучами фонарей. Третью попытку предприняли из чистого интереса. Вода упрямо возвращалась. Струйки просачивались сквозь трещины в бетоне, ледяные упрямые струйки, словно змейки, нашедшие место, где можно безбоязненно свернуться и уснуть.

В конце концов на зернохранилище махнули рукой. Сонная темная вода воцарилась в отвоеванной у людей яме.

Бурцев, потрясенный катастрофой, пропал из Русмы навсегда. Говорили, что предприятие, приносящее ему доход, разорилось одновременно с пришествием воды. Еще говорили, что он собирался не то вешаться, не то стреляться, но в итоге отравился испорченными грибами – не нарочно, а просто так сложилась судьба. Кто-то утверждал, что нашлась невинная душа, которая полюбила дурачка, и Бурцев счастливо женился. Женившись же, забыл о глупостях и устроился менеджером в салон сотовой связи.

Бурцев мелькнул на небосклоне Русмы лихой кометой с подпаленным хвостом. Он остался в коллективной памяти кем-то вроде персонажа анекдота – полумифическое существо, утрированный до карикатурности образ. По прошествии двух лет многие уже не рисковали утверждать достоверно, был ли Бурцев. Хотя попадались и такие, кто считал, что тот живет неподалеку и время от времени приезжает посмотреть на заброшенный участок.

Зато ферма Бурцева была.

Она быстро пришла в негодность и запустение. Технику разворовали. Коровник обрушился окончательно пару месяцев спустя после затопления. Его тоже разобрали, унеся все, что можно было утащить. Теперь из травы торчал изломанный скелет здания с перекрученным хребтом. Первый амбар стоял пустой, вокруг второго поставили заграждение и повесили таблички:

НЕ ВХОДИТЬ! ОПАСНО!

Цепочку Белка перепрыгивает. Синекольский просто отодвигает заграждение.

– Дверь, – шепчет девочка.

Двери нет. Изуродованное металлическое полотно валяется в траве и выглядит так, словно по нему топтался великан. Зернохранилище слепо таращится на детей циклопическим глазом.

– Я же говорил, тут кто-то ходит. Только не сторож. Кто угодно, но не сторож. Нечего тут охранять.

Мальчик достает из рюкзака фонарик.

– Пошли!

Оля ожидает, что ангар внутри будет похож на пещеру. Но все оказывается куда грубее и прозаичнее. Темно и сыро, воняет затхлостью. Единственное светлое пятно – прямоугольник, падающий от входа. В глубине амбара тени сгущаются в непроглядную черноту.

Луч фонарика распахивает тело сумрака пополам.

– Ну-у-у, – разочарованно тянет Димка. – Ничего и нету.

– Ты не нукай, ты в бассейн свети!

Бассейн – то, ради чего они пришли сюда.

Подходить к нему запрещено. Нельзя даже заглядывать в амбар. Котлован небольшой, он выглядит безобидным. Но вода, однажды добравшись до отметки в два метра, выше уже не поднялась.

А глубина ямы – три.

Через год после того, как Бурцев исчез, бросив свою ферму на произвол судьбы, туда упал местный сторож, забредший в ангар неведомо зачем. Случилось это ранним утром.

В одну из стен бассейна рабочие успели вбить скобы. Но когда сторож схватился за нижнюю скобу, она выпала, словно гнилой зуб, из раскрошившегося цемента, и тихо легла на дно.

От спасительной поверхности сторожа отделял лишь метр. Но преодолеть этот метр, барахтаясь в ледяной воде, он не мог.

«Я, значит, за край-то пытаюсь уцепиться, – рассказывал потом бедняга, – и вроде вот он, прямо над тобой, а попробуй выберись! Я уж и брюхом по стене ерзал, и ногами упирался... Ну что ты хочешь делай – сваливаюсь обратно! Думал, кранты мне. Самое обидное – в луже утонуть», – заканчивал он.

Сторожа вытащили подростки, бродившие неподалеку и услышавшие крики. С тех пор зернохранилище огородили. Место, и без того

пользовавшееся нехорошей славой, стало запретным.

– Ну и где? – шепотом спросила Оля.

Димка посветил в воду. Ничего.

– Да гонит твой Грицевец!

– Может, и гонит, – пробормотал Синекольский, – а может, и нет...

Смотри!

Он схватил девочку за руку. Оля вздрогнула от неожиданности.

– Что там?

– Тень какая-то! По дну ползла!

Оба склонились над водой, с жадным страхом вглядываясь вглубь.

Минута, вторая, третья...

– Показалось, – разочарованно выдохнул Димка. – Хотя... Ну-ка, палкой пошуруй!

Оля опустила свой посох в воду и принялась медленно водить, разгоняя в стороны мелкую волну.

Девятиклассник Женька Грицевец, накурившись конопли, рассказал, что Бурцев был прикрытием серьезного эксперимента, и ферма его – никакая не ферма, а полигон для нового оружия. Потому и вода поднялась: нарушили что-то в нижних слоях земли.

Услышав про нижние слои, Синекольский заржал. Ему косяка никто не предложил, что было обидно, так что ржал он на трезвую голову, вызывающим своим смехом мстя за пренебрежение.

Своей цели Димка добился: Грицевец почувствовал себя уязвленным. «А в зернохранилище живет искусственно выведенная тварь, – сказал он, подчеркнуто не обращая внимания на школьного шута. – Человек с жабрами. Для него и яму вырыли. Только мы-то не дураки. Ясно же, что через цемент вода сама не пройдет. Там особая конструкция. А сторож приходил кормить его, но увидел в первый раз, потому и свалился. От страха, ага».

– И зачем в Русме чувак с жабрами? – лениво поинтересовался Синекольский. – Нам своих уродов мало?

– Совсем тупой? Здесь его выращивают. А потом увезут на океан.

– Ага. Вражеские подлодки взрывать.

Синекольский надул щеки, выпучил глаза и издал губами неприличный звук. Вокруг засмеялись.

– Тебя предки бабуле сбагрили, чтобы ты их не позорил? – спросил Грицевец. Улыбка сползла с Димкиного лица. – Вообще-то именно для этого. Гидроакустическая система только другие подлодки обнаруживает. А

человека не может! Понял, debil?

Кто-то осторожно заметил, что вроде сейчас ни с кем не воюем. Но Грицевец даже отвечать не стал. Многозначительно пожал плечами и затянулся косячком. Победа осталась за ним.

Димку разрывают два чувства. Хочется доказать, что Женька – завравшееся трепло. В то же время он все бы отдал, чтобы из черной воды к ним выплыла зубастая тварь с человеческими глазами.

– Видишь что-нибудь?

– Не-а.

Оля замерзла, бултыхать палкой в воде ей надоело.

Однажды, когда они с мамой еще жили в Дзержинске, в город приезжал луна-парк. Афиши развесили заранее, и целых две недели маленькая Оля ждала сказочного города. Она рисовала передвижные замки, полосатые дирижабли и паровоз, развозящий пассажиров по пещерам с золотом.

Прибывший луна-парк оказался набором дешевых аттракционов. Было в нем что-то от старухи, густо накрасившей лицо в надежде сойти за красавицу в ночном сумраке и в этой размалеванной ипостаси выглядящей до отвращения жалко; как и старуха, луна-парк мог существовать только ночью: искусственные огни обладают волшебным свойством обращать ложь в мечту. Но на ночь луна-парк закрывался. А дневной свет обнажал фальшивку. Даже не старуха, а ее размалеванный труп дрыгал ногами в гротескной пародии на канкан.

Оля рыдала три дня. Затем достала альбом и дорисовала дирижаблю окна. Пассажиры должны видеть землю и облака, иначе их может укачать.

Отстояв таким образом свою реальность от грубого вмешательства чужой, она совершенно успокоилась.

Зернохранилище оказалось лишено даже намека на тайну. Но ее мысленный альбом был полон стремительных карандашных зарисовок: они с Димкой идут через поле; шутливо толкаются в автобусе за место у окна; Димка на чердаке с мотком изоленды мастерит ручку для посоха.

Вот зачем был весь их поход, а не из-за какого-то дурацкого человека-амфибии.

– У тебя в рюкзаке что? – вспоминает Оля. – Бутерброды?

– Два. С колбасой и сыром.

– И чай?

– И чай.

Девочка с оглушительным стуком бьет палкой по воде. Брызги обдают

обоих.

– Эй! Ты чего?

– Все! Пошли отсюда! Грицевец – трепач. А у тебя – бутерброды!

Чуть позже они сидят на пригорке, жуют и подставляют лица солнечным лучам.

– Марине можно рассказать? – спрашивает Оля. – Ну, про зернохранилище.

– Марине можно.

Марина – жена Виктора Левченко, и, по мнению обоих ребят, единственный дельный взрослый человек на всю Русму. Марина маленькая и костлявая. Она много курит, носит мужские ботинки и поет хриплым голосом похабные частушки. У Марины блестящие глаза, кривые зубы и такая улыбка, что невозможно не улыбнуться в ответ. Она похожа на тощего, вечно пьяного скворца, которому бы летать и летать, но его по ошибке запихнули в женское тело и приземлили в Русме.

– Может, сюда ее приведем?

– Еще чего! Что она тут забыла...

Родилась Марина не здесь. Она из Петербурга. Для местных это значит – выскочка и цаца. Ей доверили вести в доме творчества группу вокала для взрослых, а еще она умеет плести бумажных чертей, делать из носового платка танцующего попокрута и варить лохматые сосиски. На вокал Оле плевать, но лохматые сосиски – это вещь! Марина ей двадцать раз показывала: берешь сосиску, протыкаешь насквозь сухой вермишелью, бросаешь в кипяток... Но у Оли все равно не получается нужная степень лохматости.

Марина неуклюжая, и руки у нее вечно в синяках. У Марины вянут даже самые неприхотливые растения. Выкидывать их ей лень, и на подоконниках торчат горшки с засохшей флорой, скукоженной и жутковатой.

Вокруг Марины царит уютное безумие.

Немытые чашки громоздятся в раковине; юбки в лохмотьях, словно разодранные кошками, валяются на кроватях; вихрь вещей кружится вокруг Марины, а дирижирует им она – маленькая ведьма с кривой ухмылкой.

«Это мой способ отстоять собственное пространство!» – заявляет Марина.

Но перед возвращением мужа с работы все прячет. Дядя Витя не поймет про ее пространство. Грязные чашки Марина сует в буфет, скомканные юбки пихает в шкаф, раскрывает окна настежь, чтобы выветрился сигаретный дым. Оле иногда кажется, что и сама Марина в эти

минуты тает, спрятанная по шкафам и развеянная ветром.

Подружились они так: отец отправил Олю отнести Виктору книгу о животноводстве.

– А, Белкина-младшая! – сказала Марина, увидев девочку. – Здорово! Бросай эту макулатуру на диван. Есть кофе и пирог. Отыщи там себе чашку без всего этого дерьма.

Кофе оказался потрясающим, пирог несъедобным. Допив, Оля с сожалением сказала, что ей пора. У них урок труда, нельзя опаздывать.

– Что, Доширак?

– Почему «Доширак»? – изумилась Оля. И вдруг сообразила: у трудовички из головы торчат упругие витые локончики яично-желтого цвета.

Девочка прыснула, но неуверенно. Она еще не знала, чего можно ожидать от этой странной женщины.

– Кипятком бы ее залить, – мечтательно добавила Марина.

И вот тогда Оля не выдержала и засмеялась. Трудовичку вся школа терпеть не могла за крикливость и привычку распускать руки.

– Ты заходи после школы, – сказала Марина. – Люблю эксплуатировать труд несовершеннолетних, знаешь ли.

Оля зашла, и они до вечера резались в дурака.

С тех пор раз в неделю, а то и чаще она забегает к Левченкам. Иногда приводит с собой и Синекольского, но только тайком: Димке бабушка запрещает общаться с Мариной. Проститутка, говорит о ней Ирина Сергеевна. Трется, шкура, со всеми подряд, говорит Ирина Сергеевна, и лицо у нее становится как у мертвой курицы.

Оля не очень хорошо понимает, как можно тереться со всеми подряд, и, главное, зачем.

А между мертвой курицей и живым скворцом она всегда выбирает скворца.

В доме Марины можно быть маленькой, глупой и смешной. Можно кусать подушку за угол и тискать ленивую кошку Дусю. Марина сама как ребенок, но лишь при ней Оля перестает чувствовать себя взрослой. Марина окрестила ее Бумбарашкой. Девочка начинала смотреть этот фильм и выключила – очень уж герой противный. Но от Марины это прозвище звучит необидно.

Иногда они хулиганят. Играют в побег из тюрьмы. Начальником у них назначен дядя Витя, хоть он об этом и не догадывается. Услышав стук калитки и тяжелую поступь, Марина командует: «Дёру!» Тогда Оля вываливается в окно, в заросли уже изрядно примятых флоксов, и сверху в

нее летит пачка печенья: продержаться первые дни после побега.

Определенно, нужно зайти сегодня к Марине и рассказать про ферму и болтуна Грицевца.

– Жизнь не так уж и плоха, если у тебя есть бутерброд, – глубокомысленно говорит Оля.

– Если у тебя есть друг, у которого есть бутерброд! – поправляет Синекольский.

До события, которое необратимо перевернет эту не такую уж плохую жизнь, остается один день.

3

Ковер Димка украл.

Рулон, перехваченный сверху и снизу бумажным шпагатом, стоял за дверью кладовки в квартире его собственной бабушки. Ирина Сергеевна не хотела, чтобы внук ходил по ковру грязными ногами. И даже чистыми (хотя чистые ноги у Синекольского случались редко).

Ковер был значительно ценнее внука. Он ждал того счастливого дня, когда мальчика заберут и Ирина Сергеевна останется в квартире одна. Тогда она раскатает его, и поцелует его мягкий ворс, и станцует на нем, босоногая и легкая, и пропоет осанну за избавление от обузы.

Димка всего этого не знал. Он полагал, что бабушка вечно бранит его оттого, что он не оправдывает ее ожиданий. В маленькую бугристую голову Синекольского не укладывалось, что его можно попросту не любить.

Он рассудил так: им с Белкой ковер нужнее.

Подозревая, что бабушка эту логику не одобрит, он решил, как заботливый мальчик, держать ее в неведении.

Из этих же соображений он ничего не сказал и Белке.

Синекольский прежде не воровал ничего тяжелее книжек. Сложности, с которыми сталкиваются похитители бабушкиных ковров, были ему неведомы.

Кое-как он смог вытащить рулон из квартиры. И даже спустил по ступенькам вниз, кряхтя от натуги. Но возле подъезда стало ясно, что мечта об уютном чердаке вот-вот обернется миражом.

От дома Синекольского до пятиэтажки было не больше километра. Но мальчик понимал, что в его положении между километром и двадцатью нет разницы.

Другой подросток сдался бы.

Димка забросил ковер на скамейку и сел возле него – ждать.

В нем жила глубокая, не основанная на объективной реальности убежденность в том, что мир к нему доброжелателен. Это была истинная вера, не требующая доказательств. Но сейчас Димка сообщил небесам, что кое-какое свидетельство их благосклонности ему бы не помешало. Пробыл час! Когда и явить себя Господу, как не в момент кражи ковра!

Истекла ровно минута.

Из-за угла вывернул бывший сторож фермы Бурцева, Алексей Иванович Ляхов, год назад едва не нашедший свою смерть в бассейне зернохранилища.

Ляхов был в подпитии. Как во многих веселых пьянчужках, отзывчивость в нем уживалась с обидчивостью, и с этой точки зрения он был идеальным орудием, посланным небесами в ответ на кощунственную Димкину молитву.

Отзывчивость заставила Ляхова водрузить ковер на плечо.

– Бабке, значит, помогаешь! – бормотал он, качаясь, словно пресловутый бычок на доске. Сходство усиливалось раздутыми ноздрями и мутным взглядом исподлобья. – Хороший ты пацан. Я вот тоже жене твержу: людям надо помогать! Что людям нравится? Пиво! А к пиву что нужно?

– Водка, – предположил Синекольский.

Ляхов озадаченно повернул голову. Шаткое равновесие нарушилось, и он начал медленно заваливаться назад. Димке вспомнилась картинка, нарисованная им же в учебнике истории: Ленин, при развороте зашибающий бревном трех рабочих. В последний момент он удержал сторожа от падения.

– Малой, а соображаешь, – одобрил Ляхов. – Не, не водка. Тут у нашего государства мо-но-по-лия! – Последнее слово он выговорил по слогам и вдруг взвыл диким фальцем. – Паду ли я? Стрелой пронзенный!

– Тише, Алексей Иванович!

– Раки! Раки нужны к пиву. Я ей твержу-твержу, а она... «Дребедень, – говорит, – ты, дурень, затеял. Не выживут они там у тебя, передохнут». Что бы понимала! Я же их не сразу туда... Сначала в садок, а из садка уж, помолясь, запускаю... Это называется – а-дап-та-ци-я. Эх! Для людей тоже нужная штука.

Когда добрались до места, Димка соврал, что бабушка велела ему ждать хозяйку снаружи, и попытался всучить Ляхову полтинник.

Сторож обидчиво фыркнул, посоветовал мальчику засунуть деньги себе в одно место и пошел прочь, бормоча о людской неблагодарности.

Димка же занес свой груз в подъезд, доволлок до пятого этажа и даже ухитрился втащить на чердак. Из последних сил расстелив его, мальчик упал сверху и поклялся, что если Белка не оценит подвига, он задушит ее шпагатом от ковра.

Николай Белкин заметил мальчишку и сторожа на середине их пути. Белкин был трезвый и злой. Он пошел за ними, держась поодаль, ведомый не столько любопытством, сколько надеждой прижать этих двоих к ногтю.

Когда Ляхов, избавившись от своей ноши, завернул за пятиэтажку, он лицом к лицу столкнулся с Николаем.

Ляхов недолюбливал Белкина. Красивый мужик, но какой-то гнилой. Нутро порченое. Даже выпивать с ним в одной компании – и то тошно.

– Что, экспроприация? – подмигнул Николай.

– Че-го?

– Ковер, говорю, украли?

Сторож с достоинством выпрямился.

– Бабаньке помогли дотащить куда надо.

– А куда надо?

– Мое какое дело? Да и не твое.

– Эх, Алексей Иваныч, Алексей Иваныч... Нету в тебе пытливости ума.

– Катись ты... с умом.

Ляхов обогнул Белкина и пошел прочь. Даже этот короткий разговор вышиб его из того благодушного состояния, в котором он пребывал. «До чего все-таки сволочной мужик... Пытливости, говорит, нет! Бабу свою лупит смертным боем. Девчонка ихняя зверьком глядит. Тьфу, глаза б его не видали».

Жен в поселке били многие, Николай не был исключением. Ляхов рассуждал так: пару раз, если забылась, можно поучить... Однако регулярно ей харю расквашивать – тоже не дело.

В Белкине ему чудилось что-то отталкивающее. Никто этого не замечал. В Русме он прижился очень быстро, во всех компаниях стал своим. Но Ляхов улавливал какую-то странность. Вроде говорит человек правильные слова, а смысл у них исковерканный. Как уж у него это получается – бог весть.

А еще рядом с Николаем Ляхову все время казалось, будто у того изо рта воняет мертвечиной, словно Белкин полакомился дохлой кошкой. Глупости все это, ничем не пахло, разве что мясом с луком – а вот поди ж ты, и двух минут поблизости простоять не мог.

Задумавшись о Николае, Ляхов забыл о том, с чего начался их разговор. Вскоре происшествие с ковром начисто выветрилось из его памяти.

Тем временем Белкин выждал немного. Зашел в подъезд, обошел три лестничные площадки, принося ухом к каждой двери. Он нутром чувствовал во всей этой истории со старухой Синекольской какой-то подвох. Внезапно наверху что-то скрипнуло и раздались шаги – Николай едва успел спрятаться за мусоропровод.

Димка Синекольский пробежал мимо, не заметив его.

Проводив пацана взглядом, Николай хмыкнул и поднялся на пятый этаж.

Там он обнаружил лестницу и чердачную дверь с навесным замком.

Белкин провел пальцем по ступеньке и задумчиво посмотрел на чистый палец.

4

Всех отпустили из школы вовремя, кроме Димки с Олей. «Белкина, Синекольский, остаетесь писать контрольную».

Плохо не это, а то, что потребовали записку от родных, поскольку оба в оправдание прогула сослались на туманные «семейные обстоятельства».

– Бабаля меня сожрет, – уныло говорит Димка.

– К Марине зайдём, попросим её написать!

– У твоей Марины почерк как ишак нассал...

– Много ты видел ишаков!

Они огибают спортивную площадку и останавливаются.

Школа в Русме хорошая, отремонтированная на деньги какого-то благодетеля, который учился здесь много лет назад. Средств хватило и на небольшой стадион, по которому в теплое время года школьники наматывают круги под окрики физкультурника. Сейчас на дорожке толпится компания: шестеро парней и между ними – толстая девчонка.

Оля узнает её с первого взгляда.

Это Маня, внучка старухи Шаргуновой.

Маня учится в их классе, но она старше, потому что дважды оставалась на второй год. Первая кличка её – Маня-дура. При взгляде на Маню в голову приходит не просто «толстая», а «мясистая». Она крупная девочка с плечами пловчихи, глубоко посаженными голубыми глазами и

вечно полуоткрытым ртом. Щеки и лоб у нее очень белые, цвета детской присыпки, а нос розовый, пористый, словно приставленный от другого лица, и за эту особенность она получила второе прозвище – Маня-Пудра.

Три поколения Шаргуновых живут в одном доме, три поколения женщин. Старшая – высохшая Зоя, которую так боится Оля. Ее дочь – Галина, голосистая баба с необъятными бедрами и пергидрольной завивкой. И младшая – Маня, рожденная неизвестно от кого.

– Давай, Пудра! Жарь стометровку!

Это Женька Грицевец. Руки демонстративно засунуты в карманы, вроде как он и пальцем не дотрагивается до Мани. Любому понятно, кто здесь главный.

– Не побегу-у-у-у!

Маня пытается отойти, но ее обступили кругом и не выпускают.

Бег Пудры – это постыдное зрелище. Маня способна подолгу лежать, глядя в одну точку и не меняя положения. В такие минуты в ней проявляется что-то величественное, как в богине, созерцающем свой пупок. Но бегущая Маня, виляющая толстой попой, Маня, взвизгивающая при каждом шаге, словно в ее ступни впиваются колючки, Маня, прижимающая ладони к низу живота, будто вот-вот обмочится, – эта Маня вызывает чувство неловкости у каждого, кто видит ее страдания.

Физкультурник давно махнул на нее рукой и автоматом ставит тройки. Так же поступают и другие учителя. Галину не раз просили забрать дочь из школы. Маня способна сорвать урок, начав распевать песни пронзительным голосом. Она пугает малышей. Иногда на нее *находит*, и тогда Маня носится по классу как полоумная, сшибает с парт учебники, пляшет, выкрикивает грубости и хохочет во все горло. Синекольский в таких случаях говорит: «Пудра рассыпалась».

Галина отказалась наотрез. «Куда я ее дену? Здесь она под присмотром. А если хату мне спалит? Она же ду-ура!»

Временами Маня пропадает. Шляется неведомо где, барабанит в окна и рушит парники. Может уснуть в чужом огороде среди капустных кочанов. С наступлением темноты старуха Шаргунова выползает ее искать. «А по мне, так пусть сдохнет! – кричит ей вслед Галина. – Куда ты, старая плесень, прешься на ночь глядя? Зачем она тебе?» Когда беглянку приводят домой, Галина сладострастно лупит ее по белой физиономии.

– Давай, Пудра! Шевели булками!

Маня едва плетется. Толчки и тычки в спину заставляют ее выйти на дорожку. У Грицевца, неторопливо подошедшего сзади и явно наслаждающегося своей ролью, в кулаке неведомо откуда возник тонкий

прут.

– Уникальное зрелище! Только для вас! Дрессура коровы!

Раздается громкое ржание.

– Есть желающие потискать вымя?

Оля с Димкой переглядываются.

– Пошли отсюда, – говорит Синекольский. – Не наше дело.

Больше всего Оле хочется последовать его совету. Весь этот спектакль разыгран для них. Травля Пудры – занятие сомнительное и явно не из тех, благодаря которым имя Грицевца будет внесено в список заслуженных хулиганов школы. Все закончится тем, что толстуха упадет и станет извиваться на асфальте, заходясь в пронзительном вопле. Но Димкина бабушка в приятельских отношениях с Зоей Александровной. Пудра обязательно доложит, что в школе ее обижали, а Синекольский глазел вместе со всеми и не заступился за нее. Дура-то она дура, но чтобы наябедничать, много мозгов не нужно.

– Козел! – цедит Димка. Он тоже отлично понял замысел Грицевца. – Гондон штопаный. Хрен тебе, а не драка.

Он оборачивается к Оле и замечает, что взгляд у нее странный: сосредоточенный, погруженный в себя и какой-то больной.

Димка не может знать, что в эту минуту его подруга видит не глупую Пудру, а старуху, слепо шарящую ладонью по тротуару. Незначительный этот эпизод разросся в ее мыслях до масштабов преступления – быть может, потому, что никуда не деться от тягостного сравнения: мать, ползающая по кухне в поисках очков, слетевших после отцовской оплеухи, и Шаргунова, пытающаяся собрать конфеты. «Я здесь ни при чем! – твердит себе Оля. – Я ее не била!»

Но ее слишком сильно обожгло коротким происшествием. Незримое клеймо – знак принадлежности к тем, кто способен хладнокровно отойти от упавшего, – не дает ей покоя.

– Белка, – говорит Синекольский, – ты чего?

– Н-но, Пудра! – кричит Женька. Прут вспарывает воздух. – Пошла, родимая!

Пудра бежит, взвизгивая от страха, за ней мчится, улюлюкая и хохоча, вся компания. Забыт Синекольский, послуживший причиной этой травли. Теперь это чистая, радостная, незамутненная охота, игра молодых волков с отбившейся от стада овцой. Щеки горят, в глазах азарт. Каждый тянется хлестнуть Пудру по голым ногам, дать шлепка по отвислому заду.

– Пу-дра! Чем-пи-он!

– Не надо! – хнычет Маня.

– Йе-ху!

Маня пытается свернуть с дорожки.

– Лови ее, народ!

Подростки бегут все теснее, плечом к плечу, кажется, они вот-вот затопчут глупую неуклюжую Пудру. Девочка в страхе пытается вильнуть в сторону, спотыкается и с криком летит на асфальт. Вокруг нее стягивается плотное кольцо. Травма у овцы – не повод прекратить развлечение.

– Подбили «Мессершмитт»!

– В попу раненный боец...

– Ползет пускай! По-пластунски.

Внезапно маленький снаряд врезается в толпу.

– Отвалите от нее! Пошли вон!

Оля расталкивает подростков с такой решительностью, что отставший от нее Димка даже слегка притормаживает от удивления. «Все, точно навалиют!» – обреченно думает он в первую секунду. Потом видит лица окружающих ее парней и понимает, что не навалиют. Всеобщее помрачение схлынуло. Они сами не понимают, зачем издевались над дурочкой.

– Финиш! – командует Оля. – Соревнование закончено! Победили красные.

Кто-то косится на красные тренировочные штаны Грицевца, и вокруг раздаются смешки.

– Ты не слишком раскомандовалась, Белка? – прищуривается он.

– С фашистами переговоров не ведем, – чеканит Оля.

– Это кто тут фашист? Офигела?

– Программа Гитлера «Тэ-четыре», она же «Операция Тиргантерштрассе-четыре», – вступает Синекольский. Он старается говорить тоном диктора с телевидения. – Официальная программа по уничтожению лиц с умственной отсталостью. В общей сложности убито около ста тысяч человек. Расовая гигиена, все дела. Верной дорогой идете, товарищ Грицевец!

Димка встречается с Женькой взглядом и понимает, что этого Грицевец ему никогда не простит.

– Придурки! – сплевывает тот. – Пошли отсюда.

Его компания медленно расходится. Остаются Димка, Оля и стонущая на земле Пудра.

Синекольский переворачивает ее и присвистывает: колени у Мани разбиты в кровь и губа, кажется, прикушена. К тому же она ухитрилась порвать юбку.

Димка с Олей переглядываются. Обоим понятно, что если отпустить

Пудру домой в таком виде, ей достанется еще и от матери.

- Маня, вставай.
- Не встану!
- Вставай, кому сказано!
- Отстань от меня! Не трогай!

Пудра всхлипывает и подвывает от боли и обиды. Лицо в соплях, руки в грязи. Она такая жалкая и противная, что больше всего им хочется бросить ее на стадионе.

- Повели ее ко мне, что ли, – вздыхает Оля.
- Повели, – вздыхает Димка.

Дома Оля в двух словах объясняет, что произошло.

- Господи, бедная девочка, – говорит мама.
- Надо перекисью, – говорит отец.

Оля думала, он рассердится. Отец терпеть не может чужих детей в доме. Даже Димка бывает у них крайне редко, лишь тогда, когда она твердо уверена, что родители не появятся в ближайший час. Но сейчас он качает головой, и лицо у него огорченное.

- Бедная девочка, – сокрушенно повторяет он. – Как тебя зовут?
- Маня...
- Мария, значит. Хорошее имя.

Мама спохватывается, что у нее подгорят котлеты.

- Ты иди, Наташ, – говорит отец. – Мы сами справимся.

Он отводит все еще хнычущую Пудру в ванную комнату. Достает перекись и мазь. Он говорит с ней ласково, как с маленьким ребенком, и в голосе его интонации, которых Оля прежде никогда не слышала. Папа умывает дурочке лицо и не сердится, когда Пудра чихает в его подставленную ладонь, оставляя в ней, как потом скажет Димка, полкило отборнейших соплей. Ни брезгливости, ни отвращения: он споласкивает руки, вытирает Манину заплаканную мордашку.

– Вот так, потихоньку... Никто тебя больше не обидит. Смотри, сейчас перекись немного пошипит – и все. Чшшшш! Это она тебя так лечит.

Перекись вскипает пузырьками, попав в рану. Маня сначала вскрикивает, но затем успокаивается и даже смеется. Ей нравится этот большой курчавый человек, который так заботлив с ней. Она уже забыла о том, как ее гнали по стадиону.

- Голодная? – заботливо спрашивает отец.
- Меня бабка заругает. Домой надо.
- Наташа, давай дадим девочке что-нибудь с собой поесть. Хоть

яблоко, что ли...

– Пирожок дам. С капустой, – говорит мама, появившись в дверях.

Оля ловит ее взгляд. «Вот видишь! – говорят сияющие мамины глаза. – Я же рассказывала тебе, что на самом деле он очень добрый».

Маня приподнимает край разорванной юбки.

– Лелька, тащи нитку с иглой, – командует отец.

Оля стремглав мчится в комнату. Отец тысячу лет не называл ее Лелькой. Это ее детское имя, и в девочке вдруг оживает давно забытая радость от его возвращения с моря. Он привозил розовую жвачку, из которой можно надуть пузырь размером с кулак, фломастеры, от запаха которых свербило в носу, магнитик на холодильник. Глухую ненависть, ввевшуюся за полтора года жизни в Русме, на несколько секунд вытесняет огромная любовь – новая, юная, вспыхнувшая из пепла старой. От этого Оле хочется выть. Или раздвоиться, и пусть одна Оля ненавидит его, а другая любит. Или поранить себя, разбить колени и перемазаться в грязи, чтобы он смотрел на нее с такой же нежностью, как на Пудру, и разговаривал тем же заботливым тоном.

Но если маленькая Оля Белкина чему-то и научилась, так это держать себя в руках. Выигрывают хладнокровные, как говорит Синекольский. Димка обычно оказывается прав.

Хотя вот с голубем...

Впрочем, сейчас не до голубя. Оля возвращается с маминой шкатулкой для рукоделия. Папа подбирает нитку в цвет Маниной юбки и не слишком умело, но старательно штопает порванную ткань.

Пудра окончательно успокоилась. Она выпрашивает конфеты, хитро косится на Олю и просит, чтобы ее еще раз полили перекисью.

– Что за мальчишки ее обижали? – спрашивает отец.

– Мы не знаем, – врет Оля.

Он с сомнением качает головой.

– Ладно. Давай-ка, девочка, я тебя доведу до дома. Иначе бабушка твоя опять будет с ума сходить. Натаха, садитесь ужинать без меня.

– Да уж дождусь, – с притворным недовольством бормочет мама.

Но Оля видит, как она рада. И сама готова обнять и глупую Пудру, и даже урода Грицевца.

Когда за папой закрывается дверь, мама зовет их обоих за стол.

– Господи, вкусно-то как, – мычит Димка, жуя вторую котлету. – А можно мне добавки?

– Разжиреешь, как Пудра, – шепчет ему Оля. – Кстати! Слушай! А ты

чего это про Гитлера понес?

– Я понес? Ты первая понесла! Я подхватил! Как ты вообще про него вспомнила?

– Да я просто хотела почву выбить из-под ног этого уroda.

– Табуретку ты у него выбила, – говорит Димка. И смеется, вспоминая ошарашенное Женькино лицо. – Расовая гигиена! Ха-ха-ха! Гиена!

Оба хохочут.

– Ладно, пора мне, – солидно говорит Димка. – Сокола моего надо кормить. Тетя Наташа, спасибо за котлеты, очень вкусно было!

– Приходи еще! – откликается мама.

Еще вчера Оля сказала бы, что это приглашение – чистая формальность. Но сегодняшний случай с Пудрой что-то изменил. Это понимают и мама, и Оля, и даже Синекольский.

– Обязательно зайду! – искренне откликается он.

Глава 5

Греция, 2016

1

– Гаврилов был прав, – сказал Бабкин.

Он выглядел даже более измученным, чем Илюшин. Они с Яном успели побеседовать почти со всеми обитателями гостиницы, не считая персонала и пары англичан, ранним утром уехавших на экскурсию.

– Она действительно как сквозь землю провалилась. Если только кто-то из них не врет.

Илюшин рассеянно кивнул.

– Ты слышал, что я сказал? – спросил Бабкин, стараясь подавить нарастающую злость.

Последние три часа он провел в разговорах с людьми, искренне желавшими ему помочь. Это стремление в сочетании с их полной неосведомленностью вылилось в эффект благожелательного роя трутней: никто не способен был принести пыльцу, но гул стоял знатный.

В другое время Сергей проявил бы терпение. Происшествие действительно было из ряда вон выходящим. Неудивительно, что все возбуждены.

К тому же он знал: даже простой любопытствующий может, сам того не подозревая, оказаться прекрасным свидетелем. Люди часто не отдают себе отчета в том, что они видят. Отель небольшой, постояльцев немного, все приглядываются друг к другу... Его работа заключалась в том, чтобы сунуть палочку в бак, где летают почти невидимые полупрозрачные нити сплетен, и вытащить наружу плотный ком сахарной ваты. Факты!

И где они?

Фактов не было.

«Она ни с кем особенно не общалась. Только здоровалась и улыбалась».

«Очень милая женщина с огромным фотоаппаратом – я все время думал, как ей тяжело его таскать».

«Уверена, она просто решила остаться в Греции и сбежала. Здесь такие красивые мужчины! Ваши русские мужья не очень внимательны к женам».

Выслушав двадцать подобных версий, Бабкин начал свирепеть. Все эти доброжелательные люди откусывали по кусочку от его времени и сил, ничего не давая взамен.

Пара новобранных, для которых Ольга делала праздничную фотосессию, улетела две недели назад. Сергей разузнал их номер и позвонил очень удивленным ребятам в Москву, но и те не смогли пролить свет на исчезновение. С Гавриловой они познакомились в социальных сетях. Списались, встретились, понравились друг другу – и забронировали номера в одном отеле.

– Подождите, она должна прислать нам обработанные фотографии! – озабоченно сказала юная жена. – Как же теперь нам быть? Знаете, это очень нехорошо с ее стороны!

Этот рефрен Бабкину уже изрядно надоел. Да, Гаврилова поступила нехорошо. Так же нехорошо, как редакторы, помещающие в журналах кроссворды без ответов на последней странице.

Лучше всего это сформулировала сухопарая немецкая старуха в красной бейсболке.

– Так все-таки бедняжка умерла? – требовательно спросила она у Сергея.

Бабкин ответил, что именно это он и пытается выяснить.

Немка осуждающе покачала головой.

– Знаете, в моем возрасте уже хочется определенности.

– Ян, спроси, что она имеет в виду.

Та устремила на Сергея недовольный взгляд.

– Хотелось бы услышать финал этой истории до того, как я сама отброшу копыта.

Ее слова стали последней каплей. «Устроили, понимаешь, развлечение!» – рычал про себя Бабкин, возвращаясь в номер.

Его ждал еще один удар.

Зайдя в холл, он увидел себя издали в большом зеркале – громадную нелепую фигуру в красных пятнах, выглядевшую так, словно его закидали помидорами. Чертова рубашка!

А теперь и Макар не слушает его отчет.

– Ян, где здесь можно купить одежду? Нужна рубаха.

– Э-э-э... В городе. Два часа езды. У вас нет другой, да?

От сочувствия, выразившегося на лице мальчишки, Бабкину захотелось его придушить.

– Жена чемодан собирала.

Красноречивая ухмылка дала понять, что думает Ян о мужчинах,

которым жены собирают вещи в поездку, и о мужьях, которые доверяют такое ответственное дело женщинам.

– Мне нужно еще раз осмотреть номер Гавриловых, – внезапно сказал Макар. – Ян, ты с нами.

В комнате вопреки заявленному намерению Илюшин не стал ничего искать. Он сразу подошел к окну.

Петр Гаврилов мутным взглядом следил за ним из кресла. Возле его босых ног стояла пустая банка колы, но Бабкин заподозрил, что их клиент все-таки достает спиртное, несмотря на запрет.

– Ян, что это за дом?

– Где?

Илюшин обернулся так резко, что юноша отшатнулся.

– А вот это сейчас был очень плохой вопрос, – сказал Макар, не сводя с него глаз. – Из этого номера виден один-единственный дом. Для начала, других в округе просто нет.

– В нашей деревне сто пятьдесят восемь домов...

– Деревню отсюда не видно, – оборвал его Илюшин. – И ты не можешь об этом не знать. Кто там живет?

– Андреас Димитракис. – Кажется, Ян обиделся. – У него жена и дети. И две козы.

– Кто он такой?

– Рыбак. И еще выращивает на продажу фрукты всякие, овощи, маслины... Как все у нас. Хозяйство ведет, оно у него большое. Роза домом занимается.

– Черная, тощая?

– Вы ее видели?

Яну не удалось скрыть встревоженность.

– Допустим, видел, – медленно сказал Илюшин. – А что?

Парень покачал головой.

– Ян!

– Они странные, – выдавил тот после долгой паузы. – Я у Андреаса рыбу покупаю для кухни. И помидоры. Не знаю... Странные.

Больше Илюшину не удалось ничего добиться.

– А ведь она ради него сюда приехала! – внезапно сообщил Гаврилов гнусавым ноющим голосом. – Ради этой поганой горелой хаты!

– В каком смысле? – изумился Макар.

– На фотке увидела, еще в Москве. На каких-то стоковых своих фотосайтах. Какое, говорит, великолепное уродство! Торчит, говорит, как стервятник на цветущей акации! Поехали, говорит, туда! И бры... бро...

брачующихся своих уговорила на этот дрянной отель, три звезды, гуляй, рванина! Потому что ей вте-мя-ши-лось! – Он постучал согнутым пальцем по лбу.

– Она его фотографировала? – вмешался Сергей. – Почему ты раньше молчал?

Гаврилов широким презрительным жестом отмел не только вопрос, но, кажется, и сам факт существования Бабкина.

– Там забор, – сказал он, обращаясь к Макару. – Ничего не видать. А дом – ну, самый обычный дом, только обгорелый. Лаж! Соображаешь? Кидалово! Ты за ней тащишься в эту проклятую дыру, где даже пожрать нечего... Лишь бы девочка радовалась! А тут – бац, облом! Но ничего, она и без дома нашла себе... развлечений...

– Каких развлечений? – вкрадчиво спросил Илюшин.

Гаврилов запрокинул голову на спинку кресла, отвесил нижнюю челюсть с неровным рядом желтых зубов, и откуда-то из глубины его обмякшей туши вырвался на поверхность звериный храп.

– Слушай, а нам аванс уже перевели, да? – с тоской спросил Бабкин. – Может, вернем?

Илюшин не ответил. Не обращая внимания на спящего Гаврилова, он взял с подоконника бинокль и приложил к глазам.

– Ого!

– Ты чего?

Макар уставился на окуляры:

– Вот это техника...

– Покажи-ка!

Бабкин забрал у него бинокль, подкрутил колесико фокусировки, и расплывчатое черно-синее пятно вдруг раздробилось на неестественно четкие фрагменты и собралось снова, теперь уже в цельную картину.

Сергей восхищенно присвистнул.

Дом, о котором твердил Илюшин, оказался облицован тусклым темно-коричневым камнем с явными пятнами сажи, – похоже, первый этаж когда-то горел и никто не позаботился уничтожить следы пожара. Из плоской крыши торчали арматурные прутья, в углу виднелся объемный бак. Окна были наглухо закрыты ставнями.

– Дай сюда! – потребовал Макар.

Бабкин молча отмахнулся. Дом не показался ему интересным, но завораживала сама возможность молниеносно перенестись из комнаты отеля в чужой быт. Казалось, протяни руку – и дотронешься до забора.

На скамейке сидела пожилая женщина в платке, перед которой стояли

две миски: она зачерпывала что-то из одной и пересыпала в другую. По двору бродила коза; поискав, Сергей нашел и вторую, дремавшую под раскидистым деревом.

– Серега! Отдай!

– Да сейчас, сейчас! Вуайерист хренов...

Он сфокусировался на лице старухи, некоторое время рассматривал его, а потом протянул бинокль Макару.

– Сколько здесь по прямой, как думаешь?

– Километра два, не меньше.

– Нефигово пробивает. Тяжеленный, правда, собака!

– Я говорил, она за птицами охотилась, – укоризненно бубнил сзади Ян. – Искала, где они гнездятся, а потом с камерой забиралась туда. У нее ноги были расцарапаны из-за этого. И синяки.

– Я там кое-что заметил... – Илюшин обшаривал взглядом окрестности. – Нет, отсюда не видно, деревья закрывают.

– А что?

– Какой-то летний домик, похоже. Я сначала решил, что сарай, но потом солнце отразилось от стекла... Скорее всего, окно распахнулось от ветра. Зачем в сарае окно?

Он обернулся к молчавшему Яну:

– Ты что-нибудь знаешь об этом?

Вся болтливость юноши куда-то пропала.

– Не знаю...

– А если подумать?

– Там живет Катерина, – неохотно признал юноша.

– Катерина? Кто это?

– Младшая дочь Андреаса.

Илюшин вспомнил пестрое пятно на склоне вереска и ощущение взгляда, провожавшего его.

– Чем, говоришь, занимается Андреас?..

– Рыбак он, – с тяжелым вздохом сказал Ян, глядя в сторону. – Рыбу мы у него покупаем... И помидоры...

– ...да-да, для кухни отеля.

Илюшин покусал губы, задумчиво рассматривая переводчика. В кресле храпел Гаврилов.

– После обеда наведемся туда еще раз, – решил он в конце концов.

Юноша слабо запротестовал: из его бормотания, в котором внезапно сильно прорезался акцент, Бабкин уловил, что им не откроют, что семья Димитракиса неразговорчива и смысла в их визите никакого нет. Илюшин,

кажется, не слушал.

– Разбуди-ка нашего клиента, – попросил он Сергея. – Только бережно!

Бабкин легонько встряхнул спящего мужчину. Храп застрял у того в глотке, и некоторое время Гаврилов бессильно булькал, подергиваясь и вращая глазами. Выглядело это жутковато.

– Проснулся? – нежно спросил Сергей.

– Чего тебе?

– Не мне. Ему.

Илюшин присел на корточки и протянул бинокль:

– Когда вы вернулись в номер после купания, где он лежал?

– На подоконнике, – сказал Петр, помолчав.

Вопрос Илюшина вонзался крючком и вытаскивал Гаврилова из теплого забытья на каменистый берег реальности, где он задыхался и желал лишь одного: вернуться обратно. Все эти чужие хари, что-то требовавшие от него, в эту минуту были ему ненавистны; он забыл, сколько сил потратил на то, чтобы добиться их присутствия, и даже забыл, для чего они здесь.

Ах да – он же им платит! Платит, чтобы они нашли Ольгу.

– На подоконнике, – повторил Гаврилов. – Я ничего не трогал. Здесь будет музей ее памяти, ясно?

– Ясно, – кивнул Илюшин. – А теперь скажите мне, Петр Олегович: ваша жена умеет ездить на велосипеде?

2

Если бы Ян мог сбежать, он непременно воспользовался бы возможностью. Гаврилов пообещал ему хорошие деньги, очень хорошие. Но это было до того, как Макар Илюшин решил наведаться к Димитракису.

Сейчас, трясясь на заднем сиденье раздолбанного илиодоровского рыдвана, который хитрый менеджер вручил сыщикам под видом прокатной машины, Ян думал, что деньги трупу ни к чему.

Здоровяк, кажется, что-то заподозрил. Он вел машину, но время от времени юноша ловил на себе в зеркале его пристальный взгляд. Не глаза, а терка: каждый раз с Яна будто тонкий слой кожи состругивали.

– Сначала заедем в деревню, – сказал Макар.

Ян как мог постарался растянуть их пребывание в Дарсосе. Они зашли к Пармениону, посидели у Стефана, выслушали Фоку. Панагиота завернула им с собой по куску только что выпеченной, еще теплой спанакопиты.

Толстуха Кики выставила на стол свою фирменную фасоладу, густую и горячую, точно кровь. Всеобщее сердечное радушие произвело тот эффект, на который рассчитывал юноша: напряжение стало спадать.

Нет, он не надеялся всерьез отвлечь своих спутников от цели поездки, – лишь отсрочить неизбежное. А там – кто знает: вдруг они сами передумают?

Цирцея превратила команду Одиссея в свиней. Бабушка Яна, рассказывая ему историю о владычице острова, всегда добавляла, что это образец поведения для любого гостеприимного хозяина. Гость должен лежать объевшийся и похрюкивать от наслаждения.

Было бы проще, если бы вдова Кики не улыбалась так этому огромному русскому, не покачивала бы бесстыдно коровьими своими бедрами, словно она не фасоладу несет, а танцует у шеста, и не выставляла бы так откровенно свою грудь. Хотя грудь у Кики еще ничего. Ян сам загляделся на нее и забыл перевести вопрос Макара.

– Спроси, пожалуйста, видела ли она Гаврилова или его жену.

Илюшин протянул планшет.

Кики неторопливо вытерла руки о фартук и надела очки. Нет, она не видела мужчину, а женщина была здесь, да. Пару раз. Фотографировала собак, двери и этих старых бездельников, с утра до вечера попивающих кофе, Пармениона с Одиссеем и Гомером.

– Это настоящие имена? – не поверил Бабкин.

Ян удивленно взглянул на него.

– А Телемаха здесь случайно нет? – неуклюже пошутил Сергей.

– Телемах в прошлом году переехал в Калликратию.

– Бросил Ариадну! – всплеснула руками Кики. – Бедная девочка от горя поседела как луна.

– А сколько ей? Может быть, еще выйдет замуж, – утешил Макар.

– Семьдесят шесть.

– Вы рассказали полицейским, что видели Ольгу? – вмешался Сергей.

Конечно, рассказали. Если гости хотят, они могут все вместе отправиться к Гомеру и еще раз выслушать его, хотя, видит бог, с большей пользой можно прижать ухо к раковине.

Они все-таки пошли к старику. За ними увязались две собаки, пятилетняя Лула, которую привезли в гости к тетке, и Галактион, хотя Ян считал, что тому с его слепотой лучше держать свое любопытство в узде.

Их небольшая процессия, собирая по пути новых зрителей, добралась до дома Гомера, и там были торжественно, будто слова клятвы, при всех повторены подробности встречи старых греков с русской туристкой.

– Она сказала, что никогда не пила такого крепкого кофе и не видела таких красивых мужчин, как мы!

– Вообще-то эти трое не знают ни слова по-английски, – вполголоса уточнил Ян.

Илюшин засмеялся.

Бабкин посмотрел на него и хотел сказать колкость, но вдруг понял, что ему тоже смешно. Вся усталость испарилась. Этот час был таким же бесплодным, как и утренние, но что-то было то ли в воздухе, то ли в этих людях, жизнелюбивых и открытых, что не позволяло считать его проведенным впустую.

Сергей погладил подвернувшуюся под руку дворняжку.

– Здесь в последний год случались происшествия кроме исчезновения Гавриловой?

Когда Ян перевел его вопрос, поднялся шум. Да, у Панайотиса украли насос, но, во-первых, всем известно, что это сделал Одиссей, а во-вторых, Панайотис сам проиграл его в карты, а после отказывался исполнять уговор. Недавно достроили новую церковь, да благословит бог Андреаса, но священник в соседней деревне подрался с прихожанами и два месяца будет носить повязку на челюсти, а с повязкой какая служба! Еще мальчишка Адамиди угнал в городе мопед, но это было пару лет назад. С тех пор он, кажется, уехал в Италию... нет, почему на мопеде, без мопеда... хотя от семейки Адамиди всего можно ожидать. И конечно, цены безбожно растут, а что творится в Афинах и на севере, вы слышали?..

При упоминании столицы поднялся такой гул, словно вокруг Илюшина и Бабкина назревало восстание.

– Макар, нам пора к Димитракису, – сказал Сергей.

От этих слов, брошенных, точно камень в пруд, по толпе от него прокатилась волна тишины. Сначала перестала смеяться Кики, за ней замолчал Гомер. Малышку Лулу подхватили на руки. Одна из старух быстро осенила девочку крестом.

Бабкин огляделся. Ему показалось, что лица вокруг него захлопываются, точно створки мидий.

– Что происходит? – в тишине спросил Макар.

Дворняжка гавкнула. Никто даже не улыбнулся.

– Ян, переведи мой вопрос, – спокойно попросил Илюшин.

Юноша сказал несколько слов по-гречески. Ему не ответили. Кто-то молча махнул рукой, показывая, что пора домой. Толстуха Кики, подобрав юбки, заспешила к себе. Старики, надвинув шляпы, вновь расселись в тени и задремали. Минуту спустя на маленькой площади не осталось никого,

кроме Сергея, Макара и Яна, безразлично смотрящего куда-то в сторону моря.

– Пойдем, – сказал наконец Илюшин.

Возле машины Бабкин обернулся. Деревушка опустела. Только под платаном ходила ощипанная курица да дворняжка свернулась под стулом старого Гомера.

Пока ехали по желтой дороге, в машине висело молчание.

Прервал его Илюшин.

– ...а если все-таки... – начал он.

Но тут Бабкин ударил по тормозам, и древняя колымага, клюнув носом, встала, подняв тучу пыли и каких-то десяти метров не доехав до фигуры, выскочившей из кустов.

– Твою ж мать! – рявкнул Сергей.

Они выбрались из машины.

Девушка пошла им навстречу, широко раскинув руки. Она облапила Яна, который молча стоял, не сопротивляясь, расцеловала ошеломленного Бабкина и крепко стиснула Макара, обдав запахом потного разгоряченного тела.

– Ясу! Ясу! Ясу!

– Ясу, Мина, – хмуро сказал Ян. И добавил, обернувшись к Илюшину: – Вы хотели познакомиться с семьей Димитракиса?

Рыхлое тело выпирало из голубого сарафана во все стороны, пучилось, словно дрожжевое тесто; коротенькие пальцы с обкусанными ногтями крепко сжимали детскую сумочку с розовым помпоном – несомненно, одно из сокровищ этого странного существа. Девушка была не просто толстой – полнота ее выглядела непристойной и вызывающей, точно сочащийся жиром мясной окорок на столе вегетарианца. Тонкий хлопок сарафана натягивался при каждом вдохе, как если бы под ним наполнялся воздухом шар дирижабля. Казалось, он может лопнуть в любую секунду, и тогда эти телеса, ничем не сдерживаемые, хлынут наружу и затопят все вокруг.

Она напоминала бы богиню чревоугодия, если бы не явственные признаки умственной отсталости на оплывшем лице.

– Сколько ей лет? – спросил Макар.

– Двадцать.

– Мы можем с ней поговорить?

Ян молча сделал жест, означавший «попробуйте».

– Спроси ее, не встречала ли она эту женщину.

При виде фотографии Ольги девушка оживилась еще сильнее. Хлопая

себя по ляжкам, она визгливо и отрывисто заговорила – Илюшин улавливал только повторяющееся имя «Катерина».

– Что это значит?

– «Спросите у Катерины», – пожал плечами Ян. – Это ее сестра.

– Тогда давай отыщем Катерину.

– Бесплезно.

– Почему?

– Бесплезно! – с нажимом повторил юноша. – Мина, перестань!

Мина тыкала пальцем ему в рот и смеялась. От окрика она надулась и гневно хлопнула себя по бедру. Нога ее всколыхнулась, на коже остался алый след растопыренной пятерни. Скривившись от боли, Мина хлопнула снова.

– Хватит! – не выдержал Бабкин.

Она взглянула, как ему показалось, с угрозой. Взмахнула рукой, в которой была зажата сумочка, и внезапно двинулась на него.

Зашуршали кусты, и на дорогу выбрался еще один человек.

Завидев его, Мина встала как вкопанная.

– Катерина! – с явным облегчением воскликнул Ян.

Появившаяся девушка отличалась от Мины, как птица отличается от лягушки. Она была тонкая, узкоплечая и словно бы устремленная вверх. Шаги ее казались невесомыми, и если бы Бабкин увидел, что на песке за ней не остается следов, он не слишком бы удивился. От пестрой рубашки с небрежно закатанными рукавами пахло скипидаром. Ее нельзя было назвать красивой – слишком острыми были черты худого лица, словно создатель, набрасывая ее эскиз, постоянно прибегал к помощи линейки-треугольника, – но если Мина казалась морским чудовищем, неуклюжим и громоздким на суше, то Катерина выглядела диким духом окрестных лесов.

На вид ей нельзя было дать больше семнадцати.

Взгляд синих глаз обежал сыщиков и остановился на Яне.

– Калиспера! – обрадованно сказал Илюшин.

Девушка молча взяла Мину за руку и потащила за собой. Она была втрое меньше своей сестры, однако толстуха пошла без возражений.

– Эй! Подожди!

Илюшин бросился за ними. Ян не двинулся с места.

– Ты ему не поможешь? – спросил Сергей.

– Бесплезно, – тоном безграничного терпения повторил юноша.

Макар догнал девушек, быстро удалявшихся прочь, но едва он поравнялся с ними, обе свернули с дороги. Катерина стала взбираться вверх по холму. Мина карабкалась за ней, и они слышали, как трещат и

ломаются ветки под ее тяжестью.

Илюшин постоял, глядя им вслед, и вернулся назад.

– Какого черта... – звенящим от ярости голосом начал он. – Ян, что происходит? Если ты не хочешь работать, отправляйся обратно в отель, я найду переводчика в городе. Пока от тебя больше вреда, чем пользы.

– Она немая.

– Что?

– Она немая, – повторил парень.

Илюшин осекся.

– Это и есть две дочери Димитракиса? – уточнил он после долгого молчания. – Одна слабоумная, вторая не говорит?

– Да.

– Волшебнo, – сказал Макар и ушел в тень оливы.

Ян подошел, потоптался рядом.

– А раньше нельзя было предупредить? – спросил Илюшин, глядя на него снизу вверх.

– Это же Димитракисы.

– И что?

– Мы о них не очень... нам о них не всегда... мы стараемся о них не говорить.

– Ты удивишься, но я заметил. Может, теперь все-таки объяснишь, в чем тут дело?

– Вы будете смеяться.

– Господи боже мой! Нет, не будем!

– Но обещать не можем, – вставил Бабкин и сел рядом с напарником.

– Он говорит неправду, Ян. Рассказывай уже, ради всего пантеона ваших греческих богов!

Сергей хотел снова пошутить, но парнишка выглядел до того встревоженным и несчастным, что он сдержался.

– На них проклятие, – наконец выдал Ян.

И запинаясь, еле-еле, так что из него приходилось вытягивать по одному слову и переспрашивать, рассказал, что дом стоял здесь с незапамятных времен, на отшибе, а все потому, что из деревни семью изгнали много лет назад.

– Старуха избавляла женщин от нежеланных младенцев, – сказал Ян. – Кто-то говорит, что это благо, а кто-то – что грех. Как бы там ни было, ей самой было лучше жить подальше от людских ушей и глаз. Еще она бралась исцелять мелкие болячки вроде чирьев или бородавок и даже заговаривала ноющие зубы.

Но ей хотелось наращивать свою силу. Она занялась делами, о которых даже при свете дня говорить жутковато. Нет, она не насылала порчу на скот и не выкапывала покойников – во всяком случае, за руку ее никто не поймал. Но в одной семье внезапно померла старая мать, от которой годами ждали и не могли дожждаться наследства, а в другой – богатый родственник свалился в подвал и сломал шею. Она начинала со смертей нерожденных, а закончила тем, что стала избавлять от жизни тех, кто вплотную подошел к ее завершению.

Но все же чуть раньше срока. Чуть раньше.

Стали поговаривать, что с людьми, которые приходят к ней, потом случаются странные вещи. Даже если ты всего лишь хотел вылечить сыпь или избавиться от вросшего ногтя. Как будто сотворенное ею зло понемногу стало возвращаться обратно, только вот молния ударяла не в одну точку, а делилась на всех, кто оказался поблизости.

А потом в ее дверь постучалась женщина, у которой было слишком много детей.

– Как это слово? – щелкнул пальцами Ян. – Когда чужие дети...

– Мачеха?

– Да, оно. Но только она была не мачеха. Родная мать.

Была ли она больна или же просто в ее сердце было слишком мало человеческого – кто знает. Детей было пятеро, и от младших, близнецов, она захотела избавиться.

Неделю спустя женщина похоронила обоих. Они сгорели от короткой сильной болезни, как она и просила. Но следом за ними заболели остальные, включая старшего, ее любимца.

– Эпидемия, – пожал плечами Илюшин.

– Больше в деревне никто не умер, – возразил Ян. – Нет, это из-за ведьмы.

Похоронив всех своих детей, женщина впала в безумие и прокляла старуху.

– У нас это называют проклятием убийцы. Невинные не умеют проклинать. Только те, кто сам проклят.

На следующую ночь жилище ведьмы вспыхнуло. Она сторела заживо, и вместе с ней ее дочери – все, кроме одной, которая исчезла на несколько лет. Много позже она вернулась и отстроила дом заново, а после родила своих дочерей, а те – своих собственных. Но дети появлялись на свет больными, и из поколения в поколение все в деревне видели: проклятие никуда не исчезло.

– Она может забрать чужое здоровье и жизнь, – убежденно сказал Ян.

– Кто?

– Роза. Их мать. Ей нельзя попадаться на глаза.

Макар вспомнил узкое лицо, темное и бесстрастное, как у идола.

– Она может сглазить, только взглянув на человека!

– А ее муж?

Юноша покачал головой:

– Он вообще не местный. На них всегда женятся чужаки. Среди наших таких храбрых нет. Мать говорит, Роза двадцать лет назад была красавица. Не знаю... По-моему, она всегда была старуха... Их дом пытались поджечь много лет назад... Я тогда был маленький, ничего не помню.

– Это с тех времен он черный?

– Да. Андреас нарочно его не отмывает, чтобы всем было стыдно. Катерина чуть не сгорела. Но ее мать – ведьма, она ее спасла. С тех пор не колдует. Может, боится, а может, всю силу потратила. Но все равно от нее надо держаться подальше!

Юноша понизил голос и непроизвольно обернулся.

Бабкину стало смешно.

– Слушай, дружище, а ты нас не дурачишь? Ей-богу, для местных баек это слишком плохо сляпано. Ведьмы, младенцы, проклятие... К тому же ты сам рассказывал, что покупаешь рыбу у этого... Как его? Андреаса.

– Рыба – это другое. Она морем очищена.

– А помидоры?

Ян запнулся.

«То ли наивный, то ли нас держит за идиотов», – решил Сергей.

– Поэтому в деревне о них никто не стал говорить?

– Да. Все боятся проклятия.

Макар покачал головой. Он не понимал, как относиться ко всей этой истории. Есть места, которые сами подталкивают людей к сочинению сказок. Но здесь, в жаркой сонной тишине, пропитанной запахами терпких трав? Он готов был услышать эхо легенд о богах, неузнанными бродящих среди людей, о козлоногих сатирах и нимфах, о наследниках героев и потомках древних химер, что бьются друг с другом, пока время течет мимо них, разбиваясь о миф, словно море о скалы, – но ведьма не вписывалась в этот конструкт.

Мысли его вернулись к Ольге Гавриловой и двум девушкам, что встретились им по дороге на мыс.

Несколько минут Илюшин напряженно размышлял.

– До Димитракиса надо доехать... – подал голос Сергей.

– Нет. – Илюшин встал и отряхнул брюки. – Идем обратно. Вы по

правой стороне дороги, я по левой, и очень внимательно рассматриваем обочину.

Бабкин с Яном изумленно воззрились на него.

– Что значит – обратно?

– Это значит – вон туда! – Илюшин махнул рукой.

– Зачем?

Этот вопрос Макар оставил без ответа. Бабкин с Яном переглянулись.

– Эй, эй! – позвал Сергей. – Мы что, от баек про ведьм плавно перешли к охоте на них?

– Давайте, пока солнце за облаком!

С этими словами Илюшин бодрым шагом двинулся прочь, высматривая что-то в кустах. Казалось, рассказ Яна придал ему сил.

– А что ищем-то? – вслед ему крикнул Бабкин.

– Узнаешь, когда найдешь.

– Похоже, что труп, – пробормотал Сергей. – По такой жаре можно не глазами смотреть, а носом принюхиваться. Эй, эй, парень, ты чего! – Он подхватил начавшего заваливаться вбок Яна. – Шучу! А ты уже в обморок намылился...

– Ну и шутки у вас!

– Не хуже, чем твои истории...

Оба припустили за Макаром, недоумевая и злясь, однако на все их расспросы тот молча тыкал пальцем в заросли: смотрите, мол, внимательнее. От расправы Бабкина его спасло лишь то, что солнце действительно плотно затянула флотилия облаков, набежавших с севера, и одновременно поднялся сильный ветер.

Ветер-то им и помог. Он прошелся широким гребнем по зарослям высокой густой травы, и среди расчесанных на прямой пробор зеленых волн мелькнули серебристые спицы велосипедного колеса.

– Как ты догадался? – спросил Сергей.

Они сняли отпечатки с руля, сравнили с теми, что в избытке нашлись на камере и бинокле, и получили ответ, которого Илюшин и ожидал.

– Пытался представить, что могло заставить ее выскочить в одной пижаме и тапочках из комнаты. Из номера виден дом Димитракиса. Если ее разбудил уход мужа, она встала, подошла к окну, взяла бинокль, как делала много раз... И что-то увидела...

– После чего рванула на велосипеде одна?
Сергей с сомнением почесал переносицу.
– Получается, что так.
– Не позвала мужа, не разбудила персонал?
– Меня это тоже удивляет, – признал Макар. – И еще очень хотелось бы знать, колесо у велосипеда лопнуло на пути *туда* или *обратно*.
– Пора связываться с местной полицией.
– Зачем? Для отпечатков у них найдется логичное объяснение, и вряд ли на их основании выдадут разрешение на обыск дома. Но что-то не так с этим Димитракисом...
– Только не говори мне про ведьму! Мальчишка – дурачок.
– А деревенские – тоже дураки?
Бабкин вспомнил всеобщее молчание, воцарившееся при одном упоминании семьи рыбака, и осекся.
– Простые люди, суеверные, – не совсем убежденно сказал он.
– Это безусловно. И простые, и суеверные. Но понимаешь, суеверие ведь должно на чем-то стоять. Не может быть такого, чтобы с пожара прошло сто лет, а от дома до сих пор шарахаются. Должно быть что-то еще...
Следующий час они просматривали новости.
«Жестокое столкновение в центре Афин между болельщиками и пакистанцами».
«Врач в больнице Салоников задержан за взятку».
«Пенсионеры протестуют против сокращения пенсий и ограничения доступа к здравоохранению».
«Неконтролируемый поток беженцев: полиция расписалась в беспомощности».
«Греческий зоопарк обвиняется в жестоком обращении с дельфинами».
«Жертвы кризиса получают три миллиона долларов».
Затем – криминальная хроника. Британская туристка утонула на Крите; частный самолет разбился в горах на северо-востоке; на острове Лесбос произошло землетрясение, трое погибших; беженцы из Сирии были задержаны у берегов Хиоса и оказали сопротивление полиции.
– Последняя новость: «Польский жонглер покусал греческого полицейского», – зачитал Илюшин.
– Смеешься?
– Нет. Сам посмотри.
Вместо того чтобы посмотреть на экран, Бабкин взглянул в окно.

Заходящее солнце окрашивало море в нежный розовый оттенок, словно в нем отражались невидимые алые паруса корабля Артура Грея. Он некстати вспомнил, что Маша очень любит эту книгу, и эта мысль потянула за собой воспоминание о рубашке, про которую он за последние часы успел забыть. Раздражение снова всколыхнулось в нем, точно ил, поднявшийся со дна.

– Хорошо, – сердито начал он. – У нас есть версия. Предположим, Гаврилова стала свидетельницей преступления, попыталась вмешаться, и ее убили или просто вырубали. Лежит она, связанная, в подвале этого Андреаса или, при плохом раскладе, в его же огороде. Как ты собираешься решить это без полиции?

– Я собираюсь... – начал Макар.

В дверь постучали.

Некрасивая горничная лет двадцати принужденно улыбнулась, обнажив плохие зубы, и обвела комнату взглядом.

– Ян?

В туалете зашумела вода, и юноша показался на пороге.

– Дорис! Извините, Макар, это за мной! Мне пора идти.

– Постой минуту, – попросил Илюшин. – Хочу у нее кое-что спросить.

Она знает что-нибудь о доме Димитракиса?

В точности как и жители деревни, девушка при упоминании фамилии рыбака перестала улыбаться, и лицо ее окаменело.

– Скажи ей, мы думаем, это он виноват в исчезновении русской. Он или его семья.

Бабкин был уверен, что эти слова испугают бедняжку еще сильнее. Но стоило Яну перевести фразу, как куцые бровки полезли вверх. Щеки вспыхнули, и горничная яростно затараторила, размахивая руками.

– Она говорит, Андреас здесь ни при чем, и чтобы вы не смели возводить поклеп на местных жителей, они все хорошие люди, даже те, за которыми водятся разные грешки! – Ян едва успевал переводить. – Полиция не стала арестовывать русского, потому что все боятся потерять туристов, но люди знают, кто на самом деле виноват!

– Что знают? – не выдержал Сергей.

– Человек не будет напиваться, если для этого нет причин! Он не будет глушить свою совесть! Ему место в тюрьме, и если вы увезете его с собой, все вздохнут свободно. Забирайте его в свою Россию, пока он еще кого-нибудь не убил!

– Стой-стой-стой! – Илюшин выставил перед собой ладонь. – Дорис, о чем ты говоришь?

Новый поток слов.

– Она рассказывала обо всем полиции, но ее никто не стал слушать. Взятчники и воры, вот они кто, и наверняка он подкупил их так же, как и всех остальных.

– Кого подкупил?

– Она, наверное, про то, как Гаврилов деньгами швырялся, – предположил Сергей.

– С чего она взяла, что это он расправился с Ольгой?

Девушка бросила короткую фразу, прозвучавшую как гневный птичий выкрик:

– Он ее бил!

– Что?

– Подождите, Макар, я переспрошу...

Ян с горничной быстро заговорили, перебивая друг друга. Со стороны их диалог выглядел как отчаянный спор, но когда Дорис замолчала, юноша утешающе положил руку ей на плечо. Горничная что-то прошипела ему в лицо, и он смущенно отодвинулся.

– Она утверждает, что Гавриловы постоянно ссорились. Она слышала, как они кричат друг на друга, а один раз он ударил жену прямо в коридоре отеля. Они возвращались с ужина, и он дал ей оплеуху. Это было в самом начале отдыха. И такое случалось не один раз и не два. Когда Дорис заходила, чтобы поменять белье, женщина лежала на кровати и плакала, а руки у нее были в синяках.

Ян перевел взгляд на Илюшина, и глаза его расширились.

– Слушайте, это правда! У нее все время были синяки! Я думал, это из-за того, что она лазит по кустам...

Дорис выпалила что-то еще.

– Говорит, он наказывал ее за обычный смех. За смех!

– А отдыхающие почему об этом ничего не знали? – не выдержал Бабкин.

Дорис пожала плечами. Губы ее презрительно скривились, и еще до того, как Ян перевел ее слова, Сергей понял смысл ответа.

– Потому что мы прислуга. Нас можно не стесняться.

– Спроси, сообщала ли она все это полиции.

О да, выразительно кивнула Дорис, она сообщала об этом каждому, кто готов слушать. Полиция – продажные твари! Никто не защитит женщин, кроме них самих!

– Есть кто-нибудь еще, кто может подтвердить ее слова?

Еще как минимум одна девушка, убиравшая в номере Гавриловых.

– Хорошо, – сказал наконец Макар. – Переведи ей вот что. Мы частные

сыщики, и Петр Гаврилов нанял нас, чтобы мы приехали сюда для расследования. Он оплатил перелет из Москвы, проживание и наш гонорар, и поверь, это не самая маленькая сумма даже для довольно состоятельного человека. Давай предположим, будто он и в самом деле убил свою жену. Но тогда зачем ему мы?

Если Илюшин рассчитывал смутить Дорис этим вопросом, он просчитался. В глазах ее мелькнуло мрачное удовлетворение человека, знающего ответ на вопрос прежде, чем тот прозвучал.

– Потому что он забыл, что сотворил это своими собственными руками, – отчеканила она. – Он залил в себя столько спиртного, что память утонула и теперь лежит на дне, а над ней плещется виски! Поэтому он и не трезвеет! Боится, что истина покажется наружу, как отмель во время отлива. Он просто прикидывается, чтобы не сойти с ума. Но если вы посмотрите ему в глаза, вы все увидите!

– Если я посмотрю ему в глаза, я увижу ретинопатию, – сказал Макар. – Нет, Ян, этого ей переводить не надо.

Катерина

Я помню день, когда родилась. Меня убеждали, что такого не может быть. Но откуда же взялся свет, который обрушился со всех сторон и ослепил меня так, что я кричала от страха, пока меня не приложили к груди моей матери?

Помню, как впервые увидела море. Андреас вынес меня на руках. Море было зеленое и синее, словно траву полили небом. От него я вся стала радостью и счастьем. Я гукала и подпрыгивала, а отец смеялся. «Смотри, – сказал он кому-то, – она не такая трусиха, как ее сестра».

Мне было полгода.

Помню, как Мина рассердилась. Я сидела на качелях, а она принялась сталкивать меня, чтобы покачаться самой. Я вцепилась в веревки, и тогда Мина размахнулась и вlepила мне оплеуху – чего-чего, а силы у сестры всегда хватало.

От пощечины я свалилась назад – только ноги торчали вверх, как у курицы из кастрюли с бульоном. Мир перевернулся. В затылок ударило что-то твердое, а в глаза упало небо, и я замерла, рассматривая его. Прежде я всегда брякалась на живот. Оказалось, что если упасть на спину, падение может стать даром.

Из дома выбежали родители. Мать подхватила меня, стала ощупывать

и кричать на сестру. Отец – тогда я еще называла его отцом, а не Андреасом – велел ей заткнуться. «Я сам ее накажу», – сказал он и увел Мину в дом.

Мне было три.

Лала, моя дикая бабушка, рассказывала мне страшные сказки. Потом она придумала их записывать. У нее был удивительный почерк – четкий, и все буквы с прямыми углами, увесистые и понятные, точно кирпичи. Я заставляла ее тысячу раз читать мне сказку о старике, который унес одну сестру в ледяное подземелье, а вторую наградил шубой и серебром. Я жалела, что у нас нет такого старика: пусть бы забрал Мину! Раз за разом лала читала, а я не сводила глаз со страницы с буквами, и однажды они все до единой сложились в слова, как будто я вспомнила то, что забыла прежде.

Лала хотела, чтобы мы сделали настоящую книгу. Книгу со сказками. Сама она не сумела бы изобразить даже червяка. К тому же у нее тряслись ладони. Стоило ей взять ручку и начать писать, пляска морщинистых пальцев прекращалась. Однако иллюстрации... нет, об этом смешно было и подумать.

«Ты будешь рисовать», – сказала лала.

У меня было восемь карандашей. Я изобразила снежного волшебника, и большую толстую дочку-злюку, и сундук с золотом. Это так захватило меня, что я не заметила, как пристально лала смотрит на меня.

Когда я закончила, она долго разглядывала мой рисунок.

Затем велела привести к ней моего отца.

В то время Андреас уже соорудил для нее отдельное жилище. В нашем доме на всех не хватало места. К тому же лала громко разговаривала по ночам, мешая спать, и пускала ветры – Мина валилась на пол от хохота и начинала подражать ей.

Не знаю, о чем она говорила с Андреасом. Но из следующей своей поездки в город он привез кисти и краски – гуашь, две большие коробки.

Первым делом я обмакнула палец в желтую баночку и облизала. Потом отплевывалась и полоскала рот под старухин хохот.

Затем нарисовала море. Оно получилось похожим на разлитое вино. Мне все равно понравилось. Да что там, я была в восторге! Не знаю, понимаете ли вы: я создала свое море, свое собственное – из предметов, на первый взгляд мало годившихся для этого. Это было волшебство: из маленького пузырька краски родились огромные волны.

Лала вlepила мне подзатыльник.

– Ты не закончила нашу книгу, – сказала она и порвала кусок картона с моим морем.

У меня зубы стукнули так, что отдалось в ушах. Но я не заплакала. Я

никогда не плакала.

Я уставилась на старуху, прямо в ее крошечные свирепые кабаньи глазки, и сказала, что буду рисовать то, что мне хочется.

И взялась за новое море.

Ух, как она разозлилась! Дождалась, когда я закончу, а затем порвала и второй лист.

Я молча взяла третий.

Что долго рассказывать? В тот день мы извели все краски, которые привез отец. Синий и зеленый быстро подошли к концу, и пришлось воспользоваться красным, а потом желтым и черным... Обрывки все копились и копились, мы со старухой молчали и только сопели, не глядя друг на друга, – я, бесконечно малюющая море, и она, ожидающая последнего мазка, чтобы порвать картину на клочки.

Коробку с карандашами старуха припрятала. Баночки с гуашью и акварелью пустели на глазах. Она ждала, когда у меня все закончится и я начну клянуть карандаши, чтобы заключить со мной договор: сначала иллюстрации, потом море. Лала была недобрая и капризная, как ребенок, но по-своему честная.

Когда я выскребла остатки со дна последней баночки, она, издеваясь, придвинула ко мне чистый лист бумаги. Краски больше не было.

На тарелке лежали яблоки и нож, которым старуха резала их на дольки. Я взяла нож и с усилием провела лезвием по руке, чуть ниже локтя, сверху вниз.

Разрез получился небольшой. Я обмакнула кисточку в выступившую кровь и принялась молча выводить волны.

Больно! И кровь подходит для рисования куда хуже гуаши. Капли стекали на юбку, я подумала, что мать оторвет мне голову за испачканный подол. Но что такое боль по сравнению со стуком коробки с карандашами, когда старуха шмякнула ее передо мной на стол и пробормотала: «Чокнутая!»

Могу поклясться, в ее голосе звучало одобрение.

Я победила.

Мне было семь лет.

С тех пор я много раз слышала в свой адрес: «Чокнутая!» Одни произносили это с ненавистью, другие со страхом. Наш дом всегда был окружен дурной славой, и когда дочь Димитракиса появилась в школе, многим хотелось потыкать меня палочкой – проверить, смогу ли я насыпать на них бешеных собак, или заставлять покойников выползать из могил, чтобы прижимались по ночам к окнам моих обидчиков и манили за собой,

или делать прочие вещи – ну, знаете, о которых дети рассказывают друг другу в темноте, чтобы посильнее испугаться.

К тому же они видели Мину. Моя сестра носилась за ними с проклятиями, стоило кому-то из детей появиться возле нашего дома. Еще она любила сбежать в деревню и приставать там к мужчинам. Она садилась к ним на колени, обхватывала их руками, клала голову им на грудь. Все ждали, не буду ли я выкидывать что-нибудь подобное.

Но я была нормальной. Так все считали до того случая со свадьбой Георгия и Лизы.

Я складываю вещи в рюкзак и выхожу. Андреаса не видно: он еще не вернулся с рыбалки. Но отец может появиться в любую минуту.

Мой путь все равно лежит по утоптанной тропе к дому. Козы приветствуют меня громким блеянием. Их лобастые головы покачиваются, по загривкам стекает шерсть, как седая вода. У коз глаза с горизонтальным зрачком, точно прорезь в пуговице. Я чешу им носы, и они косятся на меня: что ты задумала, младшая дочь Андреаса Димитракиса?

После моей выходки они мне не доверяют. Ведь это я убила обоих козлят.

Отец обожает Луну и Мару. Только и твердит, что подкопит денег и купит еще троих, а кроме того бесхозный участок земли, на котором можно устроить пастбище. На днях я видела, как он листает на крыльце газету и что-то черкает в ней ручкой. Когда отец ушел, я утащила страницу и внимательно изучила его пометки.

Он обводил объявления о продаже коз.

Это может значить лишь одно: у него достаточно денег, чтобы приобрести животных и землю.

Я захожу домой и натыкаюсь на Мину.

– Чего явилась?

Показываю на рот.

– Ты много ешь, – осуждающе говорит сестра. – Мы тебя не прокормим!

Я едва удерживаюсь от смешка.

Мать никогда не давала мне вдоволь еды. Мои руки и ноги напоминали лапки богомола. Мне позволялось есть рыбу и овощи, но боже упаси попробовать лазанью или питу с сыром. За это мать стегала меня прутом ниже спины, тайком, чтобы не заметил отец, – знала, что не стану жаловаться.

Я привыкла есть мало. Андреас злился – люди твердили, что его

младшая дочь чахоточный заморыш – и однажды влил в меня тарелку мясного супа, жирного, как свиная нога.

Меня стошнило ему на колени, едва я проглотила последнюю ложку.

Он не отступался. Пытался взять меня то лаской, то измором. Твердил: «Посмотри на сестру, как она хорошо кушает, разве ты не хочешь вести себя так же?» О нет! Я ни на кого из них не хотела быть похожей.

К тому же воспоминание о следах от прута на моих ягодицах заставляло быть осмотрительной.

Андреас сдался первым.

Следующего своего знакомого, заметившего вслух, что я чрезмерно тоща, он повалил на землю и прижал своей огромной лапой за горло. На что он намекает, спросил отец. На то, что Андреас жалеет еды для родной дочери?

После этого никто не задавал ему лишних вопросов и не отпускал замечаний насчет моего телосложения.

Я сую в сумку фрукты и хлеб. Взгляд Мины прожигает дыру у меня в лопатках. Нужно избавиться от сестры, иначе у меня ничего не получится.

За дверцей холодильника – окорока, колбасы и пахучий сыр в зеленых прожилках укропа. Мать встает в пять утра, готовит не покладая рук, а затем отдраивает комнаты, и снова готовит, и помогает Андреасу в огороде... Весь дом держится на ней.

Пару лет назад ее свалил какой-то свирепый вирус. Неделю мать горела в бреду. Я с ужасом смотрела на градусник, который отец встряхивал с яростью, словно мог вместе с ним сбросить страшного присосавшегося клеща – ее болезнь. Всю неделю он провел рядом с женой, меняя ей белье, бесконечно заваривая чай на травах, обтирая влажной тряпкой ее пышущее жаром тело. Мать была похожа на чурку, вытащенную из пламени, – заостренная, черная, готовая полыхнуть огнем, который сожжет ее до углей, до пепла.

Андреас отвлекался лишь на коз и в конце концов пустил их в дом – они лежали рядом, как две большие собаки, стерегущие покой хозяина.

За эту неделю дом пришел в полное запустение. Я старалась как могла, и Мина помогала мне. Но там, где у матери был порядок, у нас сохранялась лишь его видимость. Видит бог, мы пытались. Мина хотела заслужить похвалу отца, я – убересть мать от горького разочарования, когда она придет в себя. И потом, ей ведь предстояло привести все в прежнее состояние. Я надеялась облегчить ее участь.

Но такие старые дома, как наш, признают лишь одного владельца. Мать давно стала его частью, вплелась в ткань его бытия. У домов иное

течение времени: они живут дольше, но стареют раньше, чем мы. Мать отдалялась от людей, и, чем дальше она уходила от нас, тем глубже вращалась в дом. Так дерево на скале переплетает свои корни с камнями. Чутье заранее подсказывало ей, где начнет протекать крыша и когда нужно вызвать печника, если в дымоходной трубе намечается трещина. Она не чинила, она предотвращала. И дом был благодарен ей за это, как благодарен врачу больной, избежавший операции.

Отец в те дни почти ничего не ел. Он как будто приносил жертву неведомому богу – он, не верящий ни в бога ни в дьявола.

Я смотрела на него и пыталась понять: о чем он тревожится? Любовь ли проснулась в нем или Андреас просто боится потерять того, кто держит на своих плечах весь наш быт? Умри мать, и все тяготы домашних хлопот легли бы на него.

Отец достаточно красив, чтобы привести в дом новую жену.

Но он не может этого сделать. Мы все отлично понимаем, что это невыносимо.

У нас есть тайны, в которые нельзя посвящать чужака. И здесь не отделаешься комнатой с ключом, болтающимся на связке Синей Бороды. Вся наша жизнь – такая комната.

Я набиваю сумку колбасами и сырами, которые заготовила мать. За моей спиной Мина протестующе шипит. Затем взрывается криком и бросается на меня. Я покусилась на святое! На еду!

Но я не та трехлетняя девчушка, которую она сбросила с качелей. Моя сестра неповоротлива, как груженный баркас, и мне не стоит труда уклониться от нее.

– Стой! Иди сюда! Я тебя побью!

Я показываю ей язык и отскакиваю за стол. Мина носится за мной, затем в изнеможении падает на пол и сучит ногами. Я пользуюсь этим, чтобы вытащить из холодильника еще и банку с йогуртом.

Этого сестра не может перенести.

– Мама! – кричит она. – Отец, отец! Катерина нас грабит!

Топот ее ног слышен на крыльце, затем во дворе, где она распугивает птицу.

Бедная глупышка!

Я раскладываю продукты по местам и выскальзываю из кухни.

Дверь в комнату отца закрыта. Но у меня давно готова копия ключа.

Деньги лежат в верхнем ящике комода – целая пачка, такая толстая, что не умещается в руке. Купюры – в основном двадцатки, но есть и сотенные.

Я знаю, за что он получил их. Все в деревне знают!

Но люди становятся удивительно молчаливы, когда дело касается их выгоды. Самая болтливая старуха из трескучей белки превращается в безмолвную рыбу.

Я возвращаю деньги на место – все, кроме одной купюры – в точности так же, как они лежали, и еще проверяю номер на верхней банкноте. Отец наблюдателен, как старый лис.

В своей мастерской я достаю те двадцать евро, которые стащила у отца. Голубоватый прямоугольник с мостами и стрельчатыми витражными окнами. Бумага подготовлена заранее: тонкая, шелестящая – она обошлась мне в стоимость десяти картин, которые я рисовала до онемения руки.

Отец забирает у меня все деньги, что я выручаю за свои работы. Мне все-таки удавалось припрятывать по чуть-чуть. Он догадался об этом. С год назад вошел в мою мастерскую, сгреб все картины, приготовленные для продажи, и, ни слова не сказав, уехал.

Вернулся Андреас вечером, взбешенный как пес, у которого из-под носа выдрали кость. Все картины швырнул мне на стол.

На следующий день я отправилась в город сама.

– А, Катерина, девочка моя! – приветствовал меня старый Персакис.

В его лавке повсюду звенят колокольчики. У них серебристые птичьи голоса, как и у самого хозяина. Уверена, едва закрывается дверь за покупателями, он принимается болтать с ними, а они отвечают. Когда Персакис умрет, он станет черным дроздом и будет петь песни одинокой вдове, скрашивая ее старость.

– Что ты принесла мне, моя синеглазая малютка?

Я выложила работы на прилавок. Море, море – всегда одинаковое, всегда разное. Мне не удастся поймать его душу. Но в моих картинах много света и воздуха – так утверждает Персакис и еще говорит, что я умею показывать сложное простым. Не понимаю, о чем он. Но раз моя мазня заставляет приезжих раскошелиться, пусть будет так.

Старик зашелестел купюрами.

– Вчера заглядывал твой папаша, – проскрипел он будто между делом.

И полоснул меня острым взглядом.

– Это ты отправила его ко мне, моя радость?

Я покачала головой.

– Так и думал. Сказал ему, что я имею дело только напрямую с мастерами. Не могу сказать, что он обрадовался.

Я представила, как мой широкоплечий отец перегибается через прилавок и нависает над взъерошенным кривоногим Персакисом.

– Андреас кричал, что ты больна и не сможешь явиться ближайшие четыре недели. Ну, так я сказал, что подожду сколько надо. Пусть даже придется потом вычесть с тебя ущерб за простой – ведь мы договаривались, что ты будешь поставлять мне товар каждый месяц!

Старик подмигнул. Ах, хитрец! Ни о каком простом и речи быть не могло. У нас с ним вообще нет договора. Я привожу картины, он платит мне – вот и все наши сложные юридические отношения.

– Сначала он накричал на меня, потом сменил тон и стал заискивать. Не люблю такого! Уж начал орать, так ори до конца! Будь последователен! – Персакис воинственно стукнул кулаком по столу. – Он потратил сорок минут моего времени, пытаясь убедить меня, что мне понравится вести с ним дела. Но я был стоек, как римский легионер. Так что не бойся, твой отец больше здесь не появится. За мою доброту, – закончил старик, – ты получишь сегодня на десять процентов меньше, чем обычно!

Я улыбнулась. Вот пройдоха!

– Она смеется там, где остальные стали бы меня проклинать! – Персакис развел руками. – Что ты с ней сделаешь! На, возьми, бесовская девчонка!

Он выплатил мне все, что полагалось, и сверху положил монету.

– Это тебе на мороженое. Ты любишь мороженое, дитя мое?

Я покачала головой.

– Почему-то я так и предполагал, – со вздохом сказал старик.

Серебристый кругляш я сунула в карман платья. Он легкий, но я его чувствую. Это не деньги, это подарок, а подарки не разменивают ни на мороженое, ни на сладости.

Глава 6

Русма, 1992

1

Птенца голубя нашел Синекольский.

Оля сказала, что это ни больше ни меньше как перст судьбы.

Дело в том, что до этого Димка утверждал, будто голуби не высиживают птенцов.

– Вот скажи, ты хоть раз их видела? – настырно допрашивал он.

Они сидели на краю Ямы, на огромном древнем буфете, чей громоздкий деревянный корпус выдавался над волнами мусора точно нос корабля. Кто мог дотащить этого исполина до оврага? Когда Оля с Димкой впервые наткнулись на него, ей пришло в голову, что подобные вещи не приносят в дом – это дом нарастает вокруг них. В порыве восторга и откровенности она даже привела отца посмотреть на это чудовищное ископаемое. Тот походил вокруг, примеряясь снять резные дверцы, но в конце концов махнул рукой: «Влезешь на эту дуру, а она грохнется». Оля умолчала, что они с Димкой постоянно устраиваются сверху.

– ...видела или нет?

– Не видела. Ну и что!

– Вот! Подумай сама: голуби тысячу лет живут рядом с человеком. Куда ни плюнь, попадешь в голубя. Их птенцы должны быть везде! А нету.

– Чушь собачья, – лениво говорит Оля.

Ветер пахнет весной и помойкой. Кажется, можно сидеть здесь целую вечность и слушать Димкину болтовню.

– Воробьиных птенцов каждый ловил, – не успокаивается Синекольский. – Сорочьих – пруд пруди. Даже дятлов мелких я выуживал из дупла! – Оля вопросительно смотрит на него, и Димка машет рукой: – Не суть. Дело в птенцах голубя. Их нет.

Беда в том, что никогда не поймешь, где Димка спорит всерьез, а где гонит пургу с невозмутимой физиономией.

– Как же тогда они появляются?

– Загадка, – соглашается Димка. – Возможно, даже заговор.

– Ага. Голубиный.

– Может, сразу вылупляются взрослыми? – Синекольский сосредоточенно грызет ноготь и не отзывается на ее шуточки. – А что, идея. Это бы все объясняло.

А потом они подошли к дому, и под скамейкой Димка углядел птенца.

Они даже не сразу поняли, что это птичий ребенок. Какая-то багровая котлета, обросшая седой травой. Из котлеты торчал длинный пеликаний клюв, над клювом помещались два огромных глаза, прикрытые морщинистой пленкой, а за ними – отверстия поменьше, точно дырочки, выгрызенные в яблоке червяком с манией симметрии.

В его уродстве крылось нечто завораживающее. Оля с Димкой молча рассматривали ужасную тварь. Казалось, природе пришлось вложить немало труда, чтобы создать такого монстра.

– Это что? – с благоговейным ужасом спросил Синекольский.

И тут Оля поняла. Она захохотала так, что Димка чуть не выронил птенца.

– Это тебе черти из ада прислали! – сквозь смех выговорила девочка. – В наказание за неверие в голубиных птенцов!

Монстр разинул пасть и невнятно захрипел.

Конечно, они потащили его к Марине.

– Во имя отца, и сыра, и свиного уха! – всплеснула руками Марина. – Что за хрень?

– Это будет голубь, – с неоправданным оптимизмом заметил Синекольский.

– Зачем он вам? Кошке его скормите!

– Перебьется кошка, – возразил Димка, косясь на вышедшую из-за шкафа дымчатую Дусю. – Мы его самого хотим накормить.

Марина села на табуретку, закинула ногу на ногу и задумалась. Босые пятки ее были черны от грязи.

– В природе голуби кормят птенцов специальным молочком... Вам его взять негде. Тогда что же? А вот попробуйте желток! Еще детское питание можно, если найдете. А проще всего – комбикорм! Считайте, что у вас мелкая курица.

Оля торжествующе взглянула на товарища. Она всегда знала, что к Марине можно прийти с любым вопросом! Кажется, если бы они подобрали в канализации детеныша динозавра, у Марины и тогда нашелся бы ответ, чем его выкармливать.

Димка записал все советы в блокнот, сопя от усердия. Напоследок спросил:

– А вы не знаете, мальчик это или девочка?
Оля фыркнула. Ну дает Синекольский!
– Очень просто определить, – серьезно сказала Марина. – Я тебя научу.
Смотри: если полетел, значит, мальчик. А если полетела, значит, девочка.
Усек?

Димка вздохнул, подхватил коробку и поплелся к выходу.
– Комбикорм у Власова есть! – крикнула ему вслед Марина. – Хотя я бы на твоём месте больших надежд не питала.
– На Власова?
– На птенца. Сдохнет он у тебя. Мелкий слишком.

Синекольский всерьез решил, что птенец послан ему провидением.
– Я избранный! – твердил он, расхаживая по чердаку. – Голубиные птенцы у кого попало не оказываются!

Оля хихикала.
– Это знак судьбы, точно тебе говорю!
– И на что она указывает, твоя судьба?
Они склонились над коробкой. Голубенок поднатужился и выдавил из себя жидковатую вонючую пасту.

– Что надо чердак проветрить, – упавшим голосом сказал Синекольский.

Он выкармливал птенца заботливо и терпеливо. Сперва им приходилось силком раскрывать ему клюв. Желток они скармливали через пипетку, а когда птенец чуть подрос, добавили в рацион комбикорм. Димка размачивал всю еду в воде. Он учил птенчика пить, макая его голову в плоску, и когда тот начал делать это сам, пришел в такой дикий восторг, что Оля выразила беспокойство за его рассудок.

– Ты не понимаешь, – сказал Синекольский. – У меня же никогда никого не было. Бабаня не разрешает ни кошку, ни щенка. А прикинь, мы его почтовому ремеслу обучим! – Глаза Димки загорелись. – Будет письма носить туда-сюда!

– Ты его сначала гадить в одном месте приучи.
Димка назвал своего питомца Аделаидой в честь песни «Аквариума». Он целыми днями напролет слушал Гребенщикова.

– И нет ни печали, ни зла, – козлиным фальцетом поет Синекольский, – ни гордости, ни обиды! Есть только северный ветер, и он разбудит меня, если придет звезда – Аделаида.

Аделаида на звезду походила отдаленно. Но Димка с нежностью целовал ее в плешивую макушку и гнусаво шептал: «Аделаида, звезда

моя!», подражая герою Боярского из фильма про трех гардемарин. Оля хохотала до слез.

Каждый день в птенце что-то менялось. Из кожистых складок выпростались крылья («Смотри, какие у него локотки острые!»), клюв затвердел и пришел в соответствие с пропорциями тела. Затем в одну ночь Аделаида внезапно почернела и стала действительно похожа на посланника ада. Димка решил, что ей конец. Однако прошло несколько дней, и оформились синеватые перья. У нее даже распахнулся веером маленький хвост – предмет Димкиной особой гордости.

Очень скоро голубь смешно выхаживал за ним по всему чердаку. Синекольскому так и не удалось приучить его опорожнять кишечник в одном месте. Аделаида семенила по полу, и на драгоценном ковре оставались ее следы.

Зато она взлетала с коробки Димке на плечо. Любила устраиваться у Оли на руках – выпрашивала размоченную булку. Получив лакомство, раздувалась втрое больше обычного, словно приняла на хранение драгоценную жемчужину, и начинала удовлетворенно курлыкать – совершенно как кошка, которую чешут за ухом. Ее спина незаметно покрылась мягкими перышками, шейка стала отливать синевой. Аделаида росла.

Возвращаясь домой, Оля видит на крыльце Маню-Пудру. Толстуха сидит на верхней ступеньке, расставив ноги, и загораживает проход к двери.

– Ты чего здесь? – мрачно спрашивает Оля.

Пустили, называется, козла в огород.

– К мамке и папке твоим! – Маня показывает розовый язык.

– У тебя свои есть. Шагай к ним.

– Мамка есть. А папки такого нету!

Дверь распахивается, и выходит отец.

– О, Лелька! Иди в дом, мать только что суп сварила. Хочет, чтобы ты пробу сняла на соль.

– А сама она не может?

– Говорит, язык обожгла.

Он улыбается, мимоходом треплет Маню по белобрысой голове. Оля давно не видела его в таком хорошем расположении духа.

– Держи.

Он присаживается рядом с Пудрой и протягивает ей какой-то предмет. В следующую секунду Оля понимает, что это, и ее захлестывает волна

гнева. Шоколадка, большая шоколадная плитка с балериной, которую мама отложила на Новый год. Лакомство, достаемое Оле очень редко. Праздничное, запретное и оттого ценное вдвойне.

– Дайте! Дайте!

Отец смеется. Пудра выхватывает у него плитку, разворачивает, жадно запихивает в рот и давится шоколадом. По подбородку течет коричневая слюна. Она чавкает и постанывает от удовольствия. До Оли доносится волна приторного аромата.

– А что сказать надо? – притворно хмурится отец.

– Шпашиба!

– Умница.

– А еще есть?

– В другой раз будет.

Оля старается не смотреть на Пудру. Больше всего она сейчас жалеет о том, что они вмешались в развлечение Грицевца и его компании.

Вскочив, Пудра одергивает юбку, машет им рукой, перепачканной в шоколаде, и деловито направляется прочь.

– Ты не сердись, – помолчав, говорит отец. – Уж больно мало у нее радостей в жизни. Никому она не нужна. Шоколада на Новый год у нее не будет, да и вряд ли был когда-то. Эх, горюшко-горюшко...

Оля чувствует, что должна устыдиться, проникнуться трагедией неприкаянной Пудры. Но не может.

– У нас-то семья нормальная, – продолжает отец. – А у нее что? Бабка ведьма, мамаша дрянь. А шоколада я еще куплю, не бери в голову. Ладно, беги.

Мама стоит у плиты, напевает. Босые ноги ритмично переступают по полу – мама танцует ламбаду.

– Ты только никому не рассказывай, – таинственным голосом начинает она, – но кажется, у папы начинается кое-что получаться с его проектом!

– Каким проектом?

– Ну как же! Свиноферма!

Оля столько раз слышала про свиноферму, что от частого употребления смысл этих слов совсем стерся. Она позабыла, что у отца были серьезные планы на их жизнь в Русме; она все забыла, кроме того, что папа угощает шоколадом, припасенным для нее на праздник, чужую девочку.

– Это, конечно, пока не окончательно... Но он нашел, где взять деньги. Люди в него поверили, понимаешь?

У мамы розовеют щеки, прыдь падает на лоб, и мама сдувает ее,

смешно вытянув губы трубочкой.

– Только никому-никому! – торопливо добавляет она.

Оля машинально кивает.

– Ты бабушку уже покормила? – спохватывается она.

Маму не нужно пускать в дальнюю комнату. С каждым месяцем градус безумия в старухиных речах нарастает. «Зря мы грибы едим так беззаботно», – думает девочка. И еще думает, что когда начнется сезон, она станет проверять каждую сорванную старухой сыроежку – надо только взять в библиотеке атлас грибов.

– Ей папа сам отнес еду.

Надо же!

– А как ты язык обожгла? – подозрительно спрашивает Оля.

– Горячую ложку облизала, – сокрушенно говорит мама.

Оля так привыкла к тому, что любая ее травма – дело папиных рук, что некоторое время сверлит мать недоверчивым взглядом. И вдруг понимает, что мама говорит правду. Она всего-навсего неосторожно дотронулась языком до ложки, только что вынутой из борща. Девочку охватывает такое облегчение, что она слабеет и прислоняется к косяку.

– Котенька, ты чего?

Не объяснишь же маме, что минуту назад для Оли распахнулось окошко в мир, где у мамы может что-то болеть не из-за того, что ее избили. Где у ее обожженного языка нет другого виновника, кроме нее самой.

– Устала в школе...

– Пара недель осталась. – Мама зачерпывает половником борщ. – Потерпи еще немного. Давай, мой руки – и за стол.

Чуть позже приходит папа, и они сидят втроем, болтают о ерунде, как самая обычная семья: отец рассказывает анекдоты, мама смеется, и не потому, что она *должна смеяться его шуткам*, а потому что анекдоты и в самом деле смешные. Впервые за долгое-долгое время Оля позволяет себе расслабиться. Это очень непривычное чувство. Как будто ты рыцарь, с которого сняли тяжелую броню, и наконец-то тебе легко, но и от чувства незащитности никуда не деться.

Оля смотрит на оживленного, возбужденного отца и думает, что пусть он скормит Пудре весь шоколад. Она и сама захватит ей завтра что-нибудь из новогодних запасов. Его преображение, как ни крути, началось с этой дурочки. Мама была права: вот он, ключ, который открыл доброту в папином сердце.

На следующий день Оля не успевает осуществить свой благой порыв: на третьем уроке выясняется, что Маня сбежала. Грядет сочинение по литературе, а Пудра панически боится любых проверочных работ.

В школе суматоха: кто-то опять курил в туалете для девочек; третьеклассника столкнули с лестницы; в столовой видели мышь. За окном машут ветками березы, солнце сверкает, отражаясь во влажных листьях. Галдят выведенные на физкультуру пятиклашки, и этот шум действует на Олю, как на волка – вой далекой стаи. Удрать бы! Носиться где душа пожелает! Снаружи бушует весна, а их школа законсервировала в себе самые тоскливые зимние вечера и теперь выдает ученикам по тщательно отмеренной дозе уныния и меланхолии.

– Меня уже тошнит от нашего класса, – бормочет рядом Синекольский.

Бог иногда отзывается на самые неожиданные молитвы. Перед третьим уроком в класс входит завуч. «Елена Игнатьевна заболела, сочинение переносится на следующую неделю».

Дружное «ура», вырвавшееся из тридцати пяти глоток, оглушает бедную женщину. «Кулешова паленой водкой траванулась», – шепчет кто-то сзади. – «А не надо было у Грицевца бутылку отбирать».

Оля с Димкой бегут к своей пятиэтажке, где на чердаке их ждет Аделаида, штопаный плед и драконья шкура, прикидывающаяся ковром. Оля будет валяться с книжкой, Димка – дрессировать свою голубицу, а потом они, может быть, заглянут к Марине, чтобы она сварила им свои знаменитые сосиски, и отправятся до темноты шляться по Яме.

Жизнь так хороша, как бывает она хороша только у детей, которым отменили контрольную.

– А я вот вычитал про голубей, – говорит Димка. – На свободе они живут по три года, а в неволе могут до пятнадцати. Понимаешь ты, что это значит?

Оля не понимает.

– Балда! Это значит, что рядом с человеком им хорошо! Подумай сама, ты стала бы тянуть эту лямку пятнадцать лет, если бы тебе было от жизни тошно?

Оля взвешивает все за и против и признается, что стала бы. У нее мама. Как же не тащить...

– Потому что ты дурочка, – торжествующе говорит Димка. – А птицы

– животные умные. Они инстинктами живут.

– Это ты инстинктами живешь!

– Кстати, жрать хочется. Живот бурчит.

– Ну, давай кефир купим и булку. У тебя деньги есть?

Кое-как они наскребают на бутылку кефира и два рогалика. Димка приставляет их ко лбу и мычит, продавщица бранит его за баловство с едой.

Так, дурачась, они добираются до своей пятиэтажки и вваливаются на чердак, толкаясь и едва не падая с узкой лестницы.

Эти двое не сразу их замечают. А Оля не сразу понимает, что происходит. Разум ее охватывает не всю картину в целом, а лишь ее фрагменты: задранную коричневую юбку; светлые волосы, рассыпавшиеся по клетчатому пледу; смятую блестящую обертку от шоколадной плитки и целую плитку, лежащую рядом с коробкой Аделаиды; белое тело, вдавленное в топчан другим, большим и тяжелым.

«А груди у нее и правда разные», – отстраненно замечает кто-то внутри Олиной головы.

На Манином лице знакомое выражение: такое же бывает у Пудры перед кабинетом медсестры в период прививок, когда нужно вытерпеть неприятную процедуру. Она скашивает глаза и видит своих одноклассников.

– Ой! Мамочки!

Мужчина поворачивает голову. С губ его слетает ругательство.

Он перекатывается на бок, быстро подтягивает штаны и пытается застегнуть молнию. Пудра, хихикая, поправляет на себе одежду. На внутренней поверхности бедер размазано что-то красное. Оглядевшись, Маня тянет к себе край пледа и деловито подтирается им.

Она чувствует, что вышло нехорошо. Они с дядей Колей пообещали друг другу, что у них будет секрет. А теперь что же? Секрет лопнул! Из-за этих двоих. Пришли, когда их не звали. Противные, фу! Гадкие! Особенно его дочка. Маня до сих пор не простила ей тот случай на стадионе, когда грубая Оля кричала на Маню и требовала, чтобы та шла своими ногами, а Мане хотелось только лежать в траве, съжившись в комочек, и ждать, чтобы кто-нибудь понес ее на руках.

Ничего, дядя Коля большой и умный. Он что-нибудь придумает. Пусть он выпорот ее, свою красивую капризную дочку. Пусть ударит ее с размаху, всей ладонью, как мама бьет Маню, когда она провинится. Это будет правильно.

Оля с Димкой стоят неподвижно, и Маня, быстро цапнув шоколадную плитку, протискивается мимо них и скатывается по лестнице. Шаги ее

звучат в подъезде бесконечно долго, будто Маня бежит вниз с тысячного этажа.

Наконец все стихает. Повисает такая тишина, что слышен шорох крыльев Аделаиды, устраивающейся поудобнее в своей коробке.

Сколько времени проходит? Минута, меньше? Этого короткого времени отцу хватает, чтобы собраться с мыслями. Он выпрямляется и даже улыбается им, словно все они соучастники одной небольшой шалости.

– Лель, ну прости!

Меньше всего Оля ожидала услышать именно это.

– Что вы здесь делали? – хрипло спрашивает она, хотя отлично знает что. Они с Димкой видели это собственными глазами.

Отец с досадой дергает заевшую молнию на джинсах.

– Слушай, девка так страдала по мне, аж текла! Ну не мог я отказать. Ты меня тоже пойми: я ведь мужчина.

– Что?!

Отец разводит руками:

– Сучка не захочет, кобель не вскочит.

– О господи...

– Да она шалава, братцы! Ей-богу! Сама меня сюда привела. Ей не впервые, точно вам говорю. Дмитрий, ну хоть ты меня поддержи! Где наша мужская солидарность?

Он так убедителен, так прост и искренен в своем веселом возмущении, что на несколько секунд Оля теряет связь с реальностью. Кажется, Синекольский вот-вот понимающе кивнет: еще бы не шалава! я бы и сам трахнул ее на нашем чердаке, только вот шоколадки не нашлось.

– Ей четырнадцать лет, – хрипло говорит Димка.

– Да какие четырнадцать! – Отец машет рукой. – Взрослая баба. Титьки – во! Ты видал?

Но два подростка молчат. Ужас и отвращение написаны на лицах обоих. Николай внезапно замечает, как стали похожи эти двое – точно брат и сестра. Прежде он не обращал на это внимания. Плевать ему было на пацана.

Оля расширившимися глазами смотрит за спину отца, где валяется брошенный Маней плед, и Николай оборачивается – что она там углядела?

– Ну, согрешил один раз! – Он широко разводит руки и бьет правой себя в грудь с гулким звуком. – Простите дурака! Лелька! Хочешь – на колени встану? Только матери не говори!

– Всем остальным, значит, можно? – угрюмо спрашивает

Синекольский.

Чертов малец. Если бы не он, глядишь, Ольга и повелась бы.

Николай печально опускает голову. Со стороны отец выглядит кающимся грешником. В действительности все, чего он хочет, – выиграть время. Прежде ему всегда удавалось настоять на своем. Но сейчас его власть над дочерью слаба как никогда, а ее дружбан и вовсе от него не зависит. Николай запоздало сожалеет, что не привечал парня. Глядишь, пялили бы девку в два смычка, и никаких проблем с пионерским самосознанием.

Павлики, блин, Морозовы.

«Думай, Коля, думай!»

«Гондон не надел... кретин! А ведь эта жирная дура не подмоется, когда вернется. Если будет заявление... Экспертиза, то-се...» Он просчитывает последствия, пока Оля с Димкой стоят в оцепенении, не понимая, что делать и о чем говорить.

Жизнь в Русме многому научила обоих. Они знают, как избежать драки, и какие места защищать, если драка все-таки завязалась. Оле знакомы методы оказания первой помощи при побоях, а Димка умеет снимать похмелье и отличать паленую водку от нормальной. Но им неизвестно, как вести себя, если твой собственный папа спит с твоей слабоумной одноклассницей.

И хотя они застали его на месте преступления, страшно в эту минуту им, а не ему.

Когда Николай поднимает голову, на его лице нет и следа раскаяния. Пятерней он проводит по взъерошенным волосам.

– Короче, так. – Отец присаживается на край топчана и начинает спокойно шнуровать ботинок. – Раз вы у нас теперь ответственные за мораль и нравственность, придется с вами как со взрослыми.

Глаз его фиксирует быстрое движение.

– Прыгнешь вниз, я ей все пальцы переломаю, – предупреждает он. Димка с Олей замирают. – Но ход ваших мыслей правильный. Поскольку ты, детка, не идешь навстречу папе, я с тобой буду обращаться как с чужой. Поняла? Не родная ты мне дочь, Ольга, а предательница. Враг. Была бы родной, заняла бы мою сторону.

Он закончил с одним ботинком и принялся за второй.

– С врагами, как говорится, у нас разговор короткий. Начнешь молоть языком, Оля, я твоему дружку ребра выну через рот. Ясно?

Девочка молчит.

– Что я с ней сделаю, тебе вообще лучше не знать, – доверительно

говорит Николай застывшему Димке. – Ты вроде посообразительнее, чем моя дура. Должен понимать: пойдете в милицию, всем будет хуже. Я скажу, что это ты Машу трахнул. У меня жена-красавица, зачем мне с малолеткой связываться? Дочка вон есть. А ты урод. Тебя родители бросили. Хотели в детдом сдать, да в последний момент пожалели. Вот ты и отрываешься на дебилке. Чердачок обустроил... – Отец обводит рукой ковер и стул. – Маня все подтвердит. Она девочка сообразительная, хоть и без мозгов. У нее соображалка в другом месте, ха-ха! Как у всех баб!

Оля боится смотреть на Синекольского.

– В общем, поразмыслите пока. – Отец выпрямляется и заправляет рубашку в штаны. – А я пойду. Кстати, Оля, ты учти – раз мы с тобой больше не друзья, за твои проступки теперь будет отвечать и мама.

Он неторопливо проверяет, застегнуты ли пуговицы. Расправляет воротничок рубахи. И идет по направлению к люку, по дороге лишь на пару секунд задержавшись возле коробки с Аделаидой.

Они не успевают даже понять, что он делает. Отец наклоняется над коробкой, из которой доверчиво тянется к нему глупая птица, привыкшая не бояться человека.

Хруст.

Этот хруст долго еще будет отдаваться у девочки в ушах. Даже Димкин вскрик, раздавшийся секундой позже, не сможет заглушить этого тихого окончательного звука.

Отец протискивается мимо Оли и так же неспешно, без суеты спускается вниз по лестнице.

Мертвый голубь лежит в коробке, на боку которой Димка вчера вечером написал: «Где взойдет звезда Аделаида».

Они похоронили Аделаиду на окраине Русмы, за домишком-развалюхой, в котором давно никто не жил. Сад одичал, зарос лебедой, и там, среди лебеды, они и вырыли могилку.

Димка все время молчал. И когда искали место, и когда забрасывали яму землей. Оля не пыталась его утешать. Он надеялся прожить со своим ручным голубем пятнадцать лет, а ее отец убил маленькую безобидную птицу.

Легкость, с которой Николай проделал это, поразила обоих.

Это была первая смерть, с которой они столкнулись так близко. Димка,

кинувшись к коробке, пытался еще что-то исправить. Он крутил свернутую шейку, словно надеясь поставить на место треснувшие косточки, он прилаживал голову к телу, как будто Аделаида была из пластилина и могла слепиться обратно, а потом снова ожить. Оля сначала сидела рядом, потом отошла. Смотреть на это было невыносимо.

Пудра на следующий день пришла в школу как ни в чем не бывало. Димка потом сказал, что Оля очень хорошо держалась. Очень! Лицо спокойное, вся погружена в уроки, совершенно не обращала на Маню внимания... А что ее стошнило, когда полезла за учебниками, и из портфеля вывалился шоколад, припасенный для Пудры, так это они быстро вытерли. Хорошо, что в классе никого не было, все умотали в столовку.

Они не обсуждают между собой то, что видели на чердаке. Зачем? Случившееся – это данность. Еще одно новое правило, по которому живет взрослый мир. Как сформулировал Димка, «все, что происходит, случается навсегда». В жизнь, которую они проживали, добавился новый пазл. Мысль о том, что его можно перекрасить, не приходит никому из них в голову. Пазлы не красят, их выдают уже готовыми.

Им некого просить о помощи, не к кому пойти. И потом, что они могут рассказать? Оля перестала быть Олей Белкиной. Теперь она Оля-папа-которой-насиловал-Пудру. Оля-папа-которой-убил-голубя. Нельзя сказать, что девочка чувствует себя виноватой. Она сама стала виной, виной и стыдом. Кажется, если проткнуть кожу иглой, из нее начнет сочиться темно-желтая жижа с запахом земли и лебеды.

Это едва не положило конец их дружбе. Потому что она не может смотреть Димке в глаза. Никому не может, но ему особенно. Оля начала избегать его, и уже несколько дней подряд они расходятся из школы поодиночке – молчаливые и отчужденные, волоча свое горе, словно мокрый мешок с утопленным котом.

Дома все по-прежнему. Кроме того, что оживление отца спало, и Оля знает почему. Причина его дружелюбия и любви ко всему миру заключалась вовсе не в том, что он нашел деньги на свой проект. Это все встреча с Маней! Стирая кровь с ее коленок, забалтывая бедную дурочку, угощая ее шоколадом, он уже знал, что сделает с ней. Все события предстают перед Олей в их истинном свете, и безжалостнее всего в его лучах выглядят они с мамой – две наивные курицы, радующиеся сытой умиротворенности своего мучителя.

На чердак Оля больше не ходит. Он осквернен, изгажен. У нее не хватает сил даже выкинуть плед в следах крови. Пусть это сделает Димка, думает она. Ему все равно. Это ведь не его папа.

Отец перестал называть ее Лелей. Оля иногда ловит на себе его спокойный взгляд – слишком спокойный, как будто он уже что-то решил про себя и теперь только ждет подходящего часа.

На четвертый день после встречи на чердаке раздается стук в калитку. Стучат громко, требовательно. Оля выходит и видит на улице Маню в ее любимой школьной юбке, перепачканной мороженым.

– Ты? – выдавливает девочка. – Пошла вон!

– Сама пошла! – бесстрашно отзывается Пудра. – Я плевала на тебя!

И действительно, харкает в сторону Оли. Плевков не долетает и падает на землю между ними.

– Дядя Коля! Дядя Коля! – зовет Маня в полный голос.

На пороге появляется отец.

– Ба! Ты еще откуда? Тебе чего?

– Шоколаду хочу! – капризно кричит Пудра. – Ты мне обещал шоколад!

Отец оттягивает резинку домашних штанов и резко отпускает. Щелчок звучит как выстрел.

– Домой иди, Мария, – советует он. – А шоколадом я тебя в другой раз угощу.

– Не хочу в другой! Дай сейчас! Ы-ы-ы-ы!

Оля понимает, что с минуты на минуту разразится один из тех сумасшедших скандалов, которыми славится Пудра. Отец оказывается возле калитки быстрее, чем Оля успевает моргнуть. Его приглушенный голос бубнит что-то неразборчиво – и Маня внезапно успокаивается.

– Обещаешь? – громко спрашивает она.

Отец отвечает коротким кивком.

Оля смотрит вслед уходящей Пудре и думает, что это был не последний ее визит. Теперь она знает, где брать шоколад.

Проходит два дня. Вечером к ним снова стучат, но на этот раз, едва увидев из окна, кто пришел, Оля не выходит из своей комнаты. Зоя Шаргунова маячит за оградой, и слепые ее бельма в сумраке похожи на два бильярдных шара, удачно забитых в лузы. Кажется, если присмотреться, можно даже различить цифры на каждом из них. Бильярдный стол стоит в том кафе, что пороскошнее, и пару раз их с Димкой пускал поиграть пьяненький хозяин, пока кто-то не порвал сукно.

К Шаргуновой выходит мать, долго говорит с ней о чем-то и возвращается слегка озабоченная. Маня снова пропала.

– В который раз уже, – говорит отец.

– Жалко их, – говорит мать.

– Найдется к ночи.

Они забывают о визите старухи почти сразу, но утро приносит тревожное известие: Пудра не нашлась. Бывало, что она задерживалась в чужих садах допоздна, однако ночевать всегда возвращалась домой.

Ее ищут.

Мани нет в школе. Мани нет в подсобке хозяйственного магазина, куда она как-то раз незаметно пробралась, чтобы справиться в углу малую нужду. К полудню тревога нарастает. К вечеру старуха Шаргунова приводит дочь в милицию, чтобы написать заявление.

Но заявление уже ничего не решает. Новость облетела заскучившую Русму, в которой давно не случалось громких событий, и охватила ее, точно огонь – сухой валежник. Отблески его горят во всех глазах.

Жители вовлечены в поиски пропавшей девочки. Маня – в своем роде достопримечательность. В каждом окрестном городке есть вакансия местного дурачка, но только Русма может похвастаться тем, что их дурачок *неподдельный*. По большей части Маню терпеть не могут, однако сейчас все ее бесчинства забыты. Пропал не просто ребенок, а ребенок особенный, уязвимый; невинная душа, поцелованная Господом в темечко. На глазах Димки и Оли зарождается миф о бедной Машеньке, обделенной умом, но с избытком награжденной душевными качествами; он растет быстрее, чем возник, едва лишь девочку найдут, но пока ее ищут – он необходим. Под его знаменем русминцы собираются на поиски младшей Шаргуновой.

Димка с Олей, которые почти не общались последнюю неделю, встречаются перед своей пятиэтажкой. Они пришли сюда не стовариваясь.

– Думаешь, она наверху? – спрашивает Оля.

– Хрен ее знает. Давно там не был.

Оба медлят зайти в подъезд. Димка задирает голову, силясь рассмотреть, открыты ли чердачные окна.

– Ладно, двинулись. А если она там, как объясним народу наш чердак?

«Наш!» Несмотря на все случившееся, это коротенькое слово внезапно согревает Олю.

– Разберемся. Может, и объяснять ничего не придется.

Но оба уверены, что Маня именно там. Ей больше негде прятаться. Димка мысленно примеряет роль спасителя и обдумывает, будут ли благодарные русминцы награждать его или бить, едва в коллективной памяти всплывет, что Маня регулярно протыкала палкой парниковую пленку и бесстыдно гадила в чужих садах.

Однако чердак пуст. Он пуст той особой необжитой пустотой, которая

возникает в комнатах, надолго покинутых людьми, даже если все их вещи остаются на местах. В нем пахнет пылью и голубиным пометом – так никогда не пахло при жизни Аделаиды.

– Ты плед выкинул. Спасибо, Дим.

– Что? – оборачивается Синекольский.

– Плед! Клетчатый наш. Его нету.

– Я не выкидывал...

– Может, Пудра взяла и ушла? – недоумевают Оля.

– Слушай, а правда: где она может быть?

Внезапно до обоих доходит, что здесь действительно что-то не так.

Они молча спускаются вниз, молча обходят пятиэтажку. Это бессмысленно, Пудре негде прятаться, но куда еще пойти, не знают ни тот, ни другая.

– В лесу заблудилась, – предполагает Синекольский.

– Да она из Русмы уходить боится. Помнишь, ее на автобусе собирались везти к врачу? Она так визжала, что чуть окна не вышибло.

Димка задумчиво чешет нос.

– Трахается с кем-нибудь? – предполагает он, осторожно косясь на Олю. Обоим ясно, кого имеет в виду Синекольский.

– Он дома ночевал. Где Пудра-то была в это время?

– Ну... может, на чердаке, а сейчас уже домой топает.

– Разминулись?

– Типа того.

– Ну, может, – с сомнением соглашается Оля. Ей все-таки кажется, что с этим затянувшимся исчезновением Пудры что-то нечисто. – Запасы шоколада нашла у кого-нибудь, – говорит она, чтобы глупой шуткой отогнать странное чувство.

– Обожралась и сдохла!

– Тьфу, дурак!

– Между прочим, я читал! Бывает шок. Профилактический, что ли... Человека раздувает, и он помирает от удушья. Прикинь, Пудру раздует! Это ж будет человек-бомба!

Болтая, они незаметно добираются до Ямы.

– Слушай, у меня косяк есть, – понизив голос, говорит Синекольский.

Оля фыркает.

– Зачем тебе?

– Ну, так, расслабиться. Хочешь?

– В задницу себе засунь свой косяк. – Димке отлично известно, что Оля даже обычные сигареты ни разу не пробовала, не говоря уже о

конопле. Да и сам он наверняка придуривается, в его самокрутке коровий навоз и труха. – Откуда у тебя?

– У Грицевца подрезал.

– Господи! – Оля всплескивает руками. – Он тебя самого скурит! Ты совсем дурак?

Димка ухмыляется. Когда он растягивает губы в улыбке, лицо его, разбитое на две полумаски старика и ребенка, вдруг обретает цельность и кажется, что именно таким его и задумал Господь: вечно посмеивающимся паяцем.

– А пускай клювом не щелкает.

Раздвинув ветки бересклета, сквозь которые ведет тропа, Димка с Олей выходят на край Ямы и замирают. Синекольский изумленно присвистывает.

– Не понял! А где буфет?

Их корабль, придавливавший массивным деревянным телом груду мусора, исчез, словно преодолел силу тяжести и взмыл за облаками следом.

– Белка! У нас теплоход украли! Это что, месть провидения за сраный косяк? Да подавитесь им, суки!

Оля не слушает друга. Она делает два шага к обрыву, и ее ошпаривает чудовищной догадкой.

– Дима, – говорит она и не идет дальше. – Дима.

– Оль, ты чего?

Он еще не понял. В отчаянной надежде, что ее предположение – ошибка, Оля все-таки перелезает через груду мусора, перегибается вниз и зажимает рот рукой, сдерживая крик.

Внизу, на дне Ямы, виден буфет. Сверху он выглядит не то черным колодезным провалом, не то лифтовой шахтой в ад.

Из-под него торчат две тряпичные ноги в белых туфлях и форменной юбке.

Похороны Пудры превращаются в событие городского масштаба. Главная улица забита горестно шаркающей толпой. Вся школа, от первых до десятых классов, провожает Маню. Учителя беззвучно рыдают, завуч едва не теряет сознание, и ее приводят в чувство нашатырем. Биологичка – единственная, кто не проронил ни слезинки. Среди скорбящих немедленно расползается слух, что она заперла Шаргунову в лаборатории наедине со

скелетом. Искусственно подогреваемое горе не прощает сдержанности.

На кладбище безветренно и ясно. В воздухе застоялась сладость, отдающая гнильцой. Вокруг могилы столько цветов, что в них можно утонуть.

– Во ритуальщики-то наварились, – шепчет Синекольский. – На год вперед.

Гроб белый, как рояль, такой же шикарный и недоступный для русминского захолустья. Говорят, его по распоряжению главы администрации привезли из райцентра.

Галина театрально рыдает и пытается броситься в могилу.

Старуха Шаргунова не издает ни звука.

Открытый гроб опускают на землю, и все ощущают неловкость. Облик Зои Шаргуновой буквально вопиет о том, что произошла ошибка, что это она должна лежать в деревянном ящике, а не ее четырнадцатилетняя внучка. Маню накрасили, завили ей волосы, и в пышном венке из искусственных цветов, прикрывающем страшную рану на голове, она выглядит даже лучше, чем на цветной фотографии, увеличенной из школьного альбома.

– Огромная потеря... нельзя допустить...

Глава администрации говорит по бумажке прочувствованную речь о всеобщей ответственности взрослых перед детьми.

– ...наше будущее... деды воевали, чтобы отстоять нашу землю для них...

Это не прощание с усопшей, а ритуал избывания вины. Они были недостаточно внимательны к Мане, слишком злы и черствы; они не любили бедняжку, – и вот она мертва.

– ...золотой звездой зажжется в памяти наших сердец...

Смерть вознесла Маню на недостижимую высоту. Зыбкий, неуверенный миф затвердел и обрел непоколебимость могильного надгробия.

За Олиной спиной разбегаются шепотки.

– ...вечером... одна...

– ...может, искала чего в мусоре. Глупенькая же. А тут на нее...

– ...никто ведь и не додумался...

– ...владелец-то кто?

– ...разве признается...

Обсуждают втихомолку кощунственную версию случившегося. Возможно – только возможно! – что трагедия не была случайной. Кто-то мог столкнуться буфет с края оврага, пока Маня, устав бродяжничать,

дремала в грудах старья и хлама. От нынешних подростков всего можно ожидать...

– ...хулиганили...

– ...будет поклеп-то возводить...

Оля смотрит на папу. Папа стоит на другой стороне могилы, в группе мужчин, замкнув лицо, будто на замок, тем же выражением сосредоточенной скорби, что и его товарищи.

Его рубашка помята, а у пиджака загнулся лацкан. В ботинки въелась грязь. Он ничем не отличается от жителей Русмы.

Когда Оля думает об этом, ей кажется, что безумие подкрадывается к ней на мягких лапах и нежно трогает ее за плечо.

Он бил маму.

Спал с Олиной одноклассницей.

Убил ее.

Но Оля слышит вкрадчивый шепот безумия лишь тогда, когда смотрит на его мятую рубашку с оторванной пуговицей.

Есть нечто ужасно неправдоподобное в этой обыденности зла. В том, что он так же курит, как и все остальные, и так же снимает с вешалки неглаженую рубашку, так же растерянно крутит в пальцах отлетевшую пуговицу и в конце концов сует ее в карман.

Оля не может понять, как человек, совершивший все то, что сделал ее отец, может так легко сходить за своего в группе обычных людей.

Отец соблазнил Маню Шаргунову, купив за плитку шоколада, а потом, испугавшись разоблачения, убил ее. Оля сама подсказала ему способ.

Как он заманил Пудру в Яму?

Пообещал что-то еще более соблазнительное, чем конфеты? Глупая девчонка не заподозрила подвоха. Она пришла, он спустился с обрыва и ударил ее по голове чем-то тяжелым.

Настоящее орудие преступления никогда не найдут. Для этого отец слишком умен.

Расправился ли он с ней с одного удара? Или добивал, пока она лежала, скрючившись, у него под ногами?

Оля знает, что он сделал потом. Его огромной физической силы хватило на то, чтобы сдвинуть буфет, и тот покатился, набирая скорость, по склону оврага, пока не смял встретившееся на его пути человеческое тело, как очередной мусор.

И вот теперь он пришел на ее похороны.

«Идиоты мы, – сказал Синекольский потом, когда они ушли на окраину посёлка. – Надо было догадаться, что он ее убьет. Если бы Пудра

разболтала, что они... ну, того-этого... его бы посадили. А с теми, кто насилует малолеток, на зоне знаешь что делают?»

Оля не знала, и Димка ей рассказал.

«Мы должны были догадаться», – повторил он.

Но как можно догадаться, что твой отец – убийца?

Как вообще догадываются о таком?

Оля спросила у Синекольского, и тот хмыкнул. Левая половина его лица скривилась. «Ну, он мамку твою лупцует будь здоров».

Бьет, да. Но не убивает же.

«Еще Аделаида», – добавил Димка, помолчав.

Оля могла бы сказать, что между смертью человека и голубя есть разница. Но промолчала.

И потом, даже если бы они догадались... У них не было доказательств. Плед – единственное свидетельство, что сцена на чердаке им не привиделась, – исчез. Пудра мертва. Кто поверит двум подросткам, возводящим поклеп на уважаемого человека?

– Про меня скажут, что я нервический, – согласился Димка. – А про тебя – что ты решила папане отомстить, заступиться за мамку, которой от него достается. Вот и наврала с три короба. Знаешь, что после этого с нами сделают? Про тебя вообще молчу, ни тебе, ни матери жизни не будет. А меня бабаня в детдом какой-нибудь сдаст, она на днях грозилась.

– А она правда может? – Мысли Оли на минуту переключились с отца на Димкины беды.

– Без понятия. С одной стороны, родители у меня есть. – Это «с одной стороны» сказало Оле все о том, как он в действительности напуган. – С другой, наведываются раз в год... Не знаю, в общем. И узнавать не хочу.

Они замолчали.

– Белка, – решившись, позвал Димка. – Слушай... А мама твоя... она в курсе?

Оля горько рассмеялась. Мама? Милая мама, уверенная, что отец заботился о Пудре по доброте душевной? Мама, сочувственно обнявшая его, когда пришло известие о гибели Мани?

Мама живет от побоев до побоев. Мама старается сделаться все незаметнее, что не так-то просто с ее габаритами. Мама оправдывает своего мучителя: *я действительно зашла в ванную когда он брился ты же знаешь как папа этого не любит это моя вина нет-нет уже почти не болит...*

В курсе ли мама!

Смех перешел в хохот.

– Она... ха-ха!... как же, в курсе!... Если бы узнала... ха-ха-ха!... сказала бы... ха-ха-ха!... что папу эта глупая девочка довела!... а-ха-ха-ха!... конечно, довела! давала не с той стороны!..

– Белка, перестань!

– Платъице у нее!.. В цветочек! – выкрикивала Оля. – Кудри... ха-ха-ха!... на пиво! Завьет, а он такой: «Отчего они не вьются у порядочных людей!» А она: хи-хи-хи! Коленька, как ты смешно шутишь! Ха-ха! Правда, очень смешно! Кудри вьются, кудри вьются – знаешь у кого?

– Белочка, ну прости!

– Супчик ему! Ха-ха! Оладушки жарит попышнее! Папа же похудел! Так расстроился из-за этой трагедии!

– Тише, тише.

Димка с силой обнял ее, прижал к себе и держал, пока Олины истерические всхлипы не стали затихать. Она долго икала, уткнувшись в его футболку, не понимая толком, что с ней случилось.

– Ну, все, все, – бормотал до смерти перепуганный Синекольский. Он впервые видел такую истерику. Белка всегда собранная, настороженная, точно партизан в тылу врага. Даже смеется негромко, словно опасается, что ее кто-нибудь отыщет по голосу. А тут дергается так страшно и резко, будто ее прошивает пуля за пулей. И губы побелели.

– Брось, не реви, – уговаривал он. – Все наладится. Честное слово, Белочка! Все будет хорошо. Плохое уже закончилось, понимаешь ты?

Оля всхлипнула в последний раз и кивнула. Страшное напряжение последних двух суток понемногу отпускало ее. Она чувствовала себя так, будто слезы растворили все твердые составляющие ее тела и она стала бескостной. Медузой, прилепившейся к чахлой Димкиной груди.

– Прости, – прерывисто выдохнула она.

– Дура ты, Белка!

– Я тебе всю футболку соплями измазала.

– Да у меня постоянно девки на груди рыдают, – скромно ответил Синекольский. – Я привык.

И когда она слабо улыбнулась, мысленно сказал себе, что он молодец.

Как ни странно, Оля тоже думала, что все наладится. Вся эта история дошла до самого дна, и теперь они просто вынуждены подниматься обратно, потому что дороги в другом направлении здесь нет.

Что может быть хуже убийства!

Она так и не поняла, догадался ли отец о том, что ей все известно. Оставаясь наедине, они почти не разговаривали. Зато в присутствии матери он становился с ней преувеличенно ласков и оживлен. Называл Лелькой, подтрунивал, расспрашивал о том, как прошел день.

Сперва эта тактика ошеломила Олю. После хладнокровного признания на чердаке, после его слов о том, что отныне она ему враг, девочка ожидала чего угодно, кроме его внимания. Однако постепенно ей открылось, что это притворное дружелюбие куда хуже бойкота.

Отец ее поймал. Прижал рогатиной к стенке, и некуда Оле дернуться – ни влево, ни вправо.

Рогатина называлась «Не огорчай мать».

Оля вынуждена была подыгрывать. Скрепя сердце, она улыбалась отцу и краем глаза ловила радостную улыбку мамы: как чудесно, что ее муж и дочь находят общий язык! «Не в каждой семье близкие так любят друг друга», – заметила однажды мама. Поймала Олин взгляд, упавший на фиолетовые пятна, расплзавшиеся по ее запястью, и торопливо одернула рукав.

Иногда Оле казалось, что отец с ней играет. Развлекается, точно кошка с мышью, то подбрасывая ее вверх, трепещущую и перепуганную, то снова прижимая к земле одним когтем. Единственный аргумент, заставлявший ее сомневаться в собственном предположении, заключался в том, что это было *слишком* *изощренное* издевательство. Ее отец до такого просто не додумался бы.

А может, и додумался бы.

Она ведь ничего о нем не знает.

Иногда выпадали совсем плохие дни. Дни, когда его улыбка выглядела особенно ласковой, а обращение «Лелька» звучало теплым и искренним. Дни, когда ей страстно хотелось верить, что его заигрывания – не понарошку, а всерьез. Он пробует найти с ней общий язык! Он раскаивается в том, что совершил! Отец изменился! А что он по-прежнему бьет маму, так это срывы, они бывают у любого!

Оля жадно всматривалась в родное лицо. Нос с горбинкой, курчавая шапка волос, тонкие губы... Обычный человек. Быть может, слишком красивый – высокий, широкоплечий, мускулистый. Но ведь нет ни одной черты в его облике, указывающей на то, что он действительно совершил все эти чудовищные поступки!

Что, если они ошиблись? И смерть Пудры – всего лишь ужасное стечение обстоятельств? А связь с Пудрой... что ж, Маня заманила его, а он

не смог противиться зову плоти.

Когда Оля повторяла про себя взрослые слова «зов плоти», совершалась магия: отец становился как бы непричастен к произошедшему на чердаке. Словно дух его воспарял и держался поодаль, пока плоть удовлетворяла свою похоть.

Сколько раз она была близка к тому, чтобы поверить в это объяснение! Ее разрывало от желания обнять отца. Умолять его о прощении за свои беспочвенные подозрения. Плакать у него на груди, чтобы он гладил ее по спине и утешал, как Пудру.

И каждый раз ее останавливало одно-единственное воспоминание. Вернее, звук – он раздавался в ее голове, словно кто-то посторонний включал кнопку.

Хруст сломанной голубиной шеи.

Звук действовал на нее сильнее оплеухи. К оплеухам Оля привыкла. К хрусту так и не смогла. Мысли резко прояснились, словно в голове распахивалось окно и ледяной ветер врывается внутрь, мгновенно выстужая душную комнату.

Дура, безжалостно говорила себе Оля. Уподобляешься матери? Любви хочешь, ласки? А как он Пудру полюбил, помнишь? А как Аделаиду приласкал? Не смей, не смей ему верить!

Через пару недель после похорон Мани отец вернулся со своей традиционной пьянки раньше обычного. Мама не было дома. Оля разогрела щи, нарезала хлеб. Выставила на стол сметану в стеклянной розетке: папе нравится, чтобы было «как в ресторане».

Отец вошел, слегка пошатываясь.

– Батю встречаешь! – умилился он. – Хозяйственная ты моя...

Оля не ответила.

– Вот у Левченко жена – прошмандовка. – Отец ухватился за косяк. – Другой бы что? До красного поноса бы ее... Чтоб ссала с кровью! А Витька... – Он обреченно махнул свободной рукой. – Тьфу! Плотва, рыбешка беззубая! Рыбы-бы-бы-бешка! Бешка... Бяшка... Баран!

Он засмеялся было, но сразу стал серьезным.

– С Натахой все не так... Как же мне с женой повезло, Лелька! Я сейчас пьяненький, я тебе правду скажу. Такой бабы, как Наталья, никогда у меня не было!

Оля положила справа от тарелки ложку, слева нож. Отец не пользуется ножом, но если забыть про него, взбесится. «Сервируй как человеку, а не как свинье!»

Он сделал два шага к столу и вдруг накрыл своей ручищей маленькую Олину ладонь:

– И ты, Лелька, цени мамку! Хорошо, что ты девчонка. От девчонок матерям больше проку. Сыновья уходят, а девки при матерях до старости, хоть даже и замужем. Ей ведь тяжело со мной приходится... – Он опустил голову, и Оля с изумлением увидела, что по щекам его текут слезы. – Обижаю я ее, Лель. Сам себя ненавижу. Убил бы себя, если б мог, да кишка тонка. Веришь, Лелька? – в хриплом голосе прорезалось страдание. – Руки бы наложил, лишь бы не болела через меня ласточка моя! лишь бы не плакала!

Он всхлипнул и вытер лицо рукавом.

– И ты прости меня... Нехороший я человек, правда. Дурной! Господи прости, грехов сколько... Но люблю ведь вас обеих. Люблю – сил нет! Душу продам за вас! Все отдам, брюхо себе вспорю и кишки на прилавок выложу – нате, берите, только девочек моих не обижайте! И еще смеяться буду, Лелька! От счастья! Не совсем, значит, пропащий человек Николай Белкин!

Из груди его вырвалось рыдание.

– Прости меня, Лелька! Только слово скажи! Вижу ведь, что носишь на душе плохое. Не мучь ни себя, ни меня.

Он поднял на нее глаза, прошитые красными ниточками сосудов.

Оля замерла, боясь пошевелиться.

Отец поднял ее руку, поцеловал и благоговейно прижал к своему пылающему лбу. Мучительно сведенные на переносице брови дрогнули.

«Папочка, это ты меня прости!»

Эти слова едва не сорвались с ее губ. Несколько секунд лишь призрачная преграда отделяла ее от того, чтобы броситься с плачем на шею к отцу, – нечто вроде дымки, неуловимо размывающей его черты, как если бы она смотрела на него через стекло, запотевшее от дыхания. Сквозь эту дымку отец чудился великаном: страдающим, искалеченным, терзающимся собственным несовершенством – и добрым, бесконечно добрым.

Оля не сразу поняла, что плачет.

В этот момент в ее голове раздался хруст.

Дымка сгустилась и затвердела.словно на простыне, натянутой перед проектором, на ней замелькали увеличенные цветные кадры: долговязый птенец с неестественно вывернутой шеей; Димка, беззвучно трясущийся в углу чердака; пустая коробка; лебеда, клонящаяся к холмику свежевскопанной земли.

«И нет ни печали, ни зла, ни гордости, ни обиды. Есть только

северный ветер...»

Оля осторожно высвободила руку и сделала шаг назад.

Отец постоял, словно не понимая, что произошло. Затем медленно выпрямился.

– Брезгуешь, значит? – с безмерным удивлением протянул он. – Папкой родным брезгуешь?

И вдруг ухмыльнулся.

Это выглядело так, словно папино лицо было натянуто на череп другого существа, и оно, это существо, впервые попробовало гримасничать, осваивая чужую кожу. Сначала дернулся левый угол рта, за ним симметрично подтянулся правый. Верхняя губа поползла вверх, открывая зубы. В нос девочке ударила сивушная вонь.

– От ты сучка! – ласково сказала существо.

Оля оцепенела.

– Я тут перед ней выкаблучиваюсь. Из кожи вон лезу. – Существо покачало головой. – А она лапками дрыгает. Паскудина!

Отец – то, что она считала своим отцом, – шагнул навстречу. Из черных провалов его глазниц на девочку уставилась омерзительная тварь, безжалостная и глумливая. Запах стал невыносим.

У Оли вдруг разом заложило уши. Отец что-то говорил, но она видела только шевеление его губ и влажный блеск языка. Он то и дело облизывался.

Девочка мотнула головой, и глухота прошла.

– Не хочешь, значит! – вкрадчиво констатировал отец. – Ну, как знаешь. Вольному воля. Потом не жалуйся.

Он сел за стол и принялся жадно хлебать остывший суп. Словно не было ни его рыданий, ни разговора, ни почти удавшейся попытки перетянуть Олю на свою сторону.

Девочка постояла, глядя, как шевелится что-то под кожей на его шее, когда отец широко разевает рот. Затем неслышно попятилась, не поворачиваясь к нему спиной.

Зайдя в свою комнату, она прикрыла дверь и хотела распахнуть пошире окно, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Но тут перед глазами взвихрились сотни микроскопических мушек, и Олю накрыла темнота.

Катерина

Сегодня я целое утро крашу ногти. Из алого в зеленый, из желтого в

перламутровый – затем снимаю лак и начинаю все заново. Яркие, как цветы, флакончики я ukrала у Мины. Отец дарит их ей каждый раз, когда... Впрочем, нет. Отец дарит их ей – и больше ни слова.

На это бессмысленное занятие я потратила несколько часов. Но оно успокаивает, как все ритуалы.

Старуха учила меня, что работа должна быть ритуалом. Тщательно вымыть палитру, следя за потеками растворяющейся грязи – кровью неродившихся картин. Выдавить из тюбика жирных гусениц, знаменующих новую жизнь, – киноварь, кадмий красный, кадмий оранжевый... Рядом золотистая охра. Жженая умбра. Мой любимый зеленый кобальт. Синий кобальт.

Любая работа должна начинаться с ритуала, повторяю я за ней. Как дом начинается с порога, как близость начинается с поцелуя, как обед начинается с молитвы, – а впрочем, в нашем доме давно никто не молится, а если молится, то спаси меня провидение от этих богов.

Я крашу ногти. Сегодня это мой ритуал. Очищающее действие. Можно было бы заваривать чай с долгими церемониями или раскладывать карты... Но я художник. Я привыкла *красить*. Поэтому я крашу себя – в алый, зеленый, золотой, перламутровый.

Никто не видит результата моих трудов. Лишь кот наблюдает за мной с подоконника с нескрываемым осуждением. Он не понимает, зачем я трачу время на то, что дурно пахнет.

Вы знаете, что в пантеоне живых существ коты находятся возле мелкой нечистой силы? Это правда. Лешие, брауни, лепреконы, гоблины, кошки... Все они одной природы. С той лишь разницей, что коты всегда на стороне хозяев. Даже самые глупые и подлые из них. А таких предостаточно, уж можете мне поверить.

Вспомнить хоть старую одноглазую Туми, которая вечно отиралась возле камня под сосной. Впрочем, нет. Мы не будем говорить о камне под сосной.

Я крашу ногти, хотя мне пора что-нибудь предпринять. Отвести этого человека от наших троп, от нашего дома.

Он пришел вчера. Я догадывалась, что к нам явится кто-нибудь из ищеек – да что там догадывалась, я *видела* опасность, как тогда, на свадьбе Георгия и Лизы.

Однако я не ожидала, что он будет именно таким.

На самом деле их было двое. Второго можно не принимать в расчет, хотя на людей он наверняка производит впечатление: огромный, мощный, выше даже Андреаса и шире его в плечах. Он казался медлительным, но

лишь до тех пор, пока не услышал мои шаги и не обернулся. Обернулся? Я едва уловила его движение! Это меня испугало. Какая огромная стремительная сила... Так двигаются большие звери. Они выглядят неповоротливыми, а когда вы понимаете свою ошибку, обычно уже поздно что-то исправлять.

Но завидев того, кто привел его, я сразу забыла о верзиле.

Утром он ходил вдалеке, я не могла рассмотреть его лица. Вблизи первый же взгляд подсказал мне, что дело плохо.

У него серые глаза, обманчиво мягкая речь, обманчиво юные черты – он весь состоит из лжи и притворства. Издалека я решила, что он совсем мальчишка; ха, как же!оборотням и ведьмам дано менять возраст по своему желанию. Я изо всех сил старалась не встречаться с ним взглядом. Меня кольнуло ужасное предположение – что, если он такой же, как я? Тогда он сумеет все угадать. И про пещеру, и про валун под сосной, и про набор лаков, которых у Мины столько, что она не замечает, когда я краду десяток-другой. Ее полка над столом вся уставлена флакончиками. Мне страшно смотреть на них.

Я утащила за собой сестру, чтобы она не проболталась.

А вечером отправилась в лес с дарами.

Отец как-то раз застал меня за этим занятием. Я всегда оставляю маленькие подношения на полянах. Еще я бросаюдохлых птиц в море – оно питается гниющей плотью, рассасывает ее, точно леденец, и мертвая чайка становится живой волной, белой пеной, зелеными брызгами. Когда я умру, мне хотелось быть, чтобы меня скормили ему.

Каждый день я ублажаю мелких невидимых духов моих холмов. Одни любят свежую плоть – для них у меня всегда наготове капканы, в которые частенько попадают кролики. Другим довольно песен, которые выстукивают сухие кости на ветру. Они собираются под ними вечерами и внимают их плачу так жадно, что подкравшись, можно различить рогатые тени на траве. Третьи ждуть молока, хлеба и меда. Только без соли! Нельзя рассыпать соль в лесу, или наживешь врагов. Я выпекаю пресную лепешку каждую пятницу и раскладываю куски на пнях.

В тот день отец пришел за мной следом и наблюдал, что я делаю. Никогда не слышала, чтобы он так хохотал. Андреас растоптал моих хранителей – всех до одного, найдя их с невообразимой легкостью, и раздавил в пыль косточки, над которыми я нашептала заговор и подвесила на соснах.

– Ну давай, прокляни меня, – со смешком сказал он, глядя в мое искаженное от гнева лицо. – Может, хоть это поможет тебе заговорить?

В тот день я впервые ощутила, как огромна его сила. Не в физическом смысле, хотя Андреас – могучий человек. Но он так легко подавил мою волю, что я едва удерживалась от слез. Мои маленькие фигурки! Мои мертвые птички! Мой лес, оставшийся без подношений!

Я смотрела, как отец уходит прочь, и думала, что у меня никогда не получится ему отомстить. Никогда!

А потом он стал спускаться вниз по тропе и поскользнулся. На совершенно сухой земле, не видевшей дождей две недели. Он поскользнулся, сломал ногу и лежал, вопя от боли, пока вся семья не сбежала на его крики. Мы втроем тащили его домой, а он ругался и орал, чтобы от него убрали проклятую девку, которая его сглазила.

Я стираю лак и иду в лес. Это моя земля. Мои холмы. Никто не отыщет здесь того, что спрятано, если я этого не захочу.

«Куриный бог» ложится в землю; он продырявлен морем, выеден насквозь злой волной. Кто проходит над ним, проваливается в яму и ползает лабиринтом барсучьих нор.

Перья глухаря воткнуты в траву. Их зеленое шуршание сбивает с пути, а череп с клювом, точно компас, указывает в одном направлении – прочь отсюда, туда, откуда пришел.

Больше всего сил я вкладываю в нимфу. Она мало похожа на богиню лесов, но ее облик не важен. Нимфа рождается в моей мастерской; в голове ее, внутри глиняного черепа, спрятан клочок кошачьей шерсти – кошкам ведомы все пути; в брюхе – сонная петля, сплетенная из стеблей дурмана и шалфея. Закончив, я накалываю палец иглой и обмазываю кровью ее живот. Ни одно божество не может обрести власть без крови.

Я оставляю свои дары лесу там, где из земли сочится вверх особый ток. Возле них зеленее трава, и цветы пахнут острее и слаще, но люди неосознанно стремятся уйти из этих мест, а звери и вовсе не подходят близко. В лесу любой зверь умнее человека.

Потом я возвращаюсь домой.

Несколько часов рисую купюры. У меня получается все лучше и лучше. Их не приняли бы ни в одном магазине, но в пачке они будут почти неотличимы от настоящих. Андреас каждый вечер проверяет свое сокровище – это так же точно, как то, что он расчесывает своих коз прежде, чем расчесать и заплести волосы Мине.

Вечером я снова открываю свой дневник.

В нем сто двадцать восемь чистых листов. Я начала вести его сто двадцать восемь дней назад.

Сегодня клеиваю новый лист. Сто двадцать девятый. На нем не появится ни одной строки.

Когда-то я пыталась переводить в слова то, что вижу, слышу и чувствую. Но очень скоро поняла, что множу вранье.

Понимаете, они ведь действительно были здесь – фавны и речные нимфы, и всегда пьяный Пан со своей флейтой, и раскосые дриады с шелестящими голосами. Вся эта земля испещрена невидимыми следами богов, а в воздухе вечно живет их дыхание. Почему они исчезли? Конечно, они ушли, но кроме того, миф съел их, растворил их, как море растворяет мертвые тела.

Многие думают, что, рассказывая истории о прошлом, они сохраняют память. Это правда лишь отчасти. Сохраняется очертание прошлого, его тень, но люди, реальные люди исчезают, разъеденные мифом, точно кислотой, и буквы разбегаются по странице, растащив их плоть и кровь.

Живые остаются в памяти. Мертвецы остаются на бумаге.

Я презираю буквы. Нет ничего более лживого. Само намерение записать свою жизнь уже вздорно: что ты знаешь о ней, ты, застрявший в сегодняшнем дне, как рыбка в сети рыбака? Вокруг тебя плещется море, а ты болтаешься, стиснутый нейлоновой петлей, и думаешь, что это и есть твоя жизнь.

Меня все время возвращает к морю. Что же поделать, если оно – и начало, и конец, и путь, которым мы скоро пройдем.

Паром из города уходит дважды: в девять и в час дня.

Лучше бы успеть на девятичасовой. Тогда не придется искать жилье ночью.

Но здесь уж как повезет.

Только сначала мне нужно закончить с купюрами.

Паспорта уже нарисованы. С обложками я поступила совсем просто: купила в городе готовые, подобрав их под цвет тех, что спрятаны у Андреаса в шкафу. Мои копии зарыты в лесу: хранить их дома слишком опасно.

Завтра я перенесу их в пещеру.

У меня целых две тайны. Это слишком много. Если я не удержу хоть одну из них, меня убьют.

Глава 7

Греция, 2016

1

Илюшин поднялся рано утром и бесшумно собрался, стараясь не разбудить напарника. Бабкин так и спал за столом, где провел целую ночь с ноутбуком Ольги Гавриловой, пытаясь добраться до его содержимого.

После рассказа Дорис они опросили всех, кто работал в отеле. Илюшин допускал, что горничная врет. Быть может, Гаврилов обидел ее, или она из тех патологически лживых сочинителей сенсаций, которым важнее искупаться в лучах всеобщего внимания, чем сберечь чужую репутацию.

А внимания Дорис накануне хватило.

Безусловно, ей нравилось, что двое мужчин ловят каждое ее слово. Безусловно, обличительный пафос ее речей подпитывался ощущением принадлежности к угнетаемой группе. «Это проклятый мир, в котором мужчины бьют женщин! – выкрикивала она. – И не только бьют, но и насилуют! Да-да, насилуют!»

С каждым словом в черных глазах разгорался фанатичный огонь. Дорис выглядела так, будто вот-вот начнет скидывать с себя одежду, чтобы спровоцировать Бабкина с Илюшиным и подтвердить свою правоту.

«Мой бывший муж однажды чуть не избил меня. В последний момент он остановился, потому что был трусом! Трусы! Все мужчины – трусы! И насильники!»

Да, Дорис могла быть лгуньей, болезненно озабоченной одной темой.

– Не удивлюсь, если у нее дома хранится пара плеток и хлыст, – шепнул Бабкин.

– Не удивлюсь, если она сама себя ими лупцует.

Но какой бы неприятной ни была Дорис, это не имело отношения к ее свидетельству.

Бабкин с Яном отправились проверять новые показания, и по их озадаченным лицам, когда они вернулись, Илюшин все понял.

Еще две женщины подтвердили слова горничной. В отличие от нее они не придавали большого значения происходящему. «Люди часто дерутся, –

сказала пожилая гречанка, пожимая плечами, – гораздо чаще, чем вы думаете. Здесь скучно. Почему бы не повеселиться?»

«Вы уверены, что Гавриловой было весело?» – спросил Бабкин.

Гречанка снова пожала плечами. «Мне все равно. Чаевые мне оставляла не она, а ее муж».

– Ладно, ссорились, – сказал вечером Бабкин, безуспешно пытаясь взломать пароль к Ольгиной почте. – Это не делает его убийцей. А как тебе заявление, что он нанял нас в приступе амнезии?

Илюшин молча нарисовал на листе бумаги кресло, а в нем желеобразную массу с щелочками глаз. Нет, ссоры с женой не делали Гаврилова убийцей. Но по его словам, они провели здесь безмятежные три недели, наслаждаясь обществом друг друга. Он клялся, что у его жены не было поводов сбегать.

Если это оказалось так далеко от истины, в чем еще соврал им Петр Олегович?

На этот раз Макар захватил с собой две бутылки воды и коробочку сока. В записке, оставленной Сергею, он быстро нацарапал: «Поброжу вокруг. С Гавриловым без меня не общайся».

Он шел по безлюдной дороге и представлял, как восьмого июня Ольга Гаврилова быстро крутит педали, и тапочки, в которых она выбежала из номера, едва не сваливаются с ее ног, и ветер треплет короткие волосы. Полиция прочесывала окрестности, но велосипед не нашла. Значит ли это, что они плохо искали, или что он возник на обочине уже после того, как все уверились в ее гибели?

«Зачем ты ехала к Димитракису?» – мысленно спросил Илюшин.

Нет ответа. Он слишком плохо представлял себе эту женщину. Вернее сказать, совсем не представлял. До вчерашнего вечера ему казалось, что она умная, насмешливая, стойкая, упрямая до твердолобости, никому не позволяющая себя обидеть. Очень увлеченная своим делом, а Макару импонировали люди, влюбленные в свою работу.

Но если Гаврилов ее бил, это все меняло.

Он нафантазировал не ту женщину.

Дойдя до того места, где накануне они нашли велосипед, Илюшин углубился в заросли. Вчера они прочесали окрестности метров на двести вокруг. Ни тапочек, ни разорванной пижамы, ни других улик, на которые рассчитывал Бабкин.

Зачем же он сегодня шарится по этим кустам, обдираясь об можжевельник?

«Возможно, мне это просто нравится».

Илюшин усмехнулся. Да, ему здесь нравилось. Он слушал долетавший издали шум прибоя, и надрывные крики чаек, и стрекот цикад, он вдыхал запах трав, поднимавшийся снизу, как будто мяту, и лавр, и эвкалиптовые листья с тимьяном бросили на разогретую чугунную сковороду. Он улавливал нежную горечь лаванды, хотя ему нигде не встречались ее сиреневые цветки. Кое-где в нос ударял пряный диковатый аромат шалфея.

Макар покружил еще и внезапно обнаружил тропу. Узкая, едва заметная, она определенно вела вверх, под кроны пиний. Он начал подниматься. Очень скоро ему стало ясно, что в действительности заросли, казавшиеся непроходимыми, прошиты непрерывными стежками тайных ходов.

Илюшин карабкался выше и выше. В какой-то момент он утратил не только чувство времени и пространства, но и понимание, зачем он это делает. Он ощущал себя героем сказки, которого ведет за собой разматывающийся клубок. Ему повезло ухватить кончик ниточки, и Макар не собирался выпускать его из рук.

Однако дважды вернувшись к велосипеду, он понял, что ходит кругами.

Это его озадачило. Вот тропа, прямая как стрела – ладно, пусть не стрела, пусть змеиный хвост, но все равно непонятно, как она приводит его обратно.

Он проделал весь путь заново, пытаясь сообразить, где сворачивает не туда, – и, выйдя к исходной точке, расхохотался.

Лес определенно его дурачил.

В четвертый раз Илюшин пошел очень медленно, глядя не вперед, а вокруг и под ноги. Ему попался камешек с дыркой; он поднял его, хотел сунуть в карман, но почему-то выбросил в кусты. Чуть дальше его внимание привлекла сухая птичья кость: череп с клювом, не больше детского кулачка, белый и пустой. Макар повертел находку в руках. Все бы ничего, только как она оказалась в расщелине дерева? Он засунул череп обратно, но повернул его клювом в другую сторону, чтобы смотрел не на тропу, а в лес.

Мимо следующей метки он прошел бы, не помоги ему ветер. В траве, пригнутой к земле, он увидел глиняного человечка. У него было плоское лицо без глаз, рта и носа, и единственная очень длинная рука, растущая из живота.

Ребенок балуется, расставляя по лесу поделки, подумал Илюшин.

Он постоял перед фигуркой. Затем сел. Чем дальше он смотрел в

безликое лицо, тем яснее становилось, что это божок. Он снова потерял счет времени и, кажется, просидел довольно долго, потому что шею успело опалить солнцем. Сознание странно затуманилось. Словно вместо виноградного сока с утра ему подлили вино.

«Надо вернуться в отель», – подумал Илюшин. Смутная угроза исходила от безглазой фигурки. Макар тряхнул головой. Среди скомканных мыслей вдруг отчетливо мелькнул неожиданный образ – куница, бегущая по следу. У нее были широко расставленные полукруглые уши и блестящие глаза.

Этот воображаемый зверек проложил тропу в спутавшейся траве, которой была набита его голова.

«Какое еще вернуться? Ополоумел я, что ли?»

Илюшин, пошатываясь, встал. Все-таки, похоже, напекло затылок! Просиди он тут еще немного, свалился бы с солнечным ударом.

Он помедлил, смутно ощущая, что не сделал чего-то важного. Ладонь сама нырнула в карман, и пальцы нащупали горсть леденцов, которые вручила ему Агата. Макар выложил их перед человечком. Пусть ребенок, который их найдет, порадует. Он наверняка вернется к этой своей... кукле.

Как только горсть конфет рассыпалась перед божком, мутный туман в его голове растаял без следа.

Илюшин вернулся на тропу. Теперь он не следил за поворотами, просто шел и шел, пока за широкими стволами не мелькнула серая стена.

Он нашел дом Катерины.

Продравшись через можжевельник, Макар выбрался на небольшую утоптанную площадку.

Как он и предполагал, отсюда земля Димитракиса была видна как на ладони.

Три теплицы, длинные грядки, сети, развешенные на просушку перед домом. Два сарая, примыкающие один к другому, – похоже, второй был достроен позднее. «Интересно, как он спускает лодки в бухту?» Ничего примечательного или бросающегося в глаза.

Маленькая постройка выглядела более многообещающей.

Дверь была приоткрыта. За ней слабо развевалась прозрачная кружевная занавеска – в точности как в доме у его бабушки, в деревне под Рязанью. Илюшин постучался и, не дождавшись ответа, заглянул внутрь.

Комнатушка оказалась больше, чем он ожидал. Широкий топчан, небрежно задернутый клетчатым покрывалом. Узкий пенал платяного шкафа. Три складных мольберта на деревянных ногах. Стол перед окном

завален карандашами, обрывками бумаги, банками, коробками, пестрыми лентами и мотками бечевки... Другой человек сказал бы, что здесь царит бардак, но Макар угадывал внутреннюю логику в этом нагромождении вещей.

Пахло лаком, скипидаром, травами и древесной стружкой. Под балками покачивались десятки маленьких высушенных букетиков с крошечными желто-белыми цветками.

Больше всего его поразили стопки книг по углам. Они высились едва ли не до потолка. Корешки их были истрепаны до дыр. Он снял несколько верхних и с изумлением обнаружил среди них Библию на русском языке и «Котлован» Платонова. Некоторое время Макар осмысливал, откуда они могли здесь взяться, пока не сообразил: отель! Кто-то из отдыхающих оставил их в «Артемиде». Любопытно, каким путем они попали в этот домик? Скорее всего, притащил Ян.

Под высокой кроватью желтели фанерные ящики. Илюшин беззастенчиво обыскал их – они оказались забиты тубами с краской и разобранными подрамниками.

Здесь ему больше нечего было делать. Макар вышел, укрылся за можжевельным кустом, наблюдая за домом Димитракиса.

Под деревом раскачивалась на качелях старшая дочь Андреаса. До него доносился громкий визгливый смех.

В дверях показался рыбак. К нему немедленно побежали непонятно откуда взявшиеся козы. Мина прыгнула с качелей, упала и заревела во все горло.

Андреас обнял дочь и повел на крыльцо, явно приговаривая что-то утешительное, потому что плач прекратился.

Илюшин пригляделся – в окне маячило лицо. Он не сомневался, что это старуха, жена Димитракиса.

Рыбак, кажется, прикладывал к ушибленной коленке носовой платок. Роза смотрела на них через стекло, но наружу не выходила.

Илюшин выждал еще немного, затем осторожно поднялся и, пятясь, скрылся в лесу.

Под ногами валялись шишки с растопыренными чешуйками. Земля была выстлана ржавой хвоей. Следуя чутью, он выбрал наименее утоптанную тропу и пошел, неуклонно удаляясь от дороги.

Катерина, Катерина...

Вчера вечером Агата дополнила короткое описание Яна. Да, сказала она, бедная девочка не говорит, но проку от нее едва ли не больше, чем от всех остальных в ее семье. Она рисует – море, лес, деревню... Туристы

покупают ее мазню. Хотя если бы кто спросил Агату, там сплошные пятна зеленого и синего цвета, даже ее пятилетний племянник мог бы намалевать не хуже. В городе есть сувенирная лавка, и старый Персакис берет их у нее пару раз в месяц. Агата видела своими глазами: некоторые картинки даже стоят в витрине! Хотя они совсем маленькие, не больше пары открыток в ширину.

Поэтому она не помогает отцу на рыбалке. Бережет руки. С ним ходит только Мина, его любимица. Изредка, в хорошую погоду. Дай бог здоровья Андреасу! Он заботится о дурочке так, как не всякий заботился бы об умнице.

Тропа вывела Макара на светлую поляну. С краю росла кряжистая сосна, бросая тень на небольшой валун неподалеку. Перед ним в траве белела россыпь мелких цветов – точно такие же Макар видел в домике Катерины.

Илюшин подошел к камню, присел на корточки, сорвал цветок. Ему показалось, что на серой изъеденной поверхности что-то нацарапано, и он наклонился посмотреть, но тут за спиной послышался шорох.

Он обернулся.

Напротив стояла Катерина.

– Калимера, – осторожно сказал Макар.

Вчера он не успел толком разглядеть ее. Сейчас было видно, какие синие у нее глаза – очень яркие, как у отца, – и совершенно птичий тонкий нос с небольшой горбинкой. По шее вниз сбегали выпуклые голубые венки, и смуглые руки тоже были исчерчены их ультрамариновыми ручейками, словно по ее жилам текла не кровь, а краска.

И еще она оказалась совсем маленькая, чуть выше его плеча. Неулыбчивая, неуловимо странная – даже если бы он не знал о ее немоте.

– Она здесь была. Я ее видела.

Илюшин не сразу понял. А когда понял, ему показалось, что его все-таки хватил солнечный удар. Он молча смотрел на девушку. Пласт знаний, обретенных со вчерашнего дня, треснул и развалился на куски.

– Она здесь была, – медленно повторила Катерина. Голос у нее оказался хриплый, низкий. – Женщина. Русская. В тот день, когда она исчезла.

– Где была?

– Внизу. На дороге. Ее там встретили.

– Кто встретил? – Илюшин задавал вопросы совершенно механически. Происходящее совершенно вышибло его из равновесия. Когда-то у Стругацких он прочитал: «Он ощутил какое-то беспокойство или даже

страх, словно в лицо ему рассмеялась кошка». Оценить в полной мере точность этой метафоры ему удалось только сейчас.

– Машина. Большая. Черная. Не знаю, кто внутри. Мужчина, да, но кто-то еще? Нет, не знаю.

Девушка говорила чисто, как Ян. Макар ощутил себя стеной, в которую ударяют теннисные мячики ее слов и отлетают обратно.

– Так, – сказал он. – Стоп. Катерина!

– Это было рано утром.

– Катерина!

Она замолчала. Илюшин вытащил бутылку, опустошил ее в несколько больших глотков, а последним умыл лицо. Стало легче, но ненадолго.

– Ты говоришь, – сказал он.

Девушка пренебрежительно дернула плечом.

– Ты говоришь по-русски!

Она невозмутимо смотрела на него, дожидаясь, пока он придет в себя.

– Какого черта? – риторически спросил Макар. – Почему все убеждали меня, что ты немая?

Катерина покачала головой:

– Не говорю. Очень редко.

– В крайних случаях?

Короткий кивок.

– Хорошо, а откуда ты знаешь русский?

Снова пожатие плеч. Она определенно не придавала этому никакого значения.

– Старуха. Жила с нами. Научилась.

– Роза?

В синих глазах мелькнуло что-то недоброе.

– Роза – моя мать. Не говорит по-русски. Не любит говорить совсем.

– Да, я заметил, – пробормотал Илюшин. – Катерина, прости, но я не понимаю... Ты научилась языку у женщины, которая жила с вами? А где она сейчас?

– Умерла. Она была старая, в голове песок. Послушай, ты ищешь русскую. – Катерина явно пыталась вернуть его на рельсы, с которых начался разговор. – Я видела ее, она уехала, живая.

Илюшин отошел в тень дерева, сел и прижался спиной к стволу. Катерина, поколебавшись, села перед ним по-турецки, положила руки на загорелые колени. Она была в той же пестрой рубашке, что и накануне. Ткань выглядела так, словно об нее годами вытирали испачканную кисть.

– Можешь с самого начала рассказать? – попросил он, обтирая лоб

влажной рукой.

– Я спускалась утром к дороге. Коза убежала, я подумала, она внизу. Там, где... – она ненадолго запнулась, подбирая слово, – ...роща. Увидела машину. Стояла в тени. Я не стала идти ближе, подождала.

Макар представил, как настороженно замирает девушка, выбежав из леса, при виде чужой машины.

– Женщина приехала на велосипеде. Бросила его в кусты. Села внутрь, уехала.

– Ты видела машину раньше?

Катерина отрицательно покачала головой.

– Запомнила номер? Хоть какие-нибудь цифры? Буквы?

– Нет. Не видела, было далеко.

– А водитель?

– Мужчина.

– Ты его узнала?

– Он совсем чужой. Не из деревни. Не из отеля. Турист? Я не отвечу.

– Можешь его описать?

Она задумалась.

– Плохо было видно, далеко. Темные волосы, рубашка с коротким рукавом.

– Толстый, худой?

– Обычный. Такой, как ты. Как я.

«Будем считать, без особых примет».

– Ты говорила об этом полиции?

Катерина пожала плечами, и он понял, что вопрос глупый. Конечно, с ней никто не стал беседовать. Диковатая немая девочка...

– А мне почему рассказала?

– Ты не скажешь людям.

Он не сразу догадался. Затем сообразил: она отчего-то уверена, что он сохранит ее тайну.

Девушка облизнула пересохшие губы, и Макар спохватился:

– Черт! Катерина, прости, я идиот!

Он торопливо протянул ей вторую бутылку. Ее лицо вдруг осветилось насмешливой улыбкой, и Макар снова растерялся: что он сделал не так? Но Катерина сняла со спины сумку – он только сейчас заметил, что у нее при себе довольно объемный рюкзак, – и вытащила термос.

– Я всегда ношу с собой. Нельзя без этого. Иначе тебя съест солнце. Солнце любит сухую еду: хрусть-хрусть!

Илюшин машинально кивнул, и лишь минуту спустя до него дошло,

что это была шутка. Он покосился на Катерину. Она улыбалась, точно маленький ребенок, очень довольный своей остротой.

Некоторое время они сидели в молчании, отпивая каждый из своей посуды. Это напоминало чаепитие у Мартовского Зайца и одновременно – раскуривание трубки мира. Устанавливался контакт между представителями двух племен, но происходящее отдавало ненавязчивым безумием.

– Как ты будешь теперь ее искать? – Катерина поставила термос перед собой.

– Гаврилову? По машине. Говоришь, она была большая?

– Да. Квадратная. Черная.

– Я попробую найти ее в городе. Сначала отыщу хозяина машины, а через него – эту женщину, которая исчезла. Ты, кстати, не встречала ее раньше?

– Нет. Я не вижу туристов, они сюда не приходят.

– Она хотела фотографировать ваш дом...

Катерина снова пожала плечами – кажется, это был ее любимый жест.

Где-то в лесу над их головами деловито защелкала птица. Девушка расслабленно сидела, водя пальцем по сухой земле.

– Ты сказала – песок в голове, – вспомнил Илюшин, глядя на рисунок. – Что это значит?

– А, женщина. Очень старая, очень. Мысли сыпались наружу, не могла замолчать. Идет – сыплются, стоит – сыплются. Хочет спать и не может, язык шевелится и сам говорит.

Макар подумал, что картина старческой деменции нарисована довольно точно.

– Как ее звали?

– У нее не было имени.

– Так не бывает.

– Бывает, если нет имени, – серьезно возразила Катерина. – Мы ее звали «лала». По-русски – бабка. Бабушка.

– Лала, – повторил Макар. – Откуда она все-таки взялась?

– Приблудная. – Он вздрогнул, услышав это слово, и посмотрел на нее с недоумением, которое она истолковала неправильно. – Это значит – пришла неизвестно откуда.

– Я знаю, что это значит. И вы не пытались отыскать ее родных?

– Ей у нас нравилось. Правда, от нее пахло... Андреас ей построил дом.

– Тот, в котором теперь ты живешь?

– Да. От меня тоже пахнет. Краской, и еще разными... – Она произнесла несколько слов по-гречески, и Макар испытал странное облегчение: все-таки у этой девочки не такой большой словарный запас, как ему показалось вначале. Отчего-то его пугала легкость, с которой она говорила по-русски.

– Лала меня любила. Очень много со мной разговаривала. Рассказывала сказки. Русские сказки очень цветные!

Илюшин не понял, но переспрашивать не стал. Катерина, кажется, совершенно расслабилась и перестала его стесняться. Он боялся спугнуть ее неуместным вопросом. Ее маленькое худое личико при первой встрече показалось ему похожим на старушечье. Однако сейчас он отчетливо видел, что перед ним совсем еще девочка, полуребенок.

– Мы с ней пели песни. У вас такие удивительные песни... как у врагов!

– У врагов? – не выдержал Макар.

– Как будто вы детские враги.

– Враги своим детям? – расшифровал он.

– Да!

– Почему это?

Катерина удивленно вскинула на него глаза.

– Ты знаешь песню про кузнечика?

Илюшин едва не сознался, но в последний момент передумал.

– Не уверен... О чем она?

– Это страшная песня! – без всякой насмешки сообщила девушка. – В траве сидел кузнечик. Он был милый, как огурец. Ты видел огурец?

– Да, встречался пару раз...

– Как молодой огурец, – уточнила Катерина. – Тоненький. – Она подняла указательный палец. – Вот такой. А потом пришла жаба и съела его. Она его не пожалела. Они оба зеленые, кузнечик и жаба, но она жирная и большая, а он маленький и худой. Хрупкий, как старый человек. За ним идет смерть, а он не знает об этом. Не догадывается, что ему остался совсем короткий кусочек жизни. Она сожрет его. Но смерть никогда не наедается досыта. Ей всегда мало! Она поползет дальше, искать новых кузнечиков. Вот о чем эта песня.

Катерина устремила взгляд вдаль, на море. Илюшин посмотрел на ее чистое задумчивое лицо, и внезапно его пробрала дрожь.

– Лала часто пела ее со мной... – добавила она, помолчав. – Но мне не нравилось! Я не хотела так! Я придумала заново.

– Как это – заново?

Катерина почесала нос и вдруг тихонько запела, почти речитативом, едва намечая голосом мелодию:

– В траве сидел кузнечик, совсем как огуречик, совсем как огуречик, зелененький он был! Представьте себе, представьте себе, совсем как огуречик! Представьте себе, представьте себе, зелененький он был!

Илюшин, совершенно замороженный, смотрел на нее.

– Но вот пришла лягушка! – Катерина стала петь громче. – Прожорливое брюшко, прожорливое брюшко, и не нашла его. Лишь травка и цветочки, зеленые листочки и две болотных кочки – и больше ничего!

Лицо ее изменилось. Из него исчезла вся ребячливость. Глаза враждебно сузились, острый подбородок выдвинулся вперед, и она внезапно пугающе напомнила Илюшину Ольгу Гаврилову – на том самом автопортрете, который так удивил Бабкина.

– А маленький кузнечик,

Веселый огуречик!

Веселый огуречик

Бежит, бежит вперед!

Голос ее набрал удивительную силу. Теперь это была отчаянная песня, воинственная песня, с которой армия могла бы идти на врага. Это был гимн, прославляющий торжество жизни над смертью.

– Он будет кушать травку,

Не трогать и козявку!

Не трогать и козявку!

И больше не умрет!

Последние слова она отчеканила с вызовом и изо всех сил хлопнула по земле.

Воцарилась тишина.

– Какая замечательная песня, – придя в себя, сказал Илюшин. – Она гораздо лучше той, первой.

– Да, – с достоинством кивнула Катерина.

– Она понравилась твоей... лала?

– Ку-у-урва! – протянула девушка.

– Что?

– Заткнись, стерва! – Катерина наотмашь мазнула ладонью по воздуху. – Сука!

Она с вызовом взглянула на Илюшина.

– Вот так ей понравилась моя песня!

Макар помолчал.

– Она тебя ударила, – наконец сказал он.

Катерина кивнула.

– Я все равно пела. Никогда больше кузнечик не умер. Он все время был живой, пока эта песня оставалась у меня. Я не отдавала ее старухе. Она злилась очень-очень! Кричала на меня!

С губ ее сорвалось ругательство, которое в любой другой обстановке прозвучало бы чудовищной грубостью. Но здесь его вопиющая неуместность как будто лишала его всякой силы.

– Крутой, однако, нрав был у бабульки, – пробормотал Илюшин. – Катерина, можно спросить? Почему ты не разговариваешь с людьми? Зачем притворяешься немой?

Она поднялась, наклонилась за термосом. Лицо снова стало непроницаемым и отчужденным. Даже глаза изменились, и прекрасный их синий цвет стал оттенком льда, а не моря.

– Им это не нужно.

2

– Вы что, издеваетесь надо мной? – спросил Илюшин.

Эта фраза традиционно принадлежала Бабкину, и оттого Макар злился вдвойне. Это Серега должен был страдать, жаловаться на издевательства и мрачно смотреть исподлобья подобно человеку, которого позвали в гости на шашлыки и водку, а выставили на стол тарелку тертой моркови и напиток «Буратино».

– Что еще за русская старуха? Откуда она вообще взялась?

Агата с менеджером по имени Илиодор переглянулись и одновременно пожали плечами.

Ну да, равнодушно сказали они, жила она здесь... Года два как померла, а может, и больше. Кому какая разница!

– То есть как? – растерялся Илюшин.

– Нет, я слышал, конечно, о греческом раздолбайстве, – задумчиво сказал Бабкин. – Но чтоб настолько...

– Про раздолбайство переводить не буду, – мрачно сказал Ян. – Макар, от кого вы про нее услышали?

– Разведка донесла.

Илюшин был практически уверен, что теперь знает ответ на вопрос, откуда у их переводчика такой уровень владения русским. Должно быть, Ян помогал Катерине ухаживать за старухой. И уж конечно, ему известно о том, что девушка не немая.

Судя по тому, как старательно юноша избегал его взгляда, Ян тоже понимал, где Макар раздобыл новые сведения. Но оба делали вид, что Катерина тут ни при чем.

Она была дряхлая и сумасшедшая, наконец сказала Агата, и ее родственники наверняка были только рады от нее избавиться. Пришла однажды в отель и бродила тут, как привидение, пугая клиентов. Хвала богам, Андреас согласился приютить ее у себя. Все думали, она вот-вот помрет, но греческий климат целителен и благотворен: старушонка протянула раз в десять дольше, чем от нее ожидали. Она не понимает, почему из-за этого столько шума.

– А если у нее остались родственники в России? Дети, внуки?

– Так приезжали бы и искали свою каргу, – с восхитительным бесчувствием заявила Агата. Илиодор горячо закивал.

– Есть что-нибудь еще, что мне нужно знать? – поинтересовался Макар. – Русская община? Монастырь с русскими монахами, которые последние сорок лет обитают в местных скалах? Вы ничего не забыли?

Менеджеры заверили, что все остальное ему известно.

– У меня есть новости, – со значением сказал Сергей.

Они поднялись в свой номер. Ян остался внизу.

На столе стоял открытый ноутбук.

– Ты подобрал пароль, – уважительно сказал Макар.

– Допустим, не сам. Пришлось кое-кого напрячь.

– Рассказывай.

Бабкин сел за стол.

– Большинство писем – от клиентов. Плюс обычная переписка с подругами. Но есть одиннадцать писем со странным содержанием.

– Странным – в каком смысле?

– Пишет мужик. Явно были знакомы раньше. Хочет встретиться и что-то обсудить. Что именно – не объясняет, выражается намеками. Гаврилова ему ни разу не ответила, а если ответила, то не из своей почты.

– Или удалила письма.

– Свои удалила, а его оставила? Вряд ли.

– Как зовут-то мужика, известно?

– Известно. Дмитрий Синекольский. А теперь самое любопытное: последние два года он живет здесь.

– Где – здесь?

– В Греции. Пишет, что сначала путешествовал по Криту, потом по островам, теперь осел на континенте. Последнее письмо датировано шестым июня.

– А после? Тишина?

– Да. Я тебе скомпоновал их вместе и переслал на почту.

– С Гавриловым разговаривал? – быстро спросил Илюшин.

– Обижает! Нет, конечно. Теперь спроси меня, мог ли Синекольский знать, где остановилась Гаврилова.

– Мог?

– У нее страницы в социальных сетях, «Фейсбуке» и «ВКонтакте», где она пишет, куда поехала, и каждый день выкладывает снимки. Точнее, выкладывала. Информация открытая, доступна всем. Я сам нашел ее за две минуты. А теперь спроси меня, есть ли у нас фотография самого Синекольского.

– Есть?

– Отправлена тебе следом за его письмами. В наш век интернета работать стало намного проще. Он зарегистрирован в «Одноклассниках», и там в профиле его снимок. Не слишком качественный, но опознать можно.

Макар удовлетворенно кивнул:

– Серега, ты молодец.

– Я-то да. А вот тебя куда понесло с утра пораньше? И что за история со старухой?

Илюшин вкратце рассказал о Катерине.

– ...по ее словам, Гаврилова сама села в машину, без всякого принуждения. А теперь ответь мне, Серега: кто будет разъезжать на большой черной машине, читай – на джипе, по маленьким греческим городкам?

Бабкин хмыкнул.

– Вот именно, – кивнул Макар. – Готов спорить на половину твоего гонорара, что это русский.

Иногда, думал Бабкин, фортуна сыщика улыбается тебе там, где этого совершенно не ждешь. И это, с одной стороны, радует. А с другой, начинаешь нервно почесываться и думать, где же тебя настигнет провал. Ибо чаши удачи и неудачи всегда находятся в равновесии, и если где-то прибыло, то в другом месте непременно убудет.

Правда, Илюшин эту его нехитрую философию всегда высмеивал. Но Илюшин высмеивал все.

Так что услышав, что Макар нашел Синекольского, Сергей сразу

сказал: везение закончилось.

Очевидно, с этим парнем они должны были намучиться. Попробуй отыщи русского чувака во всей Греции. Однако Макар не стал искать во всей, он взял телефонный справочник, посадил рядом Яна и принялся с его помощью обзванивать отели в Неа Калликратии.

Синекольский мог жить не там, а в любом другом месте. Или снять квартиру. Или вообще уехать, заматавая следы.

Но на пятнадцатом звонке приятный женский голос ответил Яну, что господина Синекольского нет в номере, может быть, ему что-нибудь передать, когда он вернется?

Вот тут-то Сергей и сказал, что их везение закончилось. Вычерпали они его одним половником.

– Это мы еще посмотрим. – Макар обернулся к Яну. – Собирайся, мой друг. Поехали в Калликратию.

– Я не могу! Через полчаса должны привезти продукты на кухню, я помогаю разгружать!

Илюшин взлохматил светлые волосы и вдруг ухмыльнулся. Очень эта ухмылка Бабкину не понравилась.

– Забудь и думать, – сказал Сергей.

– Рубашку привезу, – пообещал Макар. – Однотонную. Серую. Может быть, даже черную!

– А давай наоборот! Ты, например, поможешь разгружать продукты на кухне, а я буду выслеживать товарища Синекольского. Заодно и рубашку себе куплю. Ты все равно промахнешься с размером.

– Ты слишком приметный. Нам нельзя спугнуть Синекольского.

– Я опер, – напомнил Бабкин.

– Бывший.

– Профессионализм не пропьешь.

– Ты себя видел в этой рубашке с красными попугаями?

Бабкин открыл и закрыл рот. Парировать было нечем.

– Вы действительно очень... заметный, – деликатно сформулировал Ян.

Сергей свирепо зыркнул на него.

– Молчи уж. Вернее, не молчи. Показывай, где ваша кухня.

Неа Калликратия оказалась скучным пыльным городком, где почему-

то на каждом углу продавались шубы. То тут, то там Макар видел вывески на русском: «Меха», «Дешевые меха». Выбитый асфальт, облупившаяся штукатурка, шумно и суетно. Он ужаснулся местному пляжу – узкой полосе песка, плотно уставленной зонтиками и лежаками, – и поморщился, когда в приоткрытое окно донеслись звуки популярной в этом сезоне попсовой песенки.

Такси свернуло вглубь квартала и остановилось.

– Ваш отель, – обернулся водитель.

На другой стороне улицы стояло трехэтажное белое здание, обвешанное, точно ульями, кондиционерами. Отель «Марина».

– Зайдем? – спросил Ян.

Макар покачал головой.

– Не хотелось бы его спугнуть. А менеджер наверняка расскажет клиенту, что им интересовались. Давай-ка для начала просто понаблюдаем.

Он выбрал небольшое кафе, обставленное пальмами в кадках. С веранды под навесом хорошо просматривался вход в «Марину». Фотографию Синекольского Илюшин распечатал еще в отеле в двух экземплярах и теперь один протянул Яну.

– Думаете, он ее увез? Гаврилову?

– Если да, то непонятно, почему они остались в городе.

– Может быть, у него здесь дела?

– Может быть. А может, работа. Мы пока ничего о нем не знаем.

Они сидели, пили крепкий кофе без сахара, потом заказали по омлету. Спустя час в конце длинной улочки, ведущей к морю, показался мужчина с полосатой сумкой. Макар насторожился. Его догнал второй – высокий красивый юноша в полупрозрачной черной футболке и обтягивающих шортах, фамильярно приобнял за талию.

– Это еще что за смазливый красавчик?

– Э-э-э... Бойфренд? – смущенно предположил Ян.

Когда пара приблизилась, стало ясно: перед ними тот же человек, что на фотографии. Дмитрий Синекольский купил в магазинчике сигареты и фрукты, хлопнул по попе красавчика, переминавшегося с ноги на ногу, и оба скрылись в дверях «Марины».

– Занятно, – пробормотал Макар.

– Может, они живут втроем? – пришел на помощь Ян. – Знаете, я слышал о таком. Кажется, еще шведы...

Дверь отеля распахнулась. Чернявый юноша пересек дорогу на красный свет, показывая неприличный жест сигнализирующим автомобилям, забежал в супермаркет и пару минут спустя выскочил оттуда с бутылкой

под мышкой.

– Выпивку забыли, – сказал Илюшин. – Что-то мне подсказывает, что Ольги Гавриловой в номере нет.

Они подождали еще, но больше из «Марины» никто не показывался.

– У отеля может быть подземная парковка? – спросил Макар. – С другой стороны?

– Я спрошу на всякий случай. Но, кажется, нет.

Вскоре Ян вернулся. Парковки не оказалось.

– Значит, все машины жильцов должны стоять здесь. Давай-ка посмотримся.

Они обошли квартал, но черного джипа среди припаркованных автомобилей не нашлось. На обратном пути Илюшин неожиданно завернул в ту лавку, где Синекольский покупал фрукты. Старый оплывший грек с добродушным лицом сунул ему пустой пакет.

Макар набрал неспелых персиков и яблок.

– Простите, вы не видели здесь этого человека?

Он протянул фотографию Синекольского.

Грек закивал, показывая на белый отель.

– Он говорит, этот тип живет там уже пару-тройку недель, а то и дольше. И еще – что с нас четыре евро.

Илюшин вытащил две купюры по десять евро и положил на прилавок между собой и стариком. Прищуренные глаза старика задержались на деньгах. Затем грек что-то сказал.

– Он просит еще раз показать ему фото.

Грек помолчал, разглядывая лицо, и разразился короткой речью.

– Это русский парень, очень любвеобильный, приводит к себе то мальчиков, то девочек. Сейчас с ним живет один из местных, Лука. Этого Луку задерживали в прошлом году за наркоту, он противный тип, но не особо опасный. Больше шума, чем дела!

– Подожди-подожди, – прервал Илюшин. – А женщина? Ее ты видел?

Он впился глазами в лицо грека.

Тот равнодушно взглянул на снимок Гавриловой и пожал плечами.

– Никогда не встречал!

– Точно? А джип? Черный джип ему не попадался?

Старик оскалил желтые зубы.

– Кто здесь будет ездить на джипе! Дураков нет. На этих улицах даже толстой бабе не развернуться!

Илюшин молча протянул ему купюры и забрал фрукты. В дверях лавки он постоял и внезапно вернулся обратно.

– Спроси, не заходил ли сюда этот человек?

На этот раз грек рассматривал фотографию дольше. Тер брови, шмыгал, шевелил всем обвислым лицом и наконец хрипло позвал кого-то из подсобки. Выскочил мальчишка с длинной гусиной шеей. Старик сунул фотографию ему, и они долго что-то обсуждали между собой, указывая на то кафе, где Илюшин и Ян дожидались Синекольского.

– Что они говорят?

– Подождите-подождите...

Ян подобрался, как охотничья собака.

Наконец, кивнув, грек вернул планшет.

– Он говорит, его информация стоит еще минимум десятку.

– Никакой десятки, ты свое уже получил! – по-русски сказал Макар. – Выкладывай.

Грек ухмыльнулся и развел руками – что ж с тобой поделаешь!

– Да, они с внуком видели его здесь. Минимум трижды. Он сидел у Коставриды, там же, где вы, чуть ли не целый день. Не напивался. Обычно такие напиваются, но этот – нет. Ел, смотрел вокруг, не знакомился с девушками. Притворялся, что читает газету, но Коставриды потом сказал, что он едва говорит по-английски, а газета была – «Нью-Йорк таймс».

– Когда это было? До восьмого июня или после?

Продавец задумался, вытащил телефон и свел мохнатые брови, глядя на календарь. Определенно до. Может быть, в конце мая или в самом начале июня... Точнее он не может сказать.

– Вот сукин сын! – весело сказал Илюшин. – Нет-нет, это не про старикана. Поблагодари его, скажи, что он нам очень помог.

Грек что-то быстро заговорил.

– Он спрашивает, не нужно ли тебе оливковое масло, – перевел Ян. – Говорит, у него есть отличное и недорогое, ты пожалеешь, если не возьмешь.

Макар рассмеялся и вышел из лавки. Если бы в эту минуту его увидел Бабкин, то понял бы, что его друг очень зол. Но Ян решил, что Илюшин всем доволен.

– Что теперь? Снова к Коставриды?

– Нет, возвращаемся в отель.

– Так быстро? Вы уже выяснили все, что хотели?

– Не совсем. Но у нас появились новые данные. Пока их не проясним, работать не будем.

Только теперь по его недоброй интонации Ян заподозрил неладное.

– Вы так говорите, словно хотите кого-нибудь убить. – Он смущенно

хихикнул.

– Очень хочу, – без улыбки кивнул Макар. – Ты понял, кто дежурил здесь три дня под окнами «Марины»?

– Нет. Вы же не показали мне фотографию.

Илюшин ткнул ему планшет. С экрана на юношу исподлобья смотрел Петр Гаврилов.

Глава 8

Русма, 1992

1

В тот день, когда раздают дневники с четвертными оценками, Оля выходит из школы и поворачивает в сторону дома Левченко. Димку увезли в райцентр лечить заболевший зуб. А ей нужен человек, с которым можно помолчать о том, что закончилась школьная жизнь и начинается летняя.

Она медленно бредет по сонному поселку. Над заборами покачиваются снежные шапки цветущих вишен. Яблоня набирает бутоны, ветер пропитан дымом и коровьим навозом – неподалеку прогнали стадо в луга. Русма застенчива, тиха и так хороша, словно в ней никогда не случается ничего плохого.

За продуктовым магазином Оля встречает бывшего сторожа недостроенной фермы Бурцева. Несколько минут они с Алексеем Ивановичем обсуждают ее успеваемость и планы на лето, а потом Оля вежливо прощается и идет дальше.

Ляхов смотрит ей вслед, качая головой.

Оля бы очень удивилась, узнай она о том, какое впечатление производит на людей. Если бы кто-нибудь спросил ее об этом, девочка бы ответила: «Ну-у-у-у... Наверное, они думают, что я не очень разговорчивая, но все-таки довольно милая... И еще – что я хорошо учусь. Это правда! Что я немножко ленивая. Тоже правда! А вообще-то я считаю, что они обо мне особо не думают. Я же им не родная и денег не должна».

У Ляхова дела на почте. Но он стоит и смотрит вслед Оле Белкиной, позабыв о том, куда шел.

Ему совсем не нравится то, что он увидел. Девке тринадцать, а взгляд такой, словно все сорок. Мелкая, тощенькая, волосы на головенке дыбом – ну чисто подзаборный котенок. Молчаливая, неулыбчивая. И лицо...

Он не может отогнать воспоминание о том выражении, которое появляется на нем, когда она забывает себя контролировать. Должно быть, такое лицо у человека, который жарит картошку в горящем доме – странное сочетание деловитости и обреченности.

Ляхов слышал, что в семье у них неладно. Мать себя совсем запустила.

Расползается, как тесто на опаре. Может, болеет?

И про Белкина ходят смутные слухи. Будто он занял у старшего Грицевца под бешеный процент, а чем собирается отдавать, неизвестно. Митька Грицевец – из бандюков. Шушера злобная, хоть и мелкая. Напрасно Белкин с ним связался.

Говорят, видак какой-то дорогуций в дом притаранил... И пьет, конечно. Такие, как Белкин, от больших денег дуреют. Ему кажется, раз деньги один раз выбрали его себе в хозяева, они больше никуда не денутся. Будто это не бумажки, которые одним порывом ветра уносит – пых – и нету! – а несмываемая печать.

Нет, Коля, думает Ляхов. Ты, конечно, мужик свирепый, и побаиваются тебя не зря. Но против Митьки кишка у тебя тонка.

Девочка в коричневом платье заворачивает за угол дома. Невидимая сила вдруг толкает Ляхова в плечо: догони ее! догони!

Но сам смущенный этим порывом, он бормочет, словно оправдываясь: «Ну, догоню, и что? Удочерю я ее? Или, может, мамку ее к себе заберу? Нет? Вот и не рыпайся, старый дурень. Догонит он... Ишь».

Алексей Иванович решительно поворачивает к дому, забыв, что шел на почту. «Все в порядке будет у нее. Потерпит немного, а там и замуж выскочит».

Тоскливая, невесть откуда взявшаяся убежденность, что у Оли Белкиной ничего не будет в порядке, не оставляет его до самого порога. Но дома жена встречает Ляхова словами, что она уезжает из Русмы навсегда, и Алексей Иванович сразу же забывает обо всем, что касается дочери Николая.

– Чаю хочешь?

– Кофе хочу, – признается Оля. – Можно?

– Легко!

Марина засучивает рукава водолазки и приступает к колдовству над газовой конфоркой.

– Тебе не жарко? – Оля с удовольствием стащила бы с себя колючее платье, свернула в ком и зашвырнула подальше, чтобы не вспоминать до сентября. – Теплынь же!

– Хочешь, переоденься. Чистые майки лежат... – Марина задумывается. – Эх, нема у меня чистого, Бумбарашка. Стирку затеяла, а пока ношу что придется.

– Помочь тебе стирать?

Марина смеется и машет рукой: не выдумывай!

Потом они пьют кофе, макают в него зачерствевшее печенье и скорее откусывают, пока крошки не осыпались в чашку.

Оле тепло, уютно и беззаботно. Оле хорошо, как бродяге, которого пустили погреться у чужого огня. У нее в руках чашка из тоненького фарфора с радужной, точно морская раковина, изнанкой. Марина называет ее – «мое питерское наследство».

– Почему ты вышла замуж за Виктора?

Оля задает свой вопрос беззаботно, между двумя глотками остывающего кофе. И даже ногами начинает болтать, подражая малышне, чтобы Марина списала ее интерес на детское любопытство.

Но ей и в самом деле странно, как такие разные люди оказались вместе.

Про Марину говорят – «непутевая» и «безалаберная». Если бы спросили Олю, она бы сказала, что Марина ничего не принимает всерьез. Может, это и есть безалаберность?

Виктор – совсем другой. Он словно голем, ожившая глиняная фигура, о которых Оля читала в восточных сказках. При встрече всегда смеется, но девочке кажется, это для того, чтобы лучше притвориться человеком. Чтобы никто его не раскусил.

Быть может, узнай она получше этого длиннорукого мужчину с землистой кожей, он перестал бы казаться ей таким странным. Но с ним толком не поговоришь. Марина пользуется возвращением мужа, чтобы затеять игру с побегом из тюрьмы, поэтому Оля видит его редко.

Чем дольше они играют, тем чаще ей кажется, что ее взрослая подруга и сама с радостью выпрыгнула бы с ней в окно. Вот только печенья сверху ей никто не бросит.

Раньше, до гибели Мани, Виктор каждую неделю заходил к Шаргуновым: посмотреть, как он выразался, на трех дур. Оле непонятно, как можно устраивать себе цирк из живых людей. Но в остальном он вроде бы ничего: работающий, незлой, а что шутит по-идиотски, так у всех разное чувство юмора.

Притворяться несмышленным ребенком у Оли получается плохо. Марина, разгадавшая ее маневр, усмехается, пожимает плечами:

– Беременная была...

От неожиданности Оля чуть не роняет чашку. У ее подруги были дети?

– Не доносила, – отвечает та на невысказанный вопрос. – Мы с Витей расписались, а потом у меня случился выкидыш. Упала на гололеде. После больницы Витя привез меня в Русму, чтобы я восстанавливалась. Он же здесь вырос. Очень долго меня не оставляло ощущение, будто я

промороженная насквозь. – Оля понимающе кивает. – Но время лечит, это действительно так. Я оттаяла, пришла в себя. Хотела вернуться в Петербург, но Витя отговаривал. – Она артистично копирует тягучий басок мужа: – «Давай детей здесь родим, дорастим хотя бы до школы, а там и переедем. Здесь воздух свежий, продукты натуральные, люди добрые! Всех, считай, знаем!»

Она замолкает и окунает печенье в кофе.

– С детьми не получилось. А Русма... Если прибегать к простым сравнениям, этот поселок – камень, привязанный к твоим ногам. Тебе кажется, что бульжник не слишком тяжел, но чтобы выплыть на поверхность, нужно с утроенной энергией разгребать воду и не останавливаться ни на секунду. У меня, Оля, не было столько сил. А со временем я выросла в эту грибницу. И знаешь, ощутила нечто вроде призвания, выражаясь высоким штилем. Ведь, кроме меня, наш хор некому больше вести. Нет, есть, конечно, Гореликова и Вальский, но прости, их репертуар... У них до сих пор Любовь Орлова – выдающаяся актриса современности!

Марина не говорит девочке, что возвращаться ей некуда. Комнатка в коммуналке, где она ютилась, давно продана. Ей сорок. Никто не ждет ее в родном городе. А Русма... Ну, что Русма. Не худший поселок на земле.

Впрочем, так можно сказать про любое место. Наверное, даже черти, устало подбрасывая поленья под котлы с грешниками и морщась от воплей, говорят себе, что не так уж здесь и плохо: по крайней мере, есть уверенность в завтрашнем дне и премии за переработку.

– Тебе кофе подлить?

Оля отрицательно качает головой. У нее впервые закрадывается мысль, что бывают люди, не соответствующие среде своего обитания. С одного взгляда на Марину ясно, что она здесь чужая. Как птичка колибри, залетевшая в еловую чащу. Про Марину в поселке ходят дурные сплетни, и люди ее не слишком жалуют, а значит, ей не удалось здесь прижиться, что бы она ни говорила.

Кофе выпит, печенье съедено.

При мысли о возвращении домой Олю охватывает тоска.

– Ну, я пойду, – говорит девочка и долго трет мочалкой красивую старинную чашку под едва приоткрытой струйкой воды.

– Слушай, а может, сможешь все-таки мне со стиркой? – спрашивает Марина, помолчав. – Если честно, там дофига тряпок. Хоть выкидывай! Только Витяка меня за это не приласкает.

Она нервно смеется и закуривает сигарету.

Оля бывает наивной. Но проницательности у нее достаточно, чтобы понять, отчего ее взрослая подруга вдруг передумала насчет стирки.

Маринина отзывчивость действует на Олю так, словно ее саму окунули в чан с теплой водой. В Русме встречаются добрые люди, хватает и понимающих, но очень редко два этих качества объединяются в одном человеке. Такой человек сейчас курит напротив нее за грязным столом.

Оля трет и трет свою давно отмытую чашку. В голове что-то звенит и мешает ей сосредоточиться.

– Заодно поможешь мне веревки натянуть, – бодрым голосом говорит Марина. – Они у меня просели так, что труселя по земле метут.

А ведь дальше будет лето, думает Оля, и в школе не спрячешься. Некуда больше бежать из дома.

– Кстати, прикинь, – еще бодрее говорит Марина, – я на днях облилась кетчупом, так решила всю кофту покрасить...

Чисто вымытая чашка выпадает из пальцев девочки. По фарфору разбегаются тонкие трещины.

– Марина! – выдыхает Оля. – Марина, он ведь бьет ее. Ужасно бьет. По лицу бьет, и в живот. Мы раньше вместе ходили в баню, а теперь она одна ходит, меня с собой не берет. Знаешь почему? У нее все тело в синяках. Как будто по ней солдаты маршировали.

Марина прижимает ладонь к губам.

– А знаешь, почему она все время в длинной юбке? – задыхаясь, говорит Оля. – Почему в жару рукава длинные? Все время сидит и платяя свои надставляет... даже напевает иногда... это так жутко, Марина! Если бы не пела! Пусть бы плакала, или кричала, или молчала! Все лучше!

В памяти ее оживает недавний вечер. Мама сидит под торшером, в уютном круге желтого света, и пришивает дополнительный ярус к своей юбке. Тихо-тихо сидит, подогнув под себя ноги и прикрыв их пледом. Иголка в ее руках сверкает рыбкой, ныряющей в синюю ткань: туда-сюда, туда-сюда. Позавчера к ним заходил участковый, спрашивал, отчего у мамы разбита губа. Мама сказала, что споткнулась о порог и неудачно упала. Отец вышел, стоял в дверях – молчаливый, ухмыляющийся. Участковый покосился на него и ушел.

«Коленька, я никому не слова...» – Оля сквозь приоткрытое окно отчетливо услышала, как дрожит мамин голос.

«Знаю. Это курвы твои, подружки заводские, – хладнокровно сказал отец. – Позорят тебя. Уже менты к нам заходят. Не стыдно тебе, а, Натаха? Позорище ты мое... Ну иди сюда, не реви, дурочка».

После этого у Оли пропала старая игрушка – заяц, которым она играла

в пять лет. Оля все свои игрушки знает наперечет и исчезновению зайца очень удивилась. Нашелся он неожиданно при уборке, в отцовской комнате. Валялся за шкафом. Когда девочка подняла его, то чуть не выронила – заяц потяжелел, словно разбух от воды. Оля внимательно рассмотрела игрушку. Брюхо у него было вспорото и снова зашито – грубо, крест-накрест.

Внутри оказался песок. Много песка.

Оля молча вынесла зайца из дома, спряталась за баней и разрезала нитки. Вытряхивала целый час, выворачивала наизнанку, и все равно внутри остались песчинки, точно личинки муравьев. Она сожгла его за баней, стараясь не вспоминать, как они спали с ним в обнимку, когда она была маленькая.

– Я думала... думала, после ее смерти будет лучше! – Оля проглатывает имя Пудры. – А стало только хуже! У него денег много. Он маме кричит, что она его довела и теперь его прикончат... Хоть бы в самом деле убили!

Марина не спрашивает, о ком идет речь. Она бледнеет и протягивает руки к девочке.

Оля утыкается в нее, рыдает, трясется. Ледяная глыба ужаса тает, сменяясь невыразимым облегчением.

Она нарушила табу: рассказала постороннему человеку о том, что происходит в их доме. Димка не в счет, он сам подросток. Но взрослый мир – мир враждебный, безжалостный, осуждающий – был закрыт для нее.

И вдруг она сама распахнула дверь. Входи, смотри!

И ничего не случилось. Небо не рухнуло, мир не закончился, когда она произнесла эти слова вслух, выпуская демонов в большой мир: «Мой отец бьет мою маму».

Огромное тайное знание о том, что пока она молчит, сохраняется некое равновесие, нарушение которого чревато великой бедой, – это тайное знание оказалось ложью.

В открывшуюся дверь вошел взрослый, умный, добрый человек. Он принес с собой свет. Там, где была голодная тьма, вспыхнул маленький теплый огонек.

Минуту назад Оля плакала от горя. Теперь она плачет от радости.

Марина что-нибудь придумает. Она их спасет, как совсем недавно спасла Олю от возвращения домой.

Взрослые всемогущи, и один из этих взрослых теперь на ее стороне.

«Я это сделала. Я рассказала».

Марина крепко прижимает к себе девочку.

– Бедная моя! Да что ж за жизнь-то такая скотская!

Оля успокоенно всхлипывает в ее объятиях. Наконец-то ужас закончился. Даже странно подумать, как долго она барахталась в этой липкой страшной паутине, совсем одна, когда рядом с ней все время был друг.

– Это все Русма, трясина гиблая, – бормочет Марина. – Ох, Олька, Олька... Для таких людей, как ты и твоя мама, жизнь здесь оборачивается каторгой. По себе знаю. Кто живет, а кто выживает. Я иногда смотрю на Наташу и думаю: идет домой, как овца на заклятие. Покорная, тихая. Может, корни ее беды в этой покорности? Ей нужно преодолевать это в себе, выдавливать раба по капле, понимаешь? Я не в том смысле, что твоя мама рабыня... но в ней в полный голос говорит конформизм, она крайне зависима от социума...

Марина гладит девочку по волосам.

– От социума? – машинально повторяет Оля.

– От местного общества. Это очень сложно – вырваться из-под его гнета. Но нельзя смиряться. Нельзя просто терпеть. Это путь в никуда.

Оля вытирает слезы и пытается осознать, о чем ей говорят. Знакомые слова отчего-то не складываются в осмысленные фразы. Она чувствует себя маленькой и глупой.

– Поверь, я знаю, о чем говорю. – Марина обращается к ней прочувствованно, и девочка замирает, едва дыша. – Я сама прошла этот путь. Мой способ... э-э-э-э... сопротивления вряд ли подходит для твоей мамы. Но это тоже способ! Тоже борьба! Да-да, борьба! Когда женщина дает волю своему первобытному началу, своей внутренней львице... Происходит такое высвобождение силы! Не телесной, нет, иного свойства... Ты не поймешь, по чисто физиологическим причинам. Просто поверь, здесь работают совсем иные законы...

Происходит что-то не то. Оля понимает это так же отчетливо, как в те дни, когда в ее город приезжал луна-парк. Где волшебство шутов и кочевников? Заплеванный асфальт, кассирша с золотым зубом, предсмертный хрип карусельного механизма.

Оля отстраняется и пристально смотрит в блестящие глаза – долго, очень долго. Марина не выдерживает и отводит взгляд.

– Ты ничего не сделаешь, да? – тихо спрашивает Оля. – Ты нам ничем не поможешь?

Марина тяжело вздыхает.

– Бумбарашка... Чем здесь помочь... Жизнь так сложилась, понимаешь? Паршивая жизнь, гнусная, давай уж начистоту! Но – вот такая.

– Ты ничем нам не поможешь.

Олины слезы высыхают. Маленький испуганный ребенок, выбравшийся на волю, прячется обратно в темную комнату.

Марина пытается прижать к себе девочку, но та вырывается – это удается ей неожиданно легко – и отходит в сторону.

– Знаешь, есть такая теория – о кармическом воздаянии. – Голос Марины звучит жалобно. – Она о том, что в нынешней жизни мы расплачиваемся за грехи в предыдущих... Если принять это за правду, то становится... не то чтобы легче, но многие вещи получают объяснение. Ведь хуже всего для страдающего человека не сама боль, а отсутствие смысла в его горестях... Я утешаю себя этим, когда...

– Да заткнись ты!

Ненависть в голосе девочки заставляет Марину умолкнуть.

– Ты такая же, – цедит Оля. – Я думала, ты мне друг!

– Я тебе друг!

– Ты... ты... – девочка отчаянно ищет слово, выражающее всю степень ее сокрушительного разочарования. – Ты шалава! Сидишь тут в грязи! И заливаешь мне про карму!

– Оля...

– Думаешь, ты лучше тех, кто здесь живет? Чем же? Тем, что живешь в свинарнике? Я тебе доверяла! Надеялась, ты нам поможешь! Я ничего не могу одна, даже защитить ее не могу! Ты же взрослая! – вырывается у девочки. – Почему ты меня бросаешь?!

– Ну что, что ты хочешь от меня? – выкрикивает Марина. Лицо ее некрасиво кривится.

– Ничего я от тебя уже не хочу! – кричит Оля. – Поцелуй своего прекрасного мужа, вот что!

Она выбегает из дома и хлопает дверью с такой силой, что содрогаются оконные стекла. В раковине старая треснувшая чашка распадается на две половины, и поблескивает под каплями воды нежный бессмысленный перламутр.

Бабушка Лена с приходом тепла не выползает греться наружу, как все старики, а забивается вглубь своей комнаты, в дальний угол, где лежит густая тень, которую никогда не растворяют солнечные лучи. Бабушка Лена каждый день гуляет по три часа, затем погружает свое массивное тело в кресло, как в ячейку для хранения, и замирает в каменной неподвижности.

Она сидит долго-долго. Глаза ее приоткрыты, взгляд устремлен в стену. Оля часто посматривает туда, надеясь заметить хотя бы игру света. Но стена безжизненна, как взгляд старухи.

– Худо тебе живется...

Оля оборачивается. Она только что принесла Елене Васильевне обед и расставляет на столе тарелки. Голос старухи начисто лишен сочувствия.

Жизнь у Оли и в самом деле не очень веселая, но согласиться со старухой – значит подарить ей право на ухмылку, таящуюся в уголке безгубого змеиного рта.

– По-разному мне живется, – неприязненно отзывается девочка. – Сегодня плохо, завтра хорошо. Как всем.

– Нет, не так. Тебе вчера плохо, сегодня хуже, а завтра совсем погано. Знаешь почему?

Оля молчит.

– Закон такой, – объясняет старуха. – Если покатился с горки, дальше будет все быстрее и быстрее. Это до счастья надо карабкаться, семь потов сойдет, двадцать пар башмаков сносишь, пока доберешься. А с бедой – оно легко: сел на задницу – и фьюить!

Взмах морщинистой руки очерчивает линию, по которой летит вниз Оля.

– Вот увидишь. – Старуха придвигает свой стул к столу и начинает хлебать бульон, сваренный Олиной мамой. – Помяни мое слово, дальше будет только хуже. Хоть готовься, хоть нет.

Обычно Оля молчит, что бы ни твердила Елена Васильевна. Брякнешь лишнего – бабушка пожалуется отцу. Но жестокое предсказание так поразило ее, что возле двери она все-таки оборачивается:

– Баба Лена, зачем вы мне это говорите?

Тяжелые челюсти медленно двигаются, пережевывая курятину.

– Может, сама петельку совьешь, – невозмутимо отзывается Елена Васильевна. – Головенку в нее сунешь и прыг с табуретки. А? Всем проще будет!

Девочка не сразу понимает смысл сказанного. С табуретки? Прыг?

И вдруг видит эту картину бабушкиными глазами. Елена Васильевна швырнула ей в лоб, словно мяч, мысленный образ: крюк, веревка, а на ней качается тощее Олино тельце.

Ухмыляясь, старуха зачерпывает ложкой горячий бульон и причмокивает от удовольствия.

Девочка пятится и молча выходит из комнаты.

Вряд ли Елена Васильевна могла предугадать, как ее слова отзовутся в Оле.

Девочка впервые сталкивается с чистой беспочвенной ненавистью.

И впервые понимает, что это именно она. Ненависть.

Осознание это приносит ей такое облегчение, словно она командующий армией, получивший донесение о том, где в точности дислоцированы войска противника.

Смутные зловещие тени, сгущавшиеся вокруг всякий раз, как она заходила в бабушкину комнату, обрели очертание и имя.

Назови своего врага – и он растеряет половину силы. Так нашептывает Оле ее маленький хищный зверек.

Теперь, когда Оля знает, как сильно бабушка ее не любит, слова о табуретке и петельке кажутся ей смешными.

– Щас! Повешусь я тебе, как же!

Девочка произносит это вслух и складывает кукиш.

– Сама вешайся. Только наша люстра тебя не выдержит.

Даже бред Елены Васильевны перестает казаться ей таким жутким.

Оля вспоминает свои опасения насчет грибов, которые баба Лена приносит из леса. Теперь-то ясно, что она тревожилась не зря. С безумной старухи станется отравить ее и маму, чтобы мирно жить дальше с любимым сыном.

Внезапно Оле в голову приходит мысль, которая не могла зародиться у нее еще пару месяцев назад.

«Я тебя кормлю каждый день. Еще посмотрим, кто кого отравит».

Впервые в девочке поднимается осознание своей силы. Она не знает, что отчасти причиной этому послужило крушение надежд на вмешательство взрослых. Если ей не помогла Марина, значит, не поможет никто из них.

«Мне до шестнадцати всего три года, – подсчитывает Оля. – А там я смогу работать. Увезу отсюда маму». Ей кажется, что в шестнадцать рухнет барьер, отделяющий ее от мира больших самостоятельных людей, и она сможет противостоять отцу на равных.

Оля возвращается из хозяйственного магазина. В правой руке у нее только что купленный бидон для ягод, в левой – крышка, и она легонько постукивает крышкой о бидон. Вчера они с мамой пересматривали «Человека с бульвара Капуцинов». Отличный фильм! Только Оля не может удержаться от слез каждый раз, когда герой Караченцова выбегает из салуна с криком «Джонни!» и бессильно оседает на крыльцо.

Отец пришел поздно. Неровные шаги; хриплое смрадное дыхание; грязная брань и грохот упавшей вешалки. Он был настолько пьян, что свалился в прихожей.

Они с мамой раздели его, затащили на кровать. Он мычал и пару раз взмахнул кулаком, но Оля без труда уклонилась.

В мамином взгляде, который она поймала, светилось такое облегчение, что Оля едва не кинулась ей на шею. Мама радуется, что он пьян! что он валяется на кровати, беспомощный, как младенец. Младенцы пускают пузыри, а отца то и дело рвет в подставленное ведро, но Оля готова даже менять ему обмоченное белье, лишь бы мама ликовала, как маленькая девочка, из-за его опьянения.

Ведь это значит, что она не так уж сильно его и любит.

Когда отец захрапел, они устроились рядышком на диване, обнялись и досмотрели фильм.

У них был целый вечер свободы.

И это было счастье.

«Увезу ее», – думает Оля, легонько отбивая крышкой ритм вчерашней песни и напевая в такт:

– Как следует смажь оба кольца! Винчестер как следует смажь!

Черт с ней, с Мариной. Оля и сама придумает, как им спастись. Надо лишь сообразить, откуда взять деньги.

Хотя много ли им требуется? На картошку и гречку всегда заработают. Оля могла бы разносить посылки, а маму везде возьмут с радостью – она работающая, веселая и ответственная. Ее любят в каждом коллективе. Только место должно быть такое, чтобы отец никогда их не отыскал. И здорово, если рядом будет море.

– И трогай в дорогу, поскольку взбрела тебе в голову блажь!

Скорее бы приехал Димка. Должен был вернуться еще вчера, но отчего-то задержался. Все зубы ему, что ли, повыдергали...

– Что-о будет – то будет! Была не была!

Иногда вопреки всему охватывает такое предчувствие счастья, словно в животе вылупилась тысяча радужных мыльных пузырей и теперь они толкаются внутри и приподнимают тебя над землей. Когда и ветер теплый, и вечер светлый, и встречные собаки улыбаются всей пастью и хвостом, и даже бидон позвякивает в точности как разноцветный металлофон, на котором Оля играла в детском саду, когда еще все было хорошо.

И будет, обязательно будет! Им снова повезет! Отец напьется с Левченко до потери сил и свалится, как вчера... Тогда им с мамой и сегодня

выпадет счастливый вечер.

– Что-о будет – то будет! Такие дела!

А ведь вся их жизнь могла бы состоять из таких маленьких праздников, стоит только представить, что они сбежали из Русмы.

– Э! Подстилка синекольская! – окликают девочку.

И вот тут Оля совершает ошибку: она оборачивается. Расслабилась, мечтая о том, как они с мамой будут жить вдвоем. Позабыла, где находится.

Оборачиваться нельзя. По неписанным правилам, если тебя обозвали какой-нибудь гнусью, а ты повернул голову – значит, расписался в том, что ты и есть эта гнусь.

А значит, с тобой можно делать что угодно.

Грицевец отлепляется от забора – брылястый, коротко стриженный, с набрякшими веками. Он похож на бульдога, только морда у него глупее собачьей. Он бросает окурок под ноги, и вся его компания, точно по команде, делает то же самое.

У Грицевца всегда самое поганое на языке. При Димке он опасается дразнить Олю: Синекольский может впасть в исступление, и тогда всем мало не покажется. К тому же здесь вступает в действие русминский кодекс: при парне девочку оскорблять нельзя.

Вот если она одна – совсем другое дело.

– Согласилась, подстилка! – ржет кто-то из приспешников Грицевца. – Белка, а мне дашь?

– За «Сникерс»! – ухмыляется Женька.

– Точняк! Белка жрет орешки!

– Иди давай сюда.

– Слышь, тебя блевать не тянет от Синекольского?

– Она уродов любит.

– Леха у нас вроде тоже не красавец...

– Да пошел ты!

Оля идет, не ускоряя шага и не меняясь в лице. Но все мыльные пузыри лопнули, и внутри у нее теперь липкая вода. Оле не страшно, но очень противно, потому что она знает, что будет дальше.

Проскочить мимо Грицевца можно только бегом. Но тот, кто ускоряет шаг, показывает, что боится, и скучающему Грицевцу с компанией сам бог велел кинуться в погоню за трусом.

Их пятеро. Они ее догонят.

Серьезного вреда, конечно, не причинят. Бить девчонку, да еще и младше себя, – это вроде как запахло. Дадут ей подзатыльник, как малолетке, и станут толкать от одного к другому, пока она не шмякнется на

землю.

Это еще можно стерпеть. Но ведь облапают, это уж как пить дать. И еще будут ржать и отпускать глумливые шуточки.

«Ты у нее сиськи нашел? – Нет! – И я нет! – Под задницей пощупай!»

Оля видела такое несколько раз.

От омерзения у нее сводит скулы. Почему, почему она такая беспечная идиотка! Почему не выбрала обходной путь!

Девочка стискивает зубы и идет дальше. Она больше не отбивает такт песенки.

– Оглохла что ли? Сказали тебе, стой!

Оля едва заметно ускоряет шаг. У нее еще теплится надежда, что ей удастся проскочить, если они поленятся связываться с девчонкой. Но два тощих и гибких пацана ужами скользят ей наперерез.

Леха с Рыжим. Шестерки Грицевца.

Женька что-то коротко командует им вслед и расплывается в ухмылке. «Не простил нам Гитлера, сволочь».

– Фройляйн, куда шпарим? – кричит тот, подтверждая ее подозрение. – А ну замерла на месте! Хенде хох!

И неторопливо бредет за своими приятелями.

Оля бросает вокруг безнадежный взгляд. Ни одного прохожего... Колотиться в чужие калитки нет смысла: кто не ушел на завод, тот пашет в огороде.

«Искусаю, – мрачно решает девочка, ускоряя шаг. – Лишь бы руки не выкрутили, гады».

Как она ни старается не бояться, ей страшно. Страшно и очень противно.

«Накаркала, проклятая бабка...»

Однако при воспоминании о Елене Васильевне происходит что-то странное: ужас, парализующий ее мысли, вдруг начинает таять. Олю охватывает та же беспричинная воинственная радость, которую она испытала после разговора с бабушкой. В голове проясняется, дрожь исчезает.

Эти пятеро не страшнее безумной старухи, твердящей про ангелов с отрезанными крыльями, и уж точно не страшнее ее отца. Ей под силу справиться с ними.

Драться? Чепуха! Самые важные битвы выигрываются не в драке.

Едва подумав об этом, Оля видит цветущую белую сирень в соседнем палисаднике – словно мир в ответ на ее уверенность распахивает прежде закрытую дверцу.

Девочка сдерживает торжествующую улыбку.

Ей известно, что находится за палисадником с белой сиренью, а этим двоим – нет, иначе они не были бы так вызывающе расслаблены.

Леха с Рыжим, кажется, слегка теряются, когда девочка ускоряет шаг и быстро идет им навстречу. Но не доходя до них двадцати метров, Оля резко сворачивает направо, на узенькую тропинку между заборами соседних домов, и мчится со всех ног.

Кочки! Ветки! Едва успевай уворачиваться, чтобы не исхлестали лицо. Голые лодыжки стегает крапива, но даже самая злая крапива лучше Грицевца.

После недолгого растерянного молчания позади раздаются яростные крики, и вскоре земля содрогается от дружного топота.

Погоня началась.

Любой другой подросток на месте Оли был бы обречен: его схватили бы через сотню метров и подвергли безжалостной экзекуции. Но они с Димкой не зря проводили столько времени, шатаясь по Русме. Девочка помнит каждый поворот, все тупики; она знает, за каким углом разинет землистую пасть свежевскопанная яма, а где вырастет груда битого кирпича и метнется из подворотни злобный пес без привязи.

Десять минут назад она чувствовала себя кроликом, попавшим в капкан. Но чем быстрее девочка мчится, чем увереннее огибает ловушки на своем пути, тем явственнее преображение, которое началось, когда на память ей пришли бабушкины слова.

Нет больше кролика; есть маленькая лиса, удирающая от охотников.

За очередным поворотом развилка. Налево – кратчайший путь к дому, и Оля знает, что успеет до своей калитки прежде, чем ее догонят. Направо...

Направо – окраина Русмы.

Слева – гарантированное спасение. Повернешь направо, и неизвестно, чем все закончится.

Испуганный кролик бежал бы в свою нору.

Мгновение поколебавшись, Оля сворачивает направо.

– Стой!

– Сука! Кому сказал!

Временами девочке кажется, что ее вот-вот настигнут, схватят за волосы и повалят лицом в грязь. Но приказав себе не оборачиваться, она бежит дальше. Давно улетела в кусты крышка бидона. Сердце колотится как безумное, и очень страшно споткнуться.

Промелькнули пятиэтажки. Выскочила из-за куста и тут же юркнула

обратно мелкая шавка.

Оля все-таки бросает назад короткий взгляд.

Все пятеро по-прежнему у нее на хвосте, и первым мчится раззадоренный погоней Женька Грицевец. Сходство с бульдогом усилилось. Он мстит не столько Оле, сколько Синекольскому, и ради этого готов пробежать два-три километра, тем более что исход погони ему очевиден.

Быстрее, Оля, быстрее!

Дома закончились. Под ногами ухабистая проселочная дорога, в ямах поблескивает вода – неделю подряд по ночам лили дожди. «Только не поскользнуться», – твердит себе Оля. Она высматривает знакомые очертания фермы Бурцева и, когда наконец замечает их, сворачивает вправо.

Дорогу и поле разделяет канава. Сейчас она до половины заполнена жидкой грязью. Оля благословляет каждую каплю пролившихся дождей. А еще она обняла бы и расцеловала того человека, который перекинул через канаву узкую доску.

Когда сухо, через канаву можно попросту перемахнуть. Но сейчас края ее осклизли, земля превратилась в разбухшее месиво. Прыгни – и шмякнешься в грязь.

Девочка ступает на край доски. Она идет быстро, но осторожно, балансируя, словно канатоходец. Глянцевая жижа подстерегает ее внизу, а от дороги уже бегут Грицевец и все остальные, уверенные, что теперь Белке никуда не деться.

– Дура ты! – кричит Рыжий.

Оля спрыгивает с мостика и поворачивается к ним. Спасаться ей негде – на поле ее точно догонят.

– Не, она умная, – возражает Грицевец. – Подальше от Русмы ушла. Молодец! Нам так будет удобнее!

У него красная рожа, он запыхался и тяжело дышит. Двое его приятелей согнулись пополам, уперлись ладонями в колени. Никто из них не ожидал, что преследование затянется.

Оля стоит молча и смотрит на них, сложив руки за спиной. Она даже слегка улыбается.

– Не, все-таки дура, – с сожалением говорит Рыжий. – Умная бы доску в канаву сбросила.

Грицевец, отдышавшись, шагает на мостик. Он бы отправил первым кого-нибудь другого, но все понимают, что Белка на той стороне ждет именно его. В глубине души он взбешен этими гонками через весь поселок. Его грызет подозрение, что девка поиздевалась над ними, выставила его на

посмешище, заставив носиться за ней, как щенков. Все должно было пройти иначе. Ну, поучили бы маленько... Похватали бы за мягкие места. Ей это только на пользу. Наглая она очень, Белка. Вырастет в дерзкую бабу, если сейчас не приструнить. Вон, стоит, таращится глазищами своими черными; рожа непроницаемая, и хрен поймешь, что на уме. Чего стоит-то? Дура. Ведь и правда, могла бы мостик перевернуть, и не добрались бы они до нее.

– Слышь, – хрипло говорит Женька, чтобы придать себе уверенности, – а у Синяка твоего... тоже кривой, как его рожа?

Он преодолел ровно половину пути.

Не отвечая, Оля заносит руку для броска. Ее пальцы сжимают за край горлышка бидон, который она чудом не выронила во время погони.

В журнале у Ольги Белкиной двойка за лазанье по канату и пятерка за метание мяча. Обе оценки заслужены. Если ты год подряд швыряешь камни, соревнуясь с товарищем, кто быстрее сшибет банку с забора, попасть тряпичным мячиком в центр нарисованного круга тебе не составит труда.

– Х-ха! – гортанно выкрикивает Оля.

Навстречу Грицевцу летит пущенный изо всех сил бидон без крышки. Женька не успевает ни уклониться, ни закрыться ладонью. Бам-м-м!

Словно башенный кран, Грицевец медленно заваливается набок. Он успевает взмахнуть руками, а затем сочная грязь радостно принимает его тушу и взметает приветственные фонтаны брызг. С другой стороны скромно падает бидон.

Четыре головы склоняются над канавой, обалдело глядя на тело своего предводителя.

Пока ее враги стоят, оцепенев от изумления, Оля исполняет совет Рыжего: сбрасывает доску. Когда Женьку, барахтающегося в грязи, накрывает доской, снизу доносится бессильная яростная ругань.

– Сенсация, сенсация! – Оля смеется. – Под Русмой поймана гигантская пиявка!

Четыре головы с тем же одинаковым изумленным выражением на лицах поворачиваются к ней. Ни один из парней до сих пор не может толком осознать, что их перехитрила тринадцатилетняя девчонка.

– Мать твою! Мать твою! – орет снизу Грицевец.

– Ну ты... лиса, – со смесью неприязни и восхищения говорит, наконец, Рыжий.

– Сука она, а не лиса! – взвизгивает Леха.

– А ты пиявкин прихвостень, – пожимает плечами Оля. – Давай,

вытаскивай свое начальство. Не забудь грязь с него облизать!

– Слышь, я тебя знаешь чего...

Девочка только отмахивается от их угроз. Она пересекает поле, ни разу не обернувшись. К остановке как раз подъезжает автобус и терпеливо ждет, приоткрыв двери, пока она добежит.

– На последний рейс успела, – говорит водитель. – Чего по полю-то шарахалась одна?

– Гнезда искала, – беззаботно отвечает Оля.

Ее высаживают возле самого дома. Соседская сирень едва белеет в сумерках.

«Бидон завтра куплю, из карманных», – думает Оля.

На губах ее играет победная улыбка. Грицевец – мстительная сволочь. Но если он попробует еще раз к ней пристать, вся Русма узнает, как он купался в грязи.

3

Победа над Грицевцом и его компанией возносит Олю в ее собственных глазах на недостижимую высоту. Два дня она не может думать ни о чем другом. То и дело с ее губ срывается беспричинный смешок.

Отец злится:

– Чего лыбишься!

Но Оля не может не смеяться. Она победила, победила! Она была сильной, она была умной, она не выбрала путь домой, хотя могла... Ее храбрость проросла не из безысходности, а потому что она сама решила быть смелой. Эта мысль действует на девочку как прикосновение волшебной палочки: она распрямляет плечи, глаза ее сияют; Оля преображается. На следующее утро она входит в кухню полная королевского достоинства, и ее мать теряет дар речи.

«Что произошло?»

Наталья вглядывается в дочь, пытаясь понять, когда волчонок успел преобразиться в бабочку. Ей неизвестны подробности Олиной жизни. Девочка оберегает мать от новостей, которые могли бы ее расстроить, и фамилия «Грицевец» для Натальи означает совсем не то, что для Оли.

Она смотрит на искрящуюся радостью дочь и заключает: «Влюбилась».

Оля бы расхохоталась, узнав об этом. Влюбилась? Как можно сравнивать победу над врагом с глупой зависимостью от смазливой

девятиклассника! Она воин! Она сражалась! Она не отдаст свой триумф даже за сто взаимных влюбленностей.

Лишь одно омрачает ее торжество.

Не с кем его разделить. Димка не приезжает ни в этот день, ни в следующий. У его бабушки в райцентре обнаружилась старая подруга, и они задержались у нее на целую неделю.

Неделю Синекольский не возвращается в Русму. Он только звонит один раз и предупреждает, что будет в воскресенье, утренним автобусом.

В воскресенье сразу после завтрака Оля хлопает калиткой и мчится к пятиэтажке, к их чердаку.

Когда друг постоянно с тобой, привыкаешь к нему, точно к своей руке или ноге. Рука или нога не могут надоесть. Но восхищаться ими или ценить за то, как прекрасно они функционируют, как-то странно. За полтора года жизни в Русме Оля сроднилась с Димкой, как с частью собственного тела, и прожить без него целую неделю оказалось... пусто. Причем там, где не ожидаешь пустоты. Словно пытаешься наступить на ампутированную ногу, забыв о том, что ее больше нет.

Оля не бежит, а летит, окрыленная возвращением Синекольского. Он наверняка ждет ее наверху! В предвкушении, как она будет выкладывать ему новости этой недели, Оля заворачивает к продуктовому и едва не врезается в группу людей. Кто-то окликает ее по имени – кажется, сторож Ляхов – но девочка лишь взмахивает рукой. Потом, все потом! Плевать на вежливость! Плевать на всех этих мрачных взрослых! Димка приехал! Ничего не может быть важнее.

В подъезде пахнет говяжьим бульоном. Первый этаж, второй, третий... Оля замедляет свой бег только к четвертому. Никто не должен слышать топота. Несколько секунд переводит дыхание, прежде чем взобраться по лесенке на чердак.

Синекольский поднимается ей навстречу с топчана.

– Димка!

Он немного чужой, словно за время поездки Русма отчасти выветрилась из него. На нем новая футболка. Он молча обнимает Олю и отстраняется, вглядывается в ее сияющее лицо напряженно и как будто молча спрашивая о чем-то.

– Соскучилась жутко! – сразу выкладывает Оля. – Знаешь, что у нас было! Грицевец за мной гонялся по всему поселку! Я тебе сейчас все расскажу! Подожди, – спохватывается она, – а как твой зуб?

Димка смотрит на нее странно. Оля не может сообщить, что не так с

его лицом, и вдруг понимает: оно симметрично! Оно больше не распадается на две половины, принадлежащие разным людям.

Ей становится немного не по себе.

– Слушай, у тебя глаз больше не щурится, – говорит Оля и заставляет себя улыбнуться.

– Молодец, сразу заметила. – Димка отзывается как-то вяло. – Врач, который мне зуб лечил, сказал, что все дело в нерве. И отвел меня к какому-то мужику... Тоже врач. Больше на бандита похож. Ладони шире лопат, харя жуткая, как вторичный сифилис. Он мне чего-то в шее покрутил, в спину пальцем потыкал. Потом вообще за плечи схватился. У меня кости так хрустели... думал, калеккой от него выйду. Без наркоза разберет на органы. Потом загоготал и зеркало мне сунул. Я смотрю – а рожа выровнялась. Даже не сразу понял...

Синекольский замолкает. Оле почему-то кажется, что он сказал не все.

– Димка, ты чего?

Синекольский молчит.

– Дим... что случилось?

– Ты сразу сюда прибежала, да? – тоскливо спрашивает он. – Никого не встретила по пути?

– Нет...

– Ни с кем не заговорила?

– Да с кем мне разговаривать! А, Ляхов чего-то хотел... – Ее вновь переполняет веселье. – Ляхов-шляхов! Слушай, а он не поляк случаем? В молодости, говорят, красавец был... Жена у него ведьма тощая. Бросила его, ты слышал? Умотала отсюда. Он теперь каждый день пьет.

– Значит, ты новостей не слышала...

– Каких новостей?

– Черт бы тебя побрал, Белка! – неожиданно взрывается он.

Девочка вздрагивает от изумления.

– Не хочу я этого, понимаешь ты? Не хочу!

Димка со злостью пинает ножку стула.

– Эй! Ты чего?

– Это не я тебе должен говорить! Пусть кто-нибудь другой! Блин, ну почему я...

– Да что говорить-то, Дим?..

Оля стремительно перебирает в уме самое страшное, что могло случиться с Синекольским. Бабушка решила отдать его в детский дом? У него погибли родители?

– Да объясни уже наконец! Что ты как этот! Придурак какой-то!

Димка внезапно берет себя в руки. Обе половины его лица обреченно смотрят на девочку.

– Марина погибла, Оль. Марина Левченко.

Она не поверила. Взвешенно и спокойно объяснила, почему этого не может быть. Они разговаривали с Мариной шесть дней назад – это раз; Марина выглядела совершенно здоровой – это два; они поссорились, а значит, должны непременно помириться – это три. Люди не умирают, не помирившись. Этот последний аргумент казался Оле самым убедительным. Смерть должна приходить вовремя, иначе какой во всем этом смысл?

– Ты что-то напутал, – снисходительно объясняла она Димке, который молча смотрел в сторону и хрустел пальцами. – Тебя Грицевец разыграл, что ли? А ты повелся... Как лох, Синекольский!

В конце концов он взял ее за руку и вывел на улицу. Они шли по дороге и видели людей, которые стягивались к дому Левченко. Оля сначала расспрашивала Димку про райцентр, не желая отвлекаться на выдумку о Марининой смерти. Но вскоре притихла. Людей становилось все больше, и к палисаднику они подошли уже в неплотной толпе. Все как-то выжидательно молчали, словно прислушиваясь, кто первый даст сигнал.

День стоял теплый и пасмурный. На провисших проводах качались ласточки.

– Где сам герой-то? – раздался старческий женский голос.

– В отделении, где еще, – отозвались с другого края. – Кается.

Рядом с Олей кто-то восхищенно крикнул:

– Ишь! Кается он!

– Да теперь-то уж чего...

– Срок себе скостит, чего.

– Какой срок? Там вышка маячит!

– Больно ты знаешь...

Люди перекидывались короткими репликами, стоя вокруг пустого дома с открытыми окнами. Стояние было бессмысленно, но никто не расходился. Это походило на неведомый ритуал, и Оля участвовала в нем наравне со всеми.

Ее охватила странная бесчувственность, подобие сердечной глухоты. Она слышала все, что происходило вокруг. Из коротких нитей оборванных фраз сама собой ткалась картина произошедшей трагедии. Но душу ее это

никак не затрагивало. Душа оставалась неподвижной, точно камешек в глубине пруда, чью поверхность колеблет мелкая рябь.

Ей только было немного удивительно, как она не догадалась обо всем раньше.

Неисчезающие синяки на худых руках («Олька, я корова! Снова дверь поцеловала всей тушкой»). Водолазка в жаркую погоду («Футболки в стирке; да мне нормально»). Грязные слухи, которые были правдой. Игра в тюремщика и заключенных, придуманная Мариной.

Беги, девочка, беги из этого дома! Слышишь – ключ поворачивается в скважине? Думаешь, ты единственная в поселке умеешь определять настроение вернувшегося мужчины по звукам его шагов?

Прыгай в окно, девочка. Тебе не стоит видеть, что сейчас произойдет, да и просто не стоит оставаться. Он бывает страшен и может обидеть тебя. Он голем, глиняный монстр, науськанный собутыльником. Ему очень редко бывает по-настоящему смешно, – возможно, поэтому он так часто смеется, надеясь имитацией веселья разогнать свою угрюмую тоску.

Лови печенье, девочка. И удирай, сжимая в кулаке хрустящие квадратики, – невинная и счастливая в своем неведении. Тебе хватает горьких открытий, чтобы добавлять к ним новые.

– Блудила девка, – невозмутимо говорят рядом с Олей.

– Да-а-а... А пела хорошо!

– Ох, светлая память!

Кто-то крестится. Кто-то закуривает и разгоняет ладонью дым. Ветер качает ветви березы, за лес уплывает облако, похожее на остров, ласточки срываются с проводов.

– ...внутри бы... Отмыть там, прибраться.

– Нельзя. Может, экспертизу будут проводить или еще чего...

– А поминки как?

– До поминок дожить надо.

– Одна, вишь, не дожила, – неуклюже острит кто-то.

Оля задирает голову к небу, как будто там можно разглядеть Марину.

Небо высокое и пустое. Ни облака, ни ласточек.

Катерина

Он нашел тела младенцев. Не помогла ни одна из моих ловушек. Каким-то образом ему удалось обойти их. Удивительно, что здесь до сих пор нет полиции. Но скоро она появится – едва этот человек задаст один-

единственный правильный вопрос.

Бессилие разливается во мне грязной лужей, в которой снуют бурые пиявки – мой страх.

Я помню день, когда они появились впервые.

Мне вплели в волосы алую ленту, Мине купили розовые туфли. У нее широкая нога. Отец рассказывал, что сначала искал обувь в детском отделе, но продавщицы подняли его на смех. Нам тоже было смешно – и мне, и Мине, и нашей матери, – когда мы слушали его.

Вся деревня собралась на праздник. В те времена здесь жило куда больше людей. Явились матроны, обсаженные крошечными детьми, словно ивы – птичьими гнездами; приковыляли старухи – их совиные лица тарацились из крахмальных платков. Старики и молодые мужчины надели лучшие костюмы. В наших местах «лучший» означает «единственный». Даже мой отец пришел в белоснежной рубашке, под руку с матерью, в те времена еще носившей голубое.

Лиза, наморщив брови, писала на подошве туфли имена своих подруг, иногда вскидывая голову, чтобы пересчитать их. Никого нельзя забыть! Та, чье имя сотрется первой, вскоре сама выйдет замуж. Черные глаза двоюродной сестры Иоанны неотрывно следили за ее руками.

У Иоанны взгляд человека, который что-то потерял, а голос такой, будто она что-то нашла. Мужчины спотыкаются, услышав, как смеется Иоанна. Она была одета скромнее всех гостей, даже руки не открыты. Но когда Иоанна танцует, кажется, будто она пляшет нагишом.

Мы смеялись, хлопали в ладоши, швыряли горсти твердого риса, выкрикивали поздравления. Затем все вместе двинулись к дому, где стояла кровать новобрачных.

У нас есть традиция: первым на постель сажают самого маленького ребенка из всех, кто найдется среди гостей. Какого пола ребенок, таким будет и их первое дитя.

Из толпы вытолкнули малютку Гого: он стеснялся и пытался спрятаться за юбками своих кузин.

– Гого, забирайся на постель!

– Подсадите его!

– Точно ли Гого? Не Мария?

Стали сравнивать возраст детей, и когда выяснилось, что Гого младше, все разразились аплодисментами. Мальчик-первенец – это к счастью.

– Полезай, дурачок!

Старый седовласый дед подсадил Гого. Все почтительно замолчали, глядя на малыша, восседавшего на вышитом золотыми нитями покрывале.

С его крошечных сандалет падала земля, но никто даже не поморщился.

– Поздравляю, Георгий, Лиза! – выкрикнула мать жениха, словно их ребенок уже появился на свет.

Тогда я заговорила.

– Мальчик от Георгия родится у Иоанны, а не у Лизы, – громко сказала я. – У Лизы будет девочка. Вы перепутали!

Я думала, это знают все. Мне было семь или восемь, и я не могла представить, что каждый из нас видит свой собственный мир, словно Господь сотворил бесчисленное их количество, а затем убедил нас, что мы живем в одном.

Если бы кто-нибудь обернул мои слова в шутку, все закончилось бы хорошо. Но повисла тишина. Все смотрели на жениха и красивую сестру Лизы, и невеста тоже уставилась на них. Георгий попятился. Он побагровел, а взгляд у него заметался. Иоанна высоко задрала подбородок и не двинулась с места. Лиза криво усмехнулась, бросила на пол букет и в полном молчании пошла прочь от большой нарядной постели, на которой они с мужем должны были зачать ребенка.

– Это она их сглазила! – взвизгнула мать жениха, ткнув в меня пальцем. – Она все испортила!

Моя мать нахмурилась.

– Девочка просто сказала глупость...

– Нет! – Меня было не остановить. – Я видела, видела! Я видела их вместе, Георгия с Иоанной.

Это было правдой. Я видела, как неделю спустя после свадьбы она проскальзывает в их дом, притворно удивляясь отсутствию хозяйки; как он шагает ей навстречу; как сминается покрывало с золотыми нитями – свадебное, вышитое бабушкой невесты.

– Ведьмино отродье! – не унималась женщина.

– Заткнись! – Андреас выступил вперед. – Девчонка подсмотрела за шашнями твоего сына, а теперь она же виновата?

Я пыталась объяснить, что не подсмотрела, а увидела, но меня никто не слушал. Поднялся ужасный шум. Словно из кастрюли, шипя, выплескивался кипяток на раскаленную плиту. Это была моя вина. Я зажгла огонь под плитой.

Тогда-то у меня в животе и скрутились бурые пиявки. Они присосались ко мне изнутри и стали тянуть в себя все хорошее и радостное, что случилось в тот день.

Я еще не знала, что это страх.

Через пару недель Лиза и Георгий помирились. Позже у них родилась

девочка, но к тому времени оба уехали далеко от Дарсоса.

Иоанна родила мальчика. Все говорили, что она окрутила приезжего парня из города, который потом и забрал ее с собой. Это было неправдой. Пусть все случилось не так, как я увидела, но все-таки Георгий пришел к ней и приходил еще не один раз – в те две недели, когда Лиза с ним не разговаривала.

На меня стали коситься. Иоанна хранила молчание. Но Лиза – вот удивительно! – Лиза, пока не уехала, на каждом углу кричала, что я сглазила ее жениха. «У девчонки тяжелый взгляд, – говорила она, – вы замечали, какие странные у нее глаза?»

Все стали заглядывать в мои глаза, как будто я была волчонком или собакой редкой породы, а однажды ко мне прибежал мальчишка, внук Стефании, и спросил, что я хочу получить за то, чтобы соседка Стефании сломала обе ноги.

Три месяца спустя случилась беда у священника, папы Христо. Он надстраивал второй этаж – надеялся, что у него будут останавливаться те туристы, которым не по карману отель. День был холодный и мутный, точно сукровица, и все тек и тек. Я сидела с деревенскими детьми, грызла яблоко, как вдруг что-то хрустнуло в сердцевине моей головы, и я увидела очень ясно, что вокруг дома бушует призрачный огонь.

– Эй, папа Христо! – Я спрыгнула с крыльца и подошла ближе, чтобы священнику было лучше слышно. – Ты зря стараешься! Будет пожар!

– Что?

– Перестань колотить своим молотком! Здесь все сторит!

Кроме священника, на крыше была еще пара мужчин. Все они побросали работу и уставились на меня.

– Ступай прочь, Катерина, – дрогнувшим голосом сказал папа Христо. – Если тебе мешает стук, иди к себе домой.

– Ты глупый человек! – Я рассердилась не на шутку. – Слезай оттуда! Не трать силы!

Мне казалось, что не только я, но и папа Христо видит зарево, и я не могла взять в толк, отчего он продолжает заниматься пустым делом. Мои приятели тоже прибежали и встали полукругом, задрав головы.

– Я сказал – ступай!

Христо всерьез рассердился.

Я презрительно пожала плечами. У нас есть пословица: деревня горит – шлюха моется, и ее-то я и напомнила остолбеневшему священнику. Мне частенько доводилось слышать, как отец бросает эти слова моей матери,

упрекая за бессмысленные хлопоты. Но мне и в голову не приходило, что эту фразу не должна произносить восьмилетняя девчонка.

Меня прогнали.

А через три дня случилась гроза. В доме замкнуло проводку, и он выгорел изнутри.

«Ты ополоумела? – кричал на меня Андреас. – Вся деревня твердит о тебе! «Дочь Димитракиса наслала огонь на дом священника, потому что ей мешал шум!»

Я пыталась сказать, что это не так, но меня никто не слушал.

«Благодаря родне твоей мамы у нас поганая слава! Все эти прабабки, наводившие порчу... А теперь еще и ты!»

Мина затаилась в углу и испуганно таращилась на нас.

«Ты навлечешь на нас беду, Катерина! – сказала мать. – Сначала свадьба, теперь пожар... Люди придут сюда, они будут очень злы».

Она не договорила. Но я поняла: рассерженные жители не станут церемониться.

«Кто-нибудь из этих дурней вызовет полицию! – кричал Андреас. – И что тогда?»

«Что?» – спросила я, и немедленно получила оплеуху.

«Заткнись, когда тебя не спрашивают!»

«Но ведь ты спрашивал...»

Вторая оплеуха сделала меня куда менее разговорчивой. Вы удивитесь, как пропадает охота выяснять правду, когда вместо щек у вас два распухших от боли блина.

Ночью на мою постель села мать.

«Ты ведь не насылала на него пожар, правда? Ты просто знала, что он случится?»

Я кивнула.

«Другие люди этого не видят, – сказала мать. – И они никогда не будут тебе благодарны за твои пророчества».

Сразу два утверждения, которые я не могла осмыслить. Как это – не видят? А если не видят, отчего не будут благодарны?

«Просто поверь мне, Катерина. Ты привлекаешь к нам внимание. Сюда придет полиция, начнет задавать вопросы... Вы с Миной непременно проболтаетесь... скажете что-нибудь...»

«Что? Что такого мы можем сказать?!»

Мать внезапно вспыхнула – это было видно даже в темноте.

«Маленькая дурочка! Ты не понимаешь, в чем можно признаваться, а в чем нельзя! Из-за тебя нас всех упекут в тюрьму!»

«В тюрьму?» – Я опешила.

«Следи за языком. Не предсказывай людям дурного. Если у тебя видения, держи их при себе, а не вываливай на первых встречных. Ты поняла меня?»

Я прислушалась.

Море шумело вдалеке угрюмо и грозно.

«Идет буря», – бездумно сказала я, просто чтобы заполнить словами тишину.

Мать ударила меня с такой силой, что у меня треснула нижняя губа. Я оцепенела – не от боли, а от несправедливости наказания. Кровь сочилась по подбородку.

«Вот об этом я и говорю», – сухо сказала мать и ушла.

Конечно, этим все не кончилось. Я на время прикусила язык, но мне было слишком трудно понять, что люди видят, а что нет. Я мечтала на время перевоплотиться в любого из них, чтобы научиться смотреть чужими глазами, думать чужими мыслями.

В деревне меня невзлюбили еще и за то, что я переняла манеру своего отца, высокомерную и грубую. Он не разговаривал с людьми, а выслушивал их с пренебрежительным видом. Цедил ответ сквозь зубы. Смотрел свысока, что было нетрудно при его росте. Он был чужаком и не пытался даже притвориться таким, как жители Дарсоса.

Люди не прощают чужаков. И еще не прощают нежелание притворяться.

Неосознанно подражая ему, я выглядела дерзкой и заносчивой.

Однажды Стефания – вечно потная сварливая старуха – потребовала от меня сменить тон. Не помню, о чем мы спорили. Должно быть, это выглядело смешно: тощая девчонка и седая толстуха, сцепившиеся на потеху всей деревне. Случайно подняв взгляд, я вдруг увидела хоровод черных птиц над ее домом: они кружили медленно, едва не задевая друг друга крыльями.

«Смотрите, птицы, – вслух сказала я. – Птицы смерти!»

Взгляды окружающих подсказали, что я совершила ошибку. Но клянусь вам, мне и в голову не могло прийти, что этих тварей вижу я одна!

Стефанию той же ночью хватил удар. А несколько часов спустя люди из Дарсоса собрались возле нашего дома.

Дальнейшее помнится мне смутно. Кажется, языки пламени лизали дом, и трещали сучья, пожираемые огнем, я билась в закрытую дверь, за которой кричала мать, а потом провал забытья – и вот надо мной уже ночное небо, мать тащит меня на руках, а перед ней тяжело топает Мина, и

доносится издали перепуганное бляение коз, запертых в сарае. Возможно, кое-что мне почудилось. Я была в бреду четыре недели, выныривая лишь затем, чтобы услышать тоскливую песню лалы, неведомо как оказавшейся возле моей постели, или ощутить горечь травяного отвара, который мать влила мне в рот.

Когда ко мне вернулось сознание, я была так слаба, что еще две недели училась держать ложку и ходить. От меня остались только кожа и кости. Мать рассказала, что Мина баловалась спичками и по неосторожности подожгла дом, однако отец сумел увести нас, а потом на помощь прибежали деревенские жители. Вместе с Андреасом они потушили пламя.

Я не спрашивала, правда ли это.

Я вообще больше никого ни о чем не спрашивала.

На меня снизошла немота – как благословение, как дар небес. Я молчала – и обретала покой. Сперва от меня самыми разными способами пытались добиться ответа. Особенно усердствовал Андреас. Но поняв, что я ничего не скажу, отступились – думаю, со скрытым чувством облегчения. Я больше не представляла опасности.

Долгое время на всех моих рисунках плясал взбесившийся огонь, сквозь который проступали страшные черные лица с полустертыми чертами. Приглядевшись, можно было понять, что это одно лицо, размноженное в пламени. Эти картины походили на репортаж из ада. Лала сжигала их, а пепел растирала в ладонях. Тогда она уже почти не вставала. Думаю, пожар подкосил и ее. Она ведь смотрела сверху – и ничего не могла сделать.

Глава 9

Русма, 1992

1

С мертвыми можно разговаривать. Оля раньше этого не знала. Не со всеми, конечно, – скажем, с Пудрой у нее по-прежнему нет общих тем.

Мертвые очень деликатны. Они не перебивают, не шмыгают и не чиркают зажигалкой, пока ты изливаешь им душу. Они слушают внимательно и терпеливо. Мертвые – это поистине благодарная аудитория.

В день похорон Оля дождалась, пока все уйдут с кладбища, выбралась из кустов, села возле могилы и попросила прощения.

– Прости, что я на тебя накричала, – сказала она, краснея. – И что шалавой обозвала. Я просто повторяла... за Димкиной бабушкой, ну, и еще, знаешь, за всякими глупыми людьми...

Я разозлилась. Мне казалось, что ты меня предала. А ты даже себя не смогла защитить, не то что нас с мамой.

Знаешь, твой муж написал чистосердечное признание. Говорят, переписывал его четыре раза – все пытался представить дело так, будто это ты его довела. Требовал привлечь свидетелей – ну, тех мужчин, с которыми ты... которые твои... в общем, с которыми ты общалась. Чтобы они подтвердили следствию, что он не просто так тебя убил, а по веской причине.

Тебя хоронили в закрытом гробу. Не знаю, помнишь ты свои последние минуты. Надеюсь, ты была без сознания. Он обошелся с тобой... жестоко. Да. Я даже не догадывалась, что... Хотя, не важно.

Слава богу, он тебя в конце концов задушил. Странно звучит, знаю. Он воспользовался веревкой для сушки белья, которую ты три недели собиралась натянуть во дворе, помнишь?

Это было ночью, а наутро он пошел с повинной. Отец говорит: слабак, надо было сдернуть сразу, тем более у него родня где-то под Краснодаром. Еще отец говорит, что теперь Витька – его герой. Что ему надо поставить памятник, а вместо этого влепят пятнашку, и то если повезет с адвокатом. Говорит, он поступил как настоящий мужик.

И не он один так думает. Просто другие не произносят этого вслух.

На твоих похоронах было не очень много народу. Надеюсь, тебя это не расстроило. У большинства из тех, кто упоминает твое имя – а все только о тебе и говорят в эти дни, – сразу же делается такое нравоучительное выражение лица, словно ты пример из книжки по поведению. «Как не должна вести себя девочка, чтобы не быть задушенной». Ты не подумай, вслух они осуждают твоего Виктора. И еще ругают водку. Говорят о ней так, словно она персонаж из сказок Бажова – как все эти огневушки-поскакушки и прочие хозяйки медных гор. Вот и водка для них – хозяйка. Хозяйка живых душ.

Только тут есть одна загвоздка... Виктор ведь бил тебя и трезвым, Марин. И душил частенько. Накануне того дня, когда ты встретила меня в водолажке под горло, помнишь? Почему ты не показала мне синяки на шее? Вдруг что-то изменилось бы.

Или нет.

Я знаю, что нет. Ты не думай, я понимаю.

Ты не могла мне помочь. И я тебе тоже. Как-то странно все устроено, правда? Мы же с тобой были, ну, вроде как друзья. Если друзья не могут помочь, кто же тогда может?

Я наивные вопросы задаю, да? Мне просто не с кем поговорить об этом, кроме тебя. Димку не хочется грузить. Он становится такой виноватый, когда я рассказываю... ну, о том, что у нас дома. Раньше я не замечала. А теперь вижу. Мне это вообще не сдалось ни разу, его муки совести. Вот уж кто ни при чем, так это Димка. У него, между прочим, своих проблем дофига.

Знаешь, на последнем уроке по литературе нам задали написать сочинение о том, как мы собираемся прожить эту жизнь. Кулешова постоянно что-нибудь такое выдумывает, пионерское. Как ты про нее говорила? «Дама с пыльными идеалами!» Она, наверное, ожидала прочесть что-то вроде «Я – Петя, хочу стать космонавтом», или «Я – Лена, мечтаю шить для людей простую удобную одежду».

Без понятия, что наплели остальные. Я написала, что очень хотела бы прожить свою жизнь хоть как-нибудь, но пока выходит так, что жизнь проживает меня, и больше всего это похоже на то, что тебя пережевывает большая корова и даже не особо вдумывается, что за дрянь у нее во рту.

Я честно пыталась придумать что-нибудь еще. Не смогла.

Не знаю, что мне поставили за сочинение.

Кажется, оно было вообще без оценки. Просто чтобы занять нас хоть чем-нибудь. Я, кстати, только сейчас это поняла.

Ветер поднимается... Мне уже скоро пора. За многие вещи нас никто

не будет оценивать. Они ни для чего не нужны, они случаются просто так. Ты просто так умерла. Ни для чего. Жизнь не изменится с твоей смертью. Твоего мужа посадят, конечно. А в остальном все будет по-прежнему. В Русме все как шло, так и идет. Отец вчера замахнулся на мать отверткой. Мне показалось, он ее вот-вот в глаз ударит. И у него такое лицо стало... Как у рыбака, который вытягивает из реки щуку или сома килограмм на двадцать. Как будто он воткнет ей в глаз отвертку и сразу кинется к своим приятелям – показывать, какую огромную жирную маму он убил. И руки будет так разводить... Широко. А все станут хлопать его по плечу и говорить, что он, конечно, приврал, но только самую малость. – Оля замолчала, рассматривая след лопаты на влажной земле. – Ладно, мне пора. Я тебе завтра еще что-нибудь расскажу.

Цветов на могиле было немного: подвявшие красные розы, несколько букетов хризантем и венок от скорбящих сотрудников дома культуры. Оля дошла до участка, где была похоронена Пудра, взяла несколько свежих букетов и потащила их обратно. Манины цветы она красиво разложила между хризантем и роз, а венок поставила в изголовье, хотя он ей не очень нравился.

– Смотри, как красиво!

Но чего-то недоставало. Девочка огляделась и вырвала с корнем молодой лопух, выросший возле соседней ограды. У него была замшевая изнанка и прожилки, напомнившие ей реку Енисей в контурных картах по географии. Оля воткнула лопух с Енисеем в центр вскопанной земли, и странным образом он объединил хаотично разбросанные цветы в единую композицию.

«Завянет – новый сорву».

Елена Васильевна была права.

Если вчера было плохо, а сегодня еще хуже, то завтра наступит каюк. «Это же геометрия, – думает Оля, – как я раньше не догадалась». Через две точки можно провести только одну прямую, и эта прямая – горка, по которой они с мамой катятся, как две пустые бочки. Может бочка сама затормозить? Вот то-то же.

– В нем что-то изменилось, – говорит она Димке.

Они стоят на краю поля, возле той самой канавы, где Оля торжествовала над павшим Грицевцом. Кажется, это было очень, очень

давно. На днях через канаву перебросили крепкие широкие мостки. Теперь, даже если бы бидон у нее в руках был из чугуна, ей не удалось бы сбить Женьку в грязь.

– Все-таки умеют некоторые вещи совершаться вовремя, – бормочет Димка, и Оля понимает, о чем он.

Ее победа, казавшаяся огромной, как воздушный шар, после Марининой смерти съжалась до размеров теннисного мячика. Он лежит в ее ладони, приятный на ощупь. Но больше никуда, никуда не может ее поднять.

– Ты про отца говорила, – напоминает Синекольский.

Они переходят по мосткам и оказываются по колена в траве.

Три дня назад здесь расцвел рапс – сразу, одновременно, как золотой вздох освобожденного от холода поля. Лимонно-зеленое одеяло простирается до самого леса, и над ним плывет, густея, медовый аромат. В этом аромате купаются сотни пчел; воздух наполнен их жужжанием. Если закрыть глаза, кажется, где-то очень далеко беспрестанно бьет хриплый низкий колокол – в глубине земли, под ногами.

– Офигеть... – замороженно говорит Оля.

Она касается ладонями мягких цветочных головок.

– Вот цапнет пчела, обе офигеете.

Оля молчит. Красота и безмятежность цветущего поля отзываются в ней какой-то острой горечью, болезненным восторгом, словно она – приговоренный к смертной казни, знающий, что через пять минут его расстреляют среди этих золотых цветов.

– Рассказывай.

Синекольский бросает свою куртку, приминая траву. Они садятся рядом, и качающийся под ветром рапс укрывает их от посторонних взглядов. Чердак перестал быть безопасным местом. А здесь их никому не найти.

– Это из-за смерти Марины, – неохотно говорит Оля. – С ним что-то случилось.

Димка косится на ее руки. Оля непроизвольно одергивает вниз рукава, натягивает до кончиков пальцев.

– А то я дурак, – фыркает он. – Ни разу не допетрил, с чего ты в рубашке. Давай, закатывай. Сидишь тут, преешь, как леший в бане.

– Почему леший? – улыбается Оля.

Но рукава все-таки закатывает. Синяки уже позеленели и выглядят не так жутко, как позавчера.

Короткое ругательство вырывается у Синекольского.

– Эй! – Оля беззлобно дает ему подзатыльник. – Без мата!

– Ладно. Чего он, совсем озверел?

Озверел. Это правильное слово.

Что-то произошло с отцом в тот день, когда поселок поразила страшная новость о смерти Марины Левченко. Зверь жил в нем всегда – омерзительная тварь, единственный раз явившаяся Оле тогда, на кухне, после убийства Пудры. Однако отец скрывал его, как скрывают уродство или болезнь. Теперь же все изменилось.

– Он по голове ее начал бить, – выдавливает Оля. – И ногами. Меня больше не подпускает к ней. Я пыталась... – Она бросает взгляд на свою руку. – Отшвыривает. Я думала, после смерти Марины он... ну... что это его как бы...

– ...отрезвит, – подсказывает Димка.

– Ага. Что-то вроде того.

Гибель Марины должна была все изменить. Оля, пораженная ее чудовищной смертью, не могла не думать о том, что для их семьи эта беда должна обернуться благом. Отец воочию убедился, к чему могут привести его издевательства. Если он не остановится, то рано или поздно разделит судьбу Виктора Левченко. Жена мертва, муж в тюрьме – разве такого будущего он хочет? Оля спрашивала себя и отвечала твердо, без малейших сомнений: нет. Он умный. Он остановится.

– Вчера за нож схватился. – Она разминает в пальцах сорванный цветок. – Кричит: ты мне изменяешь, паскуда. И глаза белые, как сырое яйцо.

– Оно желтое.

– Ну, как вареное яйцо. Белок. Любишь белок?

– Терпеть не могу.

– И я...

Отец должен был взять себя в руки и устраситься пропасти, открывшейся перед ним. Вместо этого зверь поднял морду на запах крови и призывно заворчал.

– Он как будто спятил, понимаешь? То кричит, что мать ему изменяет. Хотя это бред, она с работы до дома добегает за шесть минут, где ей изменить, на дороге, что ли? То орет, что мы все над ним смеемся. Мы – смеемся! Прикинь!

Она горько усмехается. С ходу не вспомнишь, когда последний раз ее мама искренне смеялась. Кажется, когда они смотрели «Человека с бульвара Капуцинов».

– Она его боится. И все равно делает глупости. Я реально иногда

думаю: блин, ну ты тупая, что ли! Он заявился к полуночи, дверью шандарахнул, ботинки распинал, куртку ее с крючка сорвал и на пол швырнул. Ну, спрячься ты! Так нет, она ему под руку лезет: как день прошел, Коленька? Что-то ты припозднился!

Оля очень похоже передразнивает заискивающий мамин голос. У Димки перед глазами возникает толстая женщина, за улыбкой скрывающая страх. Она пытается съежиться, чтобы занимать как можно меньше пространства, но ее слишком много, она чересчур большая и сама это чувствует. Слонихе негде спрятаться в клетке.

– Мне кажется, он ее для этого и раскармливает, – говорит Оля, будто читая его мысли. – Чтобы куда ни врежь, попал бы в жену. Удобно!

Она нервно смеется и прикусывает соломинку.

– А еще он привычку новую взял – называть себя хозяином. Вроде как у него и земля, и деньги, и в доме он главный. Приходит такой и с порога: «Здорово, бабы, хозяин пришел!»

Оля замолкает, но Синекольский и без ее слов живо представляет, как сжимаются они обе, мать и дочь, и как отчетливо слышат в его браваре ухмылку рабовладельца. «Ваш хозяин».

– Пусть в милицию идет. – Димка отгоняет пчелу с ее руки. – Если все так, как ты говоришь... то все плохо, Оль.

Девочка вопросительно смотрит на него. Он очень редко называет ее по имени, почти никогда.

– Знаешь, в глубине души я уверена, что он ее, конечно, не убьет, – спохватывается она. – Он же не самоубийца! Но до больницы доведет, это точно.

– Слушай... – Синекольский кряхтит, но все-таки решается, – может, это и не худший вариант, а? В больнице побои снимут. Ментов вызовут. Его привлекут. Ну правда, вы там сидите, как в дупле... скрываетесь от всех. Смешно, честное слово. Все равно вся Русма знает.

– Его же не посадят!

– Его припугнут! Твой батя, может, только с вами такой герой. А на нары ему неохота.

– Всем неохота...

– Вот видишь.

Они молчат, греются под лучами солнца.

– Вызовешь и «скорую», и милицию. Или зайди в отделение да поговори.

– С ума сошел? – пугается Оля. – Вот тогда он нас точно прикончит.

– Не узнает!

– Как же, не узнает! Он с Челпановым пьет по субботам. Узнает, еще как.

Мысленно она прокручивает в голове идею, предложенную Синекольским. Дождаться, когда отец снова начнет рукоприкладствовать... Не вмешиваться. Телефон утащить в свою комнату и позвонить, как только он ее ударит.

Или нет, лучше, когда ударит два раза.

У Оли внутри что-то сжимается при мысли о том, что она сидит и хладнокровно высчитывает, сколько ударов должна вытерпеть ее мама, чтобы этого хватило для милиции.

– Думаешь, подействует с первого раза? – спрашивает она.

– Думаю, у тебя выбора нет. Ты же сама сказала: он разошелся. Ну и будет он буянить дальше, раз ему никто стоп-кран не дергает. Тебе мать не жалко?

Оля так смотрит на него, что Димка немедленно раскаивается в своем вопросе.

– Ладно, прости. Глупость ляпнул. Правда, извини!

Он срывает колосок и протягивает девочке. Оля сует его в рот. Примирение состоялось.

Теперь, когда они придумали такой простой и действенный план, на душе у нее становится легче.

– Пошли к Марине сходим, – предлагает Оля. – Теперь-то бабушка тебе не запрещает ее навещать.

Девочка собирается привести свой план в исполнение в ближайшие дни. Но с отцом снова происходит что-то странное. Всю неделю он возвращается молчаливый, погруженный в себя, и ему совершенно не до жены и дочери. Он как будто подслушал разговор Димки и Оли и теперь обдумывает, как избежать ловушки.

В Оле наперебой говорят два голоса, от которых порой она сходит с ума. Маленькая девочка ликует: он не трогает больше маму! он не обижает ее! он в самом деле испугался и присмирел! теперь все будет хорошо, нужно только время, чтобы он привык к самому себе, новому.

Хищный зверек шипит и яростно охаживает себя хвостом по бокам: здесь что-то не так! Посмотри – твоя мать ходит, втянув голову в плечи. Слышишь ее шаги? Нет? В том-то и дело. Она изо всех сил старается

ступать бесшумно, хотя это очень непросто с ее весом. Она, кажется, так привыкла к ежедневным побоям, что временная передышка пугает ее. И правильно! Чем-то тревожным пахнет в воздухе, словно собирается буря, и когда она закончится, ты уже ничего не сможешь изменить. Не тяни, девочка! Замани его в ловушку!

Эта передышка – как оттянутая резинка рогатки. Чем дольше длится тишина, тем сильнее ударит выпущенный камень.

«Быстрее, быстрее! – нашептывает внутренний голос. – Не тяни, иначе он опередит тебя».

Но выполнить то, что она задумала, не так-то просто. Лишь со стороны может показаться, будто ее план примитивен до смешного: дождись, пока он начнет распускать руки, и вызови милицию и врачей.

Оля уже достаточно взрослая, чтобы понимать: из-за наставленных жене синяков отца не накажут. Он должен достаточно серьезно изувечить ее, чтобы нельзя было отмахнуться от этого факта.

Сломанная рука? Челюсть?

Оля берет в библиотеке атлас анатомии человека и по ночам, спрятавшись с фонариком под одеялом, изучает устройство маминого тела, как изучала бы часовой механизм. Какую деталь можно сломать, чтобы часы не встали, но всем было ясно, что нужен ремонт?

Ее внезапно начинает злить, что на матери столько жира.

Жир может помешать.

«Лучше всего, если он сломает ей ребра. Ребра легко заживают, не слишком сильно болят, но перелом будет виден на рентгене. Да, ребра – это идеально, – думает Оля. – И ведь он в самом деле часто бьет ее в корпус... Просто обычно удар приходится ниже».

Иногда она спохватывается, что делает что-то не то. Что не от нее зависит, как именно в очередной раз ее озверевший отец будет избивать маму. Но Оля отгоняет эти мысли. Как ни странно, есть нечто утешительное в тех жутковатых расчетах, которые она упорно производит ночь за ночью. Нижние ребра. Желательно два или три...

Хотя челюсть тоже нормально срастается.

В конце концов она заставляет себя подойти к делу с другой стороны. Димка, видящий ее в эти дни, поражается ее глубокой, почти безумной сосредоточенности. Оля не замечает, как похожи они становятся с отцом; ею полностью завладела бесчеловечная математика.

– Так больше нельзя, – говорит она однажды. – Мать должна его спровоцировать.

– Зачем?

– Иначе он ее не побьет.

– Да и слава богу!

Оля раздосадованно отмахивается. Синекольский не понимает, и ему не объяснишь: то, что происходит сейчас, – неправильно, это нарушение привычного образа жизни, а все нарушения ведут к худшему. Потому что они уже катятся с горки. Об этом еще баба Лена сказала. Разве она не должна прислушиваться к мнению старших?

Оля тихонько смеется. Димка взглядывает на нее почти испуганно.

– Эй, ты чего?

– Ничего. Давай придумаем, как она выведет его из себя. Он должен избить ее! Понимаешь? Должен!

Перед ее фанатичной убежденностью Синекольский сдается.

– Давай...

Двое подростков, сидя на чердаке, перебирают жизни мужа и жены, словно перетряхивают мешок с барахлом.

– Что он любит? Ну, хобби какое...

– Бухать у него хобби!

– Идея! А бутылки у вас есть? Типа, водка дорогая. Или даже коньяк...

Оля качает головой. Нет, дорогих бутылок в их доме не водится.

– Рыбачит, может?

– Да не...

– Слушай! Чего мутить! А пускай просто суп ему пересолит?

– Брось! Он не взбесится.

– Раньше бесился...

– Да он смирный как монах.

– Ты хоть одного монаха видала?

– Отстань!

– Ну, елки... тогда туалетную бумагу ему замени на рулон наждака.

Оля ошеломленно смотрит на Димку, а спустя секунду валится на пол от хохота.

– Ха-ха-ха! Наждак!

– Тихо ты! Ржешь как лошадь.

– Ха-ха-ха!

– Белка! Погонят нас отсюда ссаными тряпками! Все из-за тебя.

Девочка зажимает рот руками. Но смех рвется из нее, целый фонтан хохота. Благодаря дурацкой Димкиной шутке отец из страшного чудовища на секунду превратился в противную неопасную тварь вроде таракана. Хлопнул тапочкой – и нет его.

Она неохотно успокаивается. Перестать смеяться означает

распрощаться с этой иллюзией. Отец не таракан, а если и таракан, то гигантский, хищный, способный одним движением челюстей перекусить двух маленьких человечков, ее и маму.

– Интересно, бывают хищные тараканы?

– Хочешь ему в трусы подбросить?

Оля снова валится на пол от беззвучного смеха.

Димка чувствует что-то неладное в этом буйном веселье.

– Скажи, что ее мужик с работы провожал до дома. Раз твой батя ревнует...

Девочка морщится. Он ревнует не по-настоящему. Точнее, ярость его неподдельна, а вот повод для нее надуман, и он сам об этом знает. В памяти всплывает Марина. «Трется, шкура, со всеми подряд...»

– А Марина правда изменяла мужу?

– Конечно, правда. – Димка смотрит на нее с удивлением. – Весь поселок в курсе.

Какие еще уязвимые места у отца? Оле нравится размышлять об этом. Она так долго была удирающим кроликом, что сейчас, когда в ней проснулась лиса, хочет сполна насладиться этим новым чувством.

Подумать только – они вдвоем с Димкой сочиняют хитроумный план!

Они загонят отца в яму с острыми кольями.

– А книги он читает какие-нибудь?

Нет, он ничего не читает.

Он не смотрит телевизор – или, во всяком случае, не смотрит его *осознанно*.

Ему неинтересна охота.

У него нет друзей.

Девочка впервые задумывается о том, до какой степени пуста повседневная жизнь ее отца – точно старая дождевая бочка с гнилой дырой, что валяется за сараем. Какими событиями она заполнена? Пьянками, домашним мордобоем и странным времяпрепровождением в разношерстной компании мужиков, которую отец называет увесистым словом «коллектив». «Посидим с коллективом», – авторитетно говорит он, уходя из дома. Следующие пять-шесть часов они проведут вокруг дощатого стола, стуча костяшками домино и обсуждая политику с такими смехотворно важными лицами, что даже Оле понятно: ни один из них ни черта не смыслит в том, о чем говорит.

Что еще?

Жратва. Сон. Вечерняя газета, которую он читает от корки до корки. В это время никто не смеет его отвлекать – отец погружен в дела внешнего

мира!

Вот только Оля однажды вместо свежей газеты подсунула ему вчерашнюю. Он изучил ее с обыкновенным тщанием. Девочка с содроганием сердца ждала гневного окрика, но ничего не произошло. С надутым от важности лицом отец прочитал старую газету, изученную накануне, и удовлетворенно отложил ее в сторону. Он не вспомнил ни одной статьи.

Что еще есть в его жизни?

Ах да, бабушка. Его обожаемая мать, чем дальше, тем больше напоминающая безмолвного каменного божка, которому они с мамой приносят жертвоприношения в виде тарелок с борщом и утреннего творога.

Смутная догадка, что их жертвоприношение в действительности заключается вовсе не в этом, на миг вспыхивает в Олиной голове. Но сразу вытесняется более простой и понятной мыслью.

– Димыч! Я знаю!

– Чего?

– Я знаю, чем она его взбесит!

Глава 10

Греция, 2016

1

На заднем дворе Бабкин разгружал коробки с продуктами под восхищенные перешептывания поваров. Поначалу он воспринял эту работу как наказание. Он! Сыщик! Бывший опер! Пользовавшийся, между прочим, всеобщим уважением – и выполняет обязанности зеленого юнца! Бабкин скрипел зубами и мысленно клялся Илюшину поставить это в общий счет.

Коробки оказались действительно тяжелыми. Сергей перетаскал из фургончика в подсобку восемь штук и вдруг понял, что ему это нравится. Он обливался потом, испачкал рубашку и, кажется, слегка потянул мышцу. Но его до смешного радовало, что эта работа действительно необходима.

«Мальчишка бы не справился».

– Сергей! Сергей!

Бабкин только что подхватил коробку с банками зеленого горошка. Появление Яна его не порадовало. Он намеревался трудиться еще как минимум час.

– Что-то рано вы вернулись, – прохрипел он.

– Мне кажется, Макар решил убивать Гаврилова!

– Это ему только на пользу.

– Кому?

– Обоим.

Но коробку Сергей все-таки поставил.

– Гаврилов следил за Синики... Синека... этим человеком, которого вы ищите! – выпалил Ян.

– Что-о?

– Да, это правда! Его продавец опознал!

Бабкин присвистнул.

– Гаврилов в номере?

– Не знаю, – растерялся Ян. – Ваш друг туда пошел... Да, наверное.

– Не вздумай тут без меня ничего перетаскивать! – приказал Сергей. –

Пупок надорвешь.

Ледяной голос Илюшина он услышал, едва подойдя к номеру клиента. Дверь была приоткрыта, и Бабкин задержался на несколько секунд, прежде чем постучать. Он только сейчас понял, до какой степени взбешен Макар. Если даже ему стало не по себе, страшно представить, каково Гаврилову.

Сергей был прав. Петр Олегович протрезвел разом, словно его окунули с головой в прорубь. Он пытался вынырнуть, но каждое слово нанятого им сыщика давило на плечи, топя и не давая вдохнуть.

– ...дважды. Первый – когда сказали, что у вас с женой прекрасные отношения. Второй – когда убеждали, что понятия не имеете, где она может быть.

– Я не...

– Контракт расторгнут, – оборвал его Илюшин. – Аванс остается у нас. Мы улетаем первым же рейсом.

Бабкин беззвучно протиснулся в номер. Гаврилов даже не взглянул на него; лицо его было перекошено.

Странное дело: еще вчера Сергей всей душой приветствовал бы такую развязку. Он готов был даже вернуть выплаченную им сумму и великодушно забыть, что они потратили на расследование время и силы.

Но сейчас в нем поднимался внутренний протест. Где Ольга Гаврилова? Ему хотелось знать ответ на этот вопрос точно так же, как немецкой старухе, что требовательно дергала его за рукав. Он не досмотрел фильм до конца. А если они сейчас уедут, никто не расскажет ему финал.

– Я вас не обманывал!

– Дмитрий Синекольский, – отчеканил Макар.

Гаврилов зашевелил тяжелой нижней челюстью и стал похож на жука, пытающегося перемолоть слишком толстый лист.

– Вы за ним следили. Были в городе. Видели его письма вашей жене.

– Я не...

– Да или нет?

– Видел, – одними губами сказал Петр.

– У вашей жены утром восьмого было свидание, – неприятным голосом сказал Илюшин. – Где ее тело? В скалах? Или вы все-таки ее закопали?

Гаврилов протестующе вскрикнул, но под ожесточенным взглядом Илюшина смолк. Только губы по-прежнему слабо шевелились, словно жили отдельной жизнью на белом как мел лице.

– Вы же знали о Синекольском, Петр Олегович. Следили за ним еще до ее исчезновения. Они часто встречались?

Гаврилов молчал.

– Вы ее ревновали к каждой собаке. Подстерегли восьмого, когда она возвращалась после встречи с любовником, убили. Утром она выскочила из номера босиком, даже не переодевшись, – очень торопилась. Это сыграло вам на руку, когда вы подняли тревогу. «Моя жена не могла не взять свою камеру!» Могла, если она планировала вскоре вернуться. А у нее было мало времени, не больше сорока минут. Видимо, вы плавали меньше, чем обычно, или она не рассчитала...

– Все было не так, – хрипло выдохнул Гаврилов. Пот градом стекал по его лбу. – Зачем бы тогда я нанял вас?

– Сначала я допускал, что вы спятили. Но теперь думаю, с головой у вас все в порядке. Вы хотели, чтобы мы вышли на Синекольского и обвинили его в смерти вашей жены, так?

– Ты с ума сошел!

– Не знаю, правда, как вы собирались это реализовать... И даже предполагать не хочу.

– Я ее не убивал!

Гаврилов вдруг выдрался из кресла и, издав утробный рык, двинулся на Макара с неотвратимостью лавины. Облапив Илюшина, вмяв его в себя, как ребенок игрушку, Петр Олегович забубнил ему в ухо, мерно раскачиваясь вместе с ним:

– Не убивал, богом клянусь... что хочешь бери, только не уезжай... дом есть в Подмосковье, газ проведен, соседи нормальные... возьми! хочешь, прямо сейчас перепишу! Только найди, найди ее... мне бы только поговорить с ней, понимаешь? спросить, почему, зачем она так со мной...

В следующий миг Бабкин разорвал эти дикие объятия. Слегка потрепанный Макар в сердитом изумлении уставился на Гаврилова.

– Совсем вы ополоумели, Петр Олегович.

– Участок... двадцать соток... – бормотал тот, глядя перед собой слезящимися глазами.

– Вы ее прикончили?

– Нет! Никогда! Я бы пальцем ее не тронул!

– Что? – Илюшин фыркнул. – Да вы ее били! Постоянно! Войдете в легенды отеля: даже горничных не стеснялись!

– Что? Горничных?.. Как это, зачем...

– Здесь полно свидетелей вашего рукоприкладства! И попробуйте только мне сказать, что это не так! Вы ей пощечины давали, при всех, не стесняясь!

Гаврилов вскинул голову:

– Ей это нравилось! – отчаянно выкрикнул он.

– Прекратите.

– Клянусь! Она сама меня просила!

– Так оно обычно и бывает, – со знанием дела поддакнул Бабкин. – Живет себе женщина, чувствует – все хорошо, но чего-то не хватает. И просит мужика своего: начисти мне рыло, милый. А то как-то пресно все стало, скучно. Если повезет, он ей еще и пару ребер сломает. Ну, знаешь, бонусом!

Гаврилов бессмысленно уставился на Сергея.

– Оля м-м-меня п-п-просила, – заикаясь, повторил он.

И застыл посреди комнаты, пошатываясь – сутулый, багровый, до уродливости несуразный.

Бабкин мысленно сплюнул.

Однако Макар очень внимательно посмотрел на клиента и, похоже, увидел что-то такое, чего Сергей не разглядел. Он развернул стул спинкой к Гаврилову и сел.

– О чем она вас просила?

– П-подраться...

– Вы практиковали игры? Для... э-э-э-э... оживления личной жизни?

– Нет, – сказал Гаврилов, к которому постепенно возвращался нормальный цвет лица. – Это никакие не игры.

Он чувствовал себя так, будто совершает предательство, выворачивая наизнанку их с Олей жизнь. Это было частное, неприкосновенное, а самое главное – это было только Олино, и он не имел права пускать туда чужаков. Но иначе они бы уехали. Он не мог позволить им уехать.

В свое время ему пришлось долго и мучительно плутать в лесу из недомолвок, намеков и завуалированных требований. На Ольгу словно было наложено заклятье немоты, не позволявшее ей прямо сказать, чего она хочет. Десятки ее провокаций ни к чему не приводили, пока однажды, ощущая себя бестолковой собакой, не соображающей, чего требует от нее любимый хозяин, Гаврилов не ударил ее по плечу.

– Я должен был ее бить, – сказал Петр, не глядя на Сергея с Илюшиным. – Это был как бы... комплекс. Комплекс мер. – Никогда он не ощущал себя глупее, чем произнося это. – Начиналось с пощечины. Потом мог... по спине ударить. По рукам. Это должно было идти по нарастающей. В виде наказания за что-нибудь... как будто она меня спровоцировала. Понимаете?

– Нет пока. Все это заканчивалось сексом?

– Все это заканчивалось тем, что она на меня кидалась, – сказал Гаврилов и поднял на Макара совершенно трезвые глаза. – Как в

фильмах... когда героя долго бьют, а потом он встает и убивает всех своих врагов. Это я был ее врагом. Она больше никому не могла это доверить.

Бабкин с Макаром переглянулись.

– Сначала вы ее били, а потом она давала вам сдачи? – уточнил Илюшин. – Это было... наказание? Она в чем-то провинилась и вы ее наказывали?

– Нет. Ничего общего. Я... – признаться в этом было труднее всего, – я не знаю, что это было. Она мне никогда не рассказывала.

– И вы не спрашивали?

Гаврилов закрыл глаза ладонью. Как им объяснить? Оля доверилась ему, и больше всего он боялся нарушить хрупкое равновесие, к которому они так долго шли. Его постоянно мучил страх – страх, что она все-таки уйдет, потому что он так и не понял, что за человек каждое утро просыпается и каждую ночь засыпает рядом с ним.

– Ей становилось легче, – сказал он наконец. – Я объяснил себе, что это такая... терапия. Научился ловить... чувствовать... понимать, когда это ей нужно. Сначала ее охватывало возбуждение, Оля много смеялась, вздрагивала от громких звуков... Тогда я начинал... вот это все. Она пряталась от меня, потом избивала в ответ и успокаивалась.

– Надолго?

– На месяц, два.

Гаврилов не стал рассказывать, как трудно ему было поначалу и как быстро он вошел во вкус, привык ее бить. Больше всего его страшило, что Ольга поймет это по его глазам. И тогда бросит его и найдет другого – того, кому придется преодолевать себя, чтобы ударить ее, как некогда и ему. Потому что, как бы нелепо это ни звучало, все это время его жена оставалась человеком, ненавидящим насилие.

Бабкин вопросительно взглянул на Макара. Он ничего не понимал во всей этой истории. Они ищут сумасшедшую? Тогда почему клиент твердит, что она не принимает таблеток?

– Ольга что-нибудь говорила? – неожиданно спросил Илюшин. – В процессе этой... экзекуции?

Гаврилов на секунду замялся. Но он выложил им так много, что скрывать что-то еще просто не имело смысла.

– Что я сдохну, а они будут жить.

– Они?

– Я не знаю, кого она имела в виду.

– Хоть какие-то предположения есть?

– Я не строил предположений! – взорвался Гаврилов. – Я тебе не

Алиса в Стране чудес!

– Это что за внезапные сравнения? – озадачился Макар.

– Страшно открывать лишние дверцы, понимаешь? – горячо заговорил Петр. – Там ведь ни хрена не сад! Не розы, не карточная колода... Там, блин, черные дыры! Я бы все вынес. Все! Но – другой-то, другой человек, внутри которого эта дрянь! Он-то – вынесет? А если нет? Ты туда сунулся, хотел как лучше, а у него там кишки, грязь, гной, все в кровище... Я же не врач, не исповедник... не психолог, в конце концов! Если бы Оля захотела, она бы рассказала. Кто я, блин, такой, чтобы лезть? Я бы все для нее!.. – Он сжал кулаки. – Но вдруг будет хуже? Вдруг больнее? Это ведь не отмотаешь назад, как пленку, не залепишь пластырем.

Он хотел добавить, что пытался ее беречь, потому что никогда прежде ни в ком не встречал такого сочетания уязвимости и ярости, которое, кажется, испепеляло ее изнутри. Но не стал.

Илюшин молчал, постукивая пальцами по спинке стула. Второй сыщик стоял, прислонившись к стене. По непроницаемому взгляду темных глаз ничего нельзя было понять.

– Когда вы узнали про Синекольского? – спросил наконец Макар.

Из Гаврилова как будто выпустили воздух.

– Случайно увидел адресата у нее в почте, – бесцветным голосом сказал он. – Это человек из ее прошлого, Оля однажды случайно обмолвилась. Они вместе ходили в школу... и черт знает что еще делали! Я без понятия!

Этому Синекольскому, будь он проклят, был доступ туда, куда сам Гаврилов боялся даже заглядывать. Он знал о его жене то, что ему не было известно.

– Ольга что-нибудь говорила о нем? О его письмах?

Петр покачал головой.

– Я заподозрил неладное... Выяснил, что он здесь рядом... И тогда подумал, что... что...

– ...что она приехала сюда не ради свадьбы, и не ради Греции, а ради своего приятеля? – спросил Илюшин.

Гаврилов молчал. Эта мысль пришла ему в голову уже после Ольгиного исчезновения. Сначала он лишь следил за парнем, но это оказалось совершенно бессмысленно. Тот ходил на море, жрал в ресторанах, вечером заваливался на убогие греческие дискотеки. Чего Петр хотел добиться своей нелепой слежкой, зачем он несколько дней подряд врал жене о причине своих отъездов в Неа Калликратию – этого Гаврилов не мог бы объяснить даже самому себе. Ему становилось спокойнее, пока

он держал эту сволочь Синекольского в поле зрения, – вот в чем было дело. Как будто тот оставался в его власти.

– Она убежала к нему, – наконец сказал он. – Устала от меня. Он ее знает, они вместе выросли. А я чужой. Я не сразу понял... Но Ольга с ним, она жива, я это чувствую. Поэтому вы нужны мне. Вы умеете искать пропавших людей. Я хочу, чтобы вы нашли ее и вернули. Хотя бы на час. Только поговорить! Вы сможете убедить ее. Я не смогу.

– Чувак, ты не по адресу, – пробасил Сергей. – Найми местных спецов, они тебе отыщут ее в два счета...

– Я нанял четверых, – перебил Гаврилов. – Никакого результата. Они уверяют, что у Синекольского ее нет...

– Что значит четверых? Вокруг рыщут частные детективы?

Гаврилов отмахнулся:

– Что им здесь делать... Они следят за этим уродом.

– Синекольский меняет партнеров каждую неделю, – сказал Илюшин. – Сейчас живет с молодым греческим красавцем. Наши коллеги вам об этом сообщили?

– Это для отвода глаз!

– У него нет вашей жены.

– Я мог бы попросить у нее прощения... – бормотал Гаврилов. – Объяснить... убедить... Господи, она даже камеру не взяла с собой! Бедная моя девочка...

Сергей вопросительно посмотрел на Илюшина. Свихнулся мужик?

– Рубашку снимите, – попросил Макар.

– Что?

– Рубашку. Пожалуйста.

Диковато посмотрев на него, Петр стал расстегивать пуговицы. Но еще до того, как он высвободил руки из рукавов, Илюшин увидел все, что хотел. В правом подреберье у Гаврилова синела гематома, вторая отливала застарелой желтизной на плече. Плечи были покрыты синяками.

– Мне нужно посоветоваться с напарником, – сказал Макар.

В коридоре он рассеянно улыбнулся пробежавшей мимо горничной, и та вспыхнула как маков цвет.

– Притуши обаяние, – посоветовал Сергей. – Слушай, насчет драк-то он, похоже, не врет. Что будем делать?

Макар потер лоб.

– Для начала поговорим с Синекольским. Я очень надеюсь...

Он замолчал.

– На что? – спросил Бабкин, устав ждать.

– На то, что именно он брал в аренду черный джип.

– Ну, наконец-то! Заждался уже вас, упырей, – сказал Дмитрий Синекольский, открыв дверь и увидев двоих сыщиков. – А что ж Белка не явилась? Побрезговала?

«Вот мы и влипли», – подумал Илюшин.

Они уже знали от менеджера «Марины», что ни у кого из постояльцев не было замечено черного джипа. Сергей Бабкин терпеливо обошел четыре прокатных салона: два из них предлагали искомое, но и в том, и в другом автомобиле были взяты еще две недели назад. За небольшую мзду им показали фамилии арендаторов. Немец и англичанин. Сергей, конечно, переписал их, но он был уверен, что это ложный след.

Дмитрий стоял в дверях номера в одном полотенце, обмотанном вокруг бедер: ноги широко расставлены, руки разведены в стороны – пародия на витрувианского человека. Был он невысокий, тощий, кривой как ятаган, с саркастичным желчным лицом, заросшим трехдневной щетиной.

За его спиной показался тот самый красавец, которого Илюшин видел утром. Красавец был совершенно обнажен, не считая полотенца, брошенного на плечи.

– Мы можем поговорить? – спросил Макар.

В номере пахло марихуаной. Повсюду были разбросаны подушки. Илюшин не удивился, заметив на одной из них крошечную собачку с гладким тельцем и крысиной мордочкой.

– Зайчик, забери Мармадьюка, – по-русски распорядился Дмитрий.

Молодой грек скривил губы, однако с грациозной непринужденностью, которая возводила бесстыдство до уровня перформанса, подхватил собачку смуглой рукой. Бабкин отвел глаза. Илюшин, наоборот, наблюдал с веселым любопытством.

– Нравится? – подмигнул Синекольский. – Или ты со своим чемоданом?

Он упал на диван, сделал широкий жест: присаживайтесь. Во всех его движениях сквозила нарочитая театральность. Так же медленно, прекрасно отдавая себе отчет в том, что они смотрят на него, Дмитрий вытащил из кармана халата, валявшегося на стуле, косяк и щелкнул зажигалкой.

– Не боишься, что настучат на тебя? – поморщился Бабкин.

– Здесь всем насрать. Да и мне тоже. Давай ближе к делу. Что она

велела мне передать?

Он жадно затыкнулся.

Сквозь позу, сквозь напускную расслабленность на миг проглянуло что-то тревожное, словно маленький ребенок приник к щели в заколоченных ставнях дома и в ту же секунду отпрянул.

У Илюшина был подготовлен план разговора, вернее, несколько разных версий – в зависимости от того, какое направление примет беседа. Но сейчас стало ясно, что все его заготовки не пригодятся. Синекольский думал, что их прислала Ольга, он ждал их, а значит, расчет на то, что ему известно, где она, не оправдался.

– Ты об Ольге Гавриловой? – на всякий случай уточнил Илюшин.

– Об Ольге Белкиной, – поправил тот. – Белочка – знаешь такое животное? Прыг-скок! Лесная крыса вообще-то. Рыжая, с пушистым хвостом, но крыса. Даже не решилась сама приехать, отправила наемников. Кстати, можете передать, что бояться ей нечего. Зря она за мной дуболомов отрядила. Я никому ничего не собираюсь рассказывать. Или они хотели мне шею сломать? Ну, флаг им в руки, попутный ветер в спину.

Он усмехнулся. На груди у него была цветная татуировка – скорпион с розой вместо шипа на хвосте.

Бабкин размышлял о том, что таким вот дерзким выеживающимся типам с испорченной физиономией очень помогает трепка. Способствует ясности мысли и осознанию своего истинного места в мире.

– Врезать мне хочешь? – с внезапной пронизательностью спросил Синекольский, не выказывая ни малейшего страха. – Ну-ну. Уж сколько их упало в эту бездну.

– Бездна здесь ни при чем, – сказал Макар. – Гаврилова нас не занимала. Она исчезла больше недели назад. По официальной версии – погибла.

Краска схлынула с лица Синекольского. Он не просто побледнел – казалось, даже черты его лица начали разглаживаться, точно оригами медленно расправлялось обратно в бумажный лист. Если до этого Илюшин допускал, что Дмитрий притворяется, то теперь он перестал сомневаться: ни один актер не мог бы сыграть эту ужасающую мертвенную бледность.

– Тело не найдено, – быстро сказал Макар.

Синекольский смотрел на него остановившимся взглядом. По комнате расплылся сладковатый запах марихуаны.

– Тело? – бессмысленно повторил он.

Резко встал – полотенце упало на пол, он даже не заметил этого – подошел к окну и распахнул настежь. Стоял, прижимаясь головой к

створке, пока комнату наполнял жаркий уличный воздух, голоса и шум машин.

– Кто вас прислал? – наконец спросил он, не оборачиваясь.

– Может, штаны наденешь? – предложил Бабкин. Разговаривать с нагим мужчиной ему не нравилось.

Синекольский захлопнул окно, накинул халат.

– Ее муж. – Илюшин затушил косяк, оставленный на столешнице. – И он же нанимал тех людей, которых ты видел. Он был уверен, что его жена с тобой.

– Со мной?

Его смех был больше похож на сухой кашель.

– Я видел ее последний раз пятнадцать лет назад, в Москве, случайно. Мы столкнулись на ВДНХ, поболтали ни о чем и разошлись. Больше я ее не встречал.

– Зачем ты ей писал?

Дмитрий сунул руки в карманы халата и ссутулился.

– Хотел поговорить.

– О чем?

Лицо исказила недобрая улыбка:

– У нас с ней была общая тема для разговоров...

– Слушай, мне из тебя каждое слово придется клещами вытаскивать? – спросил Макар. – Ты можешь на время перестать демонстрировать свой сложно устроенный внутренний мир и просто помочь? Или я слишком много прошу? Тогда скажи об этом по-человечески, мы встанем и уйдем.

Синекольский молчал.

– Всего хорошего. – Макар поднялся, и Бабкин тоже встал.

– Подождите!

Он схватился за графин и стал жадно глотать воду под их взглядами. «Наркоман чертов», – зло подумал Сергей.

– Я просто не ожидал... Был уверен, что это Ольга вас прислала. Не могу поверить, что с ней что-то случилось. Только не с ней! – вдруг вырвалось у него.

Это восклицание прозвучало не мольбой, а непререкаемым утверждением. Макару вспомнился автопортрет Гавриловой.

– Почему не с ней?

– Потому что она сильная. Хитрая. Умная. Она этот изменчивый мир не сгибала, а просто ломала под себя, с детства.

– Вы с ней дружили, встречались?

– Какое встречались! Нам по тринадцать лет было. Дружили, да. –

Синекольский сел не на диван, а рядом, на пол. Из-за двери выскочил Мармадюк, пересек комнату, цокая когтями, и запрыгнул ему на колени. – Потом ее увезли в Ростов, к родственникам, а я остался. Больше ее не видел, не считая того раза в Москве. А потом узнал, что она приезжает в Грецию...

– Откуда узнал?

– Следил за ней в социальных сетях. Стал ей писать... хотел реанимировать старую дружбу...

– Зачем ты ей писал? – спросил Макар. – Про дружбу не ври. Про дружбу не так пишут.

– погоди! Две минуты...

Синекольский поднялся, спустив собачонку с колен, и скрылся в туалете. Его не было не две минуты, а все десять. Мармадюк покрутился на полу и лег, уместившись почти целиком в белой тапочке.

Наконец хозяин номера вернулся.

– Мы о чем говорили?

– О том, что ты хотел от Ольги.

– Может, влюблен был сильно, – сказал Дмитрий, отводя взгляд. – Надеялся повидать женщину своей мечты. А она мне ни слова... Вообще не отвечала! Как будто нет меня, пустое место! А ведь я, мужики, двадцать лет с этим жил, понимаете? Двадцать с лишним лет. Мне всего-то надо было, что услышать от нее: мол, Димка, не зря все это было! По-го-во-рить... По-человечески, от души к душе... Может быть, я вот думаю, мне прощение нужно было, а? Отпущение грехов моих тяжких, а у кого мне еще его искать, как не у Белки...

– За что она должна была тебя простить?

– Она – меня? – Дмитрий пронзительно расхохотался. – Ох, нет, мальчики мои, котики мои сердечные, меня ей прощать было не за что. А вот мне ее... – а, как полагаете? – Он уставился на них широко раскрытыми глазами. – Кто соблазнит малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили жерновный камень на шею, и далее по тексту. Чем плоха дружба, детская дружба, искренняя, чистая, как роса, Богом благословенная, – знаете? Взаимопроникновением воль! – Синекольский с трудом выговорил это по слогам и поднял палец. – Где кончается твоя собственная и начинается чужая? Хорошо, если ты глина мягкая, хоть и податливая... у глиняного кома границы есть, форма. А если у тебя проницаемость тумана? Если ты вода? Капнули в тебя акварели – и принял ее, окрасился в другой цвет...

– Дружище, ты чего несешь? – поинтересовался Бабкин.

– Ни бога, ни черта, ни чертова колеса... – бормотал Дмитрий. – Собаку вон завел, с ней не так погано... Человека тоже завел, но человек – субстанция такая, размазанная по времени, как дерьмо по подошве: сегодня он один, завтра другой, послезавтра смотришь и не узнаешь, откуда что взялось. Диссертацию можно написать: метагенез личности в зависимости от смены времен года! А собака – она всегда одинаковая. Один у нее характер, пусть дурной, но все тот же, и в понедельник, и в среду, и в пятницу... Вот он, символ сопротивления мировой энтропии: кастрированный чихуа-хуа, ссущий на портьеры.

Он высоко поднял спящего Мармадюка.

Бабкин подошел, молча изъясил у него собаку и посадил на диван. Наклонился, присматриваясь на свету к зрачкам Синекольского. Тот замигал, как сова, зажмурился. Сергей взял его за запястье, дернул вверх рукав халата и выругался, увидев свежий след на сгибе локтя.

– Надо было раньше догадаться! До того, как он гнать начал.

– На чем он, на героине? – Макар подошел, присел рядом.

– Без понятия, чем он упоролся. Можно в ванной поискать.

Синекольский с расслабленной улыбкой наблюдал за ними. Черты его размягчились, поплыли.

– Ты брал в аренду черный джип? – Илюшин несильно встряхнул его, щелкнул пальцами. – Дима! Джип брал или нет?

– Ходите пешком, и будет вам счастье! – ухмыльнулся ему в лицо Синекольский. – Какой джип, брат? Был бы у меня джип, я бы эту тварь переехал, вместо того, чтобы...

Он вдруг захлопнул рот с таким звуком, что Бабкин услышал, как клацнули челюсти. Дмитрий запрокинул голову и прикрыл глаза.

– Притворяется, – сказал Сергей.

– Вижу. Но толку с него больше не будет.

– Угу. Этого сокола греческого будем допрашивать?

– Без Яна?

– Он по-русски понимает.

– Ну, давай попробуем, – с сомнением сказал Илюшин.

Юноша лежал на кровати с телефоном в руках. К облегчению Сергея, он успел одеться. Увидев фотографию Ольги Гавриловой, парень помотал головой; нет, он никогда не видел ни ее, ни ее мужа. Илюшин позвонил Яну, попросил перевести вопрос про черный джип. Но и здесь их ждала неудача.

Они вышли на улицу, сели в том же кафе, где Ян и Макар поджидали утром Синекольского, заказали кофе.

– Не ожидал, что вытянем пустышку, – сказал Бабкин, когда официант отошел. – Думал, она действительно свалила с ним. Школьная любовь, то-се...

Макар молчал.

– Если только он не врет. – Сергей высыпал в крошечную чашку половину сахарницы. – Но ты видел, как он сбледнул с лица? Я думал, придется ему всечь по щам или бегать за нашатырем. У греков есть нашатырь, как полагаешь?

Макар не ответил. Он задумчиво водил по скатерти чайной ложечкой, словно рисовал карту.

– И джип еще этот... Слушай, сбежала Гаврилова, точно тебе говорю. Муж у нее, по-моему, немного крышей съехал. Я не специалист, конечно, но ему бы к хорошему мозгоправу... Нравилось ей, что он ее бил!

– Ей нравилось не это, – рассеянно возразил Илюшин. – Ей нравилось, что она может ударить его в ответ.

Бабкин одним глотком допил свой кофейный сироп и поднялся.

– Ладно, теперь куда?

– Я – обратно в отель, – сказал Макар. – А ты – в Русму.

Глава 11

Русма, 1992

1

Холодильник стоит в бабушкиной комнате – старый, изжелта-белый и кое-где, точно больной зуб, изъеденный кариесом ржавчины.

В холодильнике живут консервированные грибы. Их склизкие улиточные тела поблескивают за стеклом. Это не просто еда – это вклад бабушки в их ежедневный рацион, и если все остальное для отца – жратва, то грибы – деликатес. «Маминими руками сделано!»

«Твоя мать даже грязь с них не счищает», – с яростью думает Оля. Возиться с грибами приходится им с мамой, и она ненавидит их от всей души, словно это маленькие вредные существа, посланные, чтобы сделать жизнь еще более невыносимой.

День икс назначен на вторник. Девочка рассуждает так: все уже втянулись в рабочую неделю, но еще не начали пить.

Она проверяет заранее, ответит ли кто-нибудь по указанным телефонам в милиции и «скорой».

Несколько раз, оставшись дома одна, тренируется добегать с телефонным аппаратом из прихожей в свою комнату.

Она тайком приводит домой Димку, и тот прикручивает к ее двери изнутри щеколду. Если отец будет биться в дверь, щеколда позволит выиграть лишнюю минуту.

Но самое главное – в понедельник, дождавшись, пока Елена Васильевна уйдет на прогулку, Оля вынимает ближнюю банку с белыми груздями – трехлитровую, тяжелую – и несет ее в свою комнату, бережно прижимая к груди.

Поначалу она собиралась воспользоваться режущей пластинкой, которую изготовители лекарств прикладывают к ампулам. Но Синекольский поднял ее на смех. Оля обиделась бы на него, если бы, отсмеявшись, он не показал, что нужно делать.

– С первого раза может не выйти. Учись.

И Оля учится. К тому моменту, когда банка соленых белых груздей оказывается в ее руках, ей удается правильно испортить четыре пивных

бутылки.

Но с груздями все может быть иначе.

Она медленно, старательно обматывает стеклянное горлышко бечевкой, пропитанной бензином. Бензин притащил Синекольский – совсем чуть-чуть, на доньшке жестянки из-под зеленого горошка. Больше Оле и не требуется.

Первая спичка прогорает моментально и обжигает ей пальцы.

Вторую она успевает поднести к торчащему коричневому хвостику.

Бечевка вспыхивает. Запах бензина на несколько секунд становится невыносимо резким. Быстрый огонь опоясывает банку. Оля ждет наготове с чашкой холодной воды.

Едва крошечные язычки пламени затухают, она неторопливо льет воду струйкой, стараясь попасть на пепельно-черную линию, оставшуюся на горлышке.

Треснуло?

Трещины быть не должно. Иначе в руках у матери, едва она возьмется за грибы, останется крышка с осколками.

Закончив, Оля уничтожает все следы своей подготовки к преступлению, проветривает комнату, тщательно вытирает банку и ставит ее в холодильник.

Она успевает вернуться в свою комнату за две минуты до того, как появляется Елена Васильевна.

– Кто здесь был? – с порога спрашивает та, замерев в дверях.

– Где? Здесь только я, баба Лена.

Несколько жутковатых секунд старуха поводит носом и зачем-то трогает дверную ручку. Острый взгляд впивается в девочку. Олино лицо выражает лишь одну эмоцию – вежливое удивление: кто же мог быть у них дома, если отец не любит гостей? Но пронизательность старухи отзывается в ней вспышкой страха. «Что-то почувствовала...»

Елена Васильевна, постояв, снимает с себя дождевик.

– Куриный суп на обед, баба Лена. Разогреть?

Не ответив, старуха медленно проходит к себе.

«Не догадалась! – Сердце у Оли колотится так отчаянно, будто она уже сдала отца в милицию. – Не догадалась!»

Время тянется, словно жвачка, которую Рыжий, приятель Грицевца, на спор превращает в подобие лески. Зажав тщательно изжеванный комочек в зубах, он медленно отводит в сторону руку; белая ниточка тянется за ней, подрагивая; все заворожено смотрят, как она истончается, но не рвется.

Рыжий всегда побеждает в этом споре. Еще никому не удавалось создать из жвачки такую длинную нить, как ему.

Утро воскресенья – жвачка. И вечер воскресенья – жвачка. Бесконечной провисающей соплей тянется понедельник. Оля изнывает от того, как долго длится ожидание. Она валяется на кровати с книжкой Джека Лондона. Белый Клык бесконечно бежит по снежной равнине.

В детстве, скучая без мамы, она переводила стрелки часов вперед. Оля давно выросла из детской веры во власть предметов над физическими процессами, но рука сама тянется подтолкнуть маятник. Скорей бы вторник... Скорей бы вторник...

Когда наступает утро вторника, время выстреливает с такой силой, точно ему надоело покоиться в ложе арбалета. Оля едва замечает, как проходит обед. Не успела она вымыть тарелку за бабушкой, как бьют часы: пять, время полдника! Чайник издает нервный злой свисток: поторопись, опаздываешь! Полдник они проскакивают на всех парах, и в шесть приходит домой мама.

Оля поддерживает разговор о том, как она провела день. Взгляд ее ясен и почти безмятежен. Она чистосердечно наслаждается минутами отсутствия отца.

Но другое существо, живущее внутри, зовет его, как шаман призывает стихию; оно бьет в тамтамы и приказывает ветрам гнать его в сторону дома. Оно боится и жаждет его, оно готовится умиловить чудовище, дать ему то, что он хочет.

Зверек раздувает ноздри и скалит острые мелкие зубы.

– Кстати, на поле репс цветет, – говорит вслух Оля. – Очень красиво.

Когда раздается скрип крыльца под тяжелыми шагами, она непроизвольно бросает взгляд на часы.

Без пятнадцати семь. Хорошее время.

– Папа сегодня рано. – Мамина интонация призывает к радости, мамин метнувшийся в сторону взгляд противоречит ей.

– Коля! У меня как раз все горячее.

До Оли доносится шарканье тапочек из прихожей, и по этому звуку она понимает, что вся ее затея с банкой была напрасной.

Отец в ярости. Девочка не знает, что тому причиной, но только бешенство, копившееся в нем все эти тихие дни, точно гной, готовится прорваться от малейшего прикосновения к нарыву. Она видит это по его побелевшим глазам, чувствует по запаху, исходящему от его тела. Он молча придвигает стул и садится к столу, широко растопырив локти.

– Коля, а руки помыть? – с укоризненной улыбкой говорит мать.

Олю примораживает к стулу. Господи, что она делает? Она что, не видит, *кто* сидит на стуле напротив нее? Зачем она тыкает иголкой в этот вздувшийся зловонный пузырь?

Но отец не бьет ее. Он задерживает на ней тяжелый взгляд, под которым мамина улыбка съеживается и исчезает, точно красную нитку выдергивают из бледного полотна.

– Ты же с улицы, – оправдываясь, тихо говорит она.

«Мама! Заткнись!»

Отец молча поднимается, идет в ванную, и оттуда доносится звук льющейся воды. Мама поднимает палец к потолку с таким видом, словно только что одержала сокрушительную победу. Она настояла на своем, и ей ничего за это не будет!

– Оля, у тебя чай остынет. Кстати, есть вчерашняя шарлотка, хочешь?

Отец возвращается. Взгляд его рыскает по комнате, он очень пьян и у него чешутся кулаки, но он почему-то не воспользовался поводом, который дала ему мама. Чего он ждет? Пока Оля пытается осмыслить все это, взгляд останавливается на ней.

– А ты, доча, чем сегодня занималась? Опять со своим уродом по чердакам терлась? – со скабресной ухмылкой спрашивает отец.

– Коля!

– Закрой рот. Она тебе, того гляди, принесет в подоле, а ты ни ухом ни рылом. Так чего, Лелька? Приведешь к нам женишка познакомиться?

– Вы вроде знакомы, – говорит Оля. – Не, пап, я за Димку замуж не собираюсь.

– А за кого собираешься?

Он прищуривается, и девочка нутром чувствует, на каком тонком канате она балансирует.

Секундная пауза. То же чутье, которое нашептывает об опасности, подсказывает неожиданный ответ:

– Женька Грицевец за мной ухаживает. Цветы вчера дарил, я как раз маме рассказывала.

Это вранье она выдает с простодушным лицом, жалея о том, что не может смущенно покраснеть. Мама подтверждает ее слова торопливым кивком.

– И где они? Цветы эти? Что-то я их не видел.

– На кладбище отнесла, Мане. Подумала, что так будет правильно.

Ее удар необдуманый, но от этого он не становится менее точным. Отец застывает над тарелкой. Желваки играют на его лице, однако он не

произносит ни слова. Оля плохо понимает, что с ним происходит, лишь видит, что ей каким-то образом удается оттягивать его вспышку.

Как наивны были они с Димкой, придумывая и воплощая свой план! Чудовище нельзя победить. Его нельзя стреножить и надеяться, что в другой раз оно укротит свою ярость из одного лишь опасения перед гнилыми веревками. От отца исходят флюиды такой неукротимой злобы, такой свирепой откровенной жажды, что ей становится страшно до дрожи.

«Допивай свой чай и уводи мать. Давай! Еще не поздно!»

– Грицевец, значит. – Лицо отца, склоненное над тарелкой, набухает, наливаясь багровым. – Женька, значит. Цветы тебе носит...

– Коля, а вот шарлотка! Попробуешь?

Оля вздрагивает второй раз и с ужасом смотрит на мать. Зачем она перебивает его? Господи, неужели он выбил из нее все мозги?

Мама с куском пирога на блюде застывает посреди кухни и лучится такой глуповатой радостью, что даже Оля от души врезала бы ей, лишь бы она заткнулась. Лишь бы не лезла со своей идиотской шарлоткой! Лишь бы научилась за два года умению, доступному даже дебилу, – молчать, когда отец говорит!

– Я вообще-то его отваживаю! – громко перебивает Оля. – Мам, давай сюда твою шарлотку.

– Отваживаешь? Это как?

Опасный луч его внимания, только что кольнувший маму, теперь снова прочно остановился на девочке.

– Посылаю его!

– Посылаешь?

– Ага. Чтоб не приставал.

Оля дерзко улыбается. На какую-то секунду они с папой оказываются на одной стороне: веселые, бесстрашные, противостоящие всем грицевцам этого поселка и мира. Мама беспомощно переводит взгляд с одной на другого, пораженная этим внезапным единением. Сходство девочки и отца, обычно не бросающееся в глаза, становится очевидным, словно с Николая Белкина сняли уменьшенную копию.

– Прямо на хер посылаешь? – веселится отец.

– Коля!

– Хуже, пап. – Оле все-таки удается покраснеть. Ей так страшно, что щеки сами вспыхивают, словно облитые горячим чаем. – Только он вроде не жалуется...

Она ухмыляется во весь рот. Она бы подмигнула отцу, если бы не

боялась, что у нее начнется нервный тик.

– Не жалуется, говоришь... – Он посмеивается, качает головой. – Ну ты молодец у меня! Взяла этого козла за яйца!

– Коля!

– Брось, мать. Это правда.

Девочка знает, что выдохнуть еще рано. Но ей удалось неведомым образом отвести две страшных вспышки, спрятать их с мамой под невидимой накидкой из пустого трепа, который отчего-то так важен отцу. Ах да! Он же, кажется, занял деньги у старшего Грицевца!

Ей приоткрывается истинный смысл их разговора. Оля торопливо придумывает сразу две истории, выставляющие сына кредитора в позорном свете, и готовится изложить их одну за другой.

Вот он, тот волшебный пластырь, который можно приклеить на созревший гнойник! Пока она болтает о Женьке, отец не отвлекается на маму.

– Натаха, плесни водочки! – Отец уже сидит, широко расставив ноги, а не опирается на стол. – Самую малость! Догнаться!

Оля стремглав подносит рюмку, мама – бутылку из холодильника. Кажется, все самое страшное осталось позади. Он нажрется и вырубится!

– Э! А закусь? – Отец обводит стол недоуменным взглядом. – Натаха! Где грибы?

– Я принесу! – кидается Оля.

Каменная ладонь прижимает к столу ее руку – не дернешься, не вырвешься.

– У меня для этого жена есть, – внятно сообщает ей отец. В глубине его глаз пляшет что-то темное, неразборчивое, похожее на пылевой смерч.

Оля опускается на стул.

– Конечно, Коля!

Мама торопливо выходит. «Только не большую банку», – молча закликает ее Оля.

Стук, скрип двери, недовольное бормотание Елены Васильевны. Грузди стоят на самом видном месте, в центре, на средней полке холодильника. «Не трогай их! Пожалуйста!»

Мама возвращается. Правая ладонь поддерживает под доньшко трехлитровую банку, полную желтоватых шляпок, пальцы левой плотно облегают крышку.

«Сейчас она поставит ее в раковину, чтобы открыть...»

Оля не успевает додумать мысль до конца. Поравнявшись с отцом, мама на секунду встряхивает правой рукой, уставшей от тяжести, и в этот

момент горлышко лопается с таким хрустом, словно его перекусили стальные челюсти.

Стекло, грибы, рассол – все оглушительно взрывается. Брызги мелкой россыпью покрывают отцовские брюки. Желтые шляпки разлетаются по всему полу, скользят, жирно поблескивая, забиваются под плиту и шкафы.

– Ты... всю работу псу под хвост... – изумленно шепчет отец. – Ах ты...

Кулак врезается в мамин живот. Этот удар отбрасывает ее к плите, и у девочки в ушах застревает глухой мучительный стон.

– Нет!

Не успев ничего сообразить, она впивается зубами в его запястье. Рот обжигает привкусом крови и почему-то табака.

Комната вокруг переворачивается, летит. Отец отшвыривает Олю с такой легкостью, будто она не человек, а котенок.

Он склоняется над мамой. В руках его невесть откуда взявшийся мешок, и этот мешок он раз за разом опускает на скорчившуюся женщину, обхватившую голову руками. Чавк! Чавк! Чавк! Отец бьет по икрам, по бедрам – платье бесстыдно задралось выше пояса – и в конце концов, не удержавшись, пинает ее выше живота.

Раздается тот самый хруст, которого так ждала Оля, изучая по ночам схему устройства человеческого организма. Мать кричит, зажимает себе рот рукой.

– Ты. Сука. Когда. Будешь. – Отец выдыхает с каждым словом, словно выполняет тяжелую ответственную работу. – Вести. Себя. Нормально!

Оля видит выражение его лица. На нем радость – чистая радость освобожденного бешенства, радость зверя, наконец-то рвущего теплое живое мясо.

Она с трудом поднимается, ковыляет за его спиной в прихожую. При каждом шаге внутри что-то ухает и дергает позвоночник. Чавканье позади становится чаще, словно отец пытается вколотить мешок в тело своей жены.

Девочка хватает телефонный аппарат, невыносимо тяжелый, весящий, кажется, столько же, сколько она сама, и тащит к себе в комнату. Был какой-то план... Но сейчас Оле нужно лишь одно: чтобы кто-нибудь пришел и спас ее и маму.

Дверь. Щеколда. Цифры, записанные на листочке.

Дрожащий палец сбивается с кнопок. Отбой – и еще раз.

– Тридцать первая, регистратура.

Она набрала не тот номер. В отчаянной надежде, что ей все равно

помогут, Оля кричит:

– Русма, дом шестьдесят восемь, вызовите, пожалуйста...

С жалобным кряканьем дверь слетает с петель. Первым ударом отец сбил щеколду. Вторым он вышибает дверь целиком. Девочка едва успевает отскочить и забиться под кровать. Шмякнув трубку на рычаги, отец волочет телефон за собой, наматывая провод на свободную руку.

– Нет... – шепчет Оля, выбравшись из-под кровати. – Не надо...

Мама лежит на кухонном полу без сознания, в щеке застряли осколки разбитой банки. Вокруг ее шеи обмотан телефонный провод, и отец тянет на себя оба его конца.

Оля видит эту картину целиком и одновременно в мельчайших деталях, словно она стрекоза с фасеточным зрением.

– Я тебе не Левченко... – хрипит отец. – Меня не посадят.

И тогда девочка наконец-то понимает.

Она думала, он ужаснется, узнав о смерти Марины. Что он примерит на себя судьбу Виктора и испугается последствий. Господи, какой же слепой дурой она была! Он не испугался, а пришел в ярость. Левченко, слабак Левченко, которого в лицо дразнили сохатым, тот самый Левченко, которого отец пренебрежительно называл беззубой рыбешкой, совершил мужской поступок. Он превзошел отца. Левченко был по-прежнему смешон, жалок, всеми презираем – но он показал, у кого здесь настоящая власть.

«Кто здесь хозяин? Я здесь хозяин».

Виктор глупо кончил. Он приполз с повинной, захлебываясь в рыданиях – тряпка, сопляк! Отец не таков. У него еще есть способ победить в этом необъявленном состязании.

«Он придушит маму. Потом меня. И сбежит».

Вот чего он ждал весь вечер. Вот отчего он был тих и сдерживался поначалу – ему нужно было накопить достаточно ярости. Залиться по горлышко гнилой водой, чтобы потом утопить всех в крови.

Телефонный провод все глубже впивается в кожу. Оля с рычанием кидается на отца, сталкивает его с маминого тела, бьет без разбору, куда достанут кулаки. Первый его удар лишает ее дыхания. Второй выключает все звуки, кроме высокого звона в затылке. Девочка валится рядом с матерью, и словно через мутное стекло видит в его руке кривой осколок банки.

А затем рядом вырастает высокая фигура в черном.

Фигура протягивает руку, кладет отцу на плечо. Сквозь звон, набирающий силу, Оля слышит недовольный старческий голос:

– Колька! Что еще за свинство! Ну-ка хватит. Дуралей ты!
– Банку... вдребезги... – бормочет отец. – Просил ведь... Грибочки твои...

– Новых наберу. Давай, вставай, надо прибраться.

«Мы для них просто мусор, – думает Оля, уплывая куда-то под высокий тонкий звон. – Они сгребут нас в совок и выкинут». Фигуры отца и бабушки разрастаются до гигантских размеров: два людоеда glareют на их останки, две горы взирают на белеющие у подножия кости. «Только не сейчас. Позже. Позже».

Звон в голове становится нестерпимым, как солнечный свет, и заливает все белым безмолвием.

2

Снег. Тусклое жемчужное сияние, бесконечная гладь, по которой одиноко бежит собака, похожая на волка.

Господи, как же холодно.

– Белый Клык! Подожди!

Оля зовет, но пес не оборачивается. Его лапы не проваливаются в снег; он далеко, но ей видно каждую шерстинку в его шкуре, все черные точки вокруг носа.

– Белый Клык!

Она пытается следовать за ним, но ноги тонут в ледяном рыхлом месиве. Из-под снега кто-то тянет Олю к себе: чьи-то крошечные злые пальцы держат ее за лодыжки, цепкие пальчики, не отдающие свое.

– Дай шоколад!

Оля вздрагивает и опускает взгляд. Там, внизу, Пудра: глупое лицо искажено гримасой злобы и нетерпения.

– Дай! Твой папа обещал мне!

– У меня нет! – плачет Оля.

– Хочу есть!

Девочка кричит, вырывается, ее трясет от холода и ужаса. Пес оборачивается, и хотя их разделяет большое расстояние, она отчетливо видит, что его глаза отсвечивают перламутром – как два осколка чашки, разбитой у Марины.

– Я не убивала тебя!

Она не знает, кому кричит это – Марине или Пудре.

– Ты убила нас!

Снег взвивается с земли, роем черных пчел застывает перед девочкой.

– Ты никому не сказала! – Гул рождается сразу в ее голове, гул, издаваемый тысячей разъяренных существ. – Ты не остановила его! ОТДАЙ НАМ ШОКОЛАД!

Резкий рывок утягивает девочку под снег. Пчелы, жужжа, следуют за ней, в белую нору. Снег забивает глаза и уши, нет, это не снег, это рассыпавшаяся пудра забивает горло, не дает дышать...

Господи, как же холодно!

– Олюшка, маленький мой, выпей...

На секунду она вываливается из бреда на кровать, где над ней склоняется мама, приподнимая ее голову и вливая в рот тошнотворную жидкость.

– Переверните девочку.

В комнате еще какие-то белые люди... Это снеговики из ее кошмара, они приведут с собой Маню.

– Мама...

– Что, котенька?

– Не надо их...

– Чш-ш-ш. Чуть-чуть потерпи. Потом спадет температура. Чуть-чуть, котенька.

– Женщина, на будущее: но-шпу сами будете добавлять... я вам тут все записала, что в каких пропорциях...

– Спасибо, доктор!

Укола девочка уже не чувствует.

Лед осколками разбитой банки впивается ей в босые ноги, пчелы кружат и сжимаются в плотный кокон, и Пудра все клянчит и клянчит свой шоколад.

Почти неделю Оля проводит в нескончаемом бреде. Температура спадает лишь к вечеру воскресенья, когда перепуганная мать решает, что все-таки придется везти девочку в больницу.

В понедельник Оля просыпается. В комнате светло и тихо. Мать спит рядом в кресле, уронив голову на грудь. Оля садится на постели и вглядывается в ее осунувшееся лицо. У матери землистый оттенок кожи и круги под глазами. Правая щека исчеркана красными порезами. На коленях лежит больничная утка.

Девочка встает на прохладный пол. Она легкая и пустая внутри, разве что ноги как будто забиты ватой.

Возле кресла на столике – чайник с теплой водой. Оля жадно пьет прямо из носика, пока в желудке не начинает булькать. И бесшумно выходит из комнаты.

Сначала – зайти в туалет. Не узнать себя в зеркале.

Потом пройтись по комнатам. Кухня, прихожая... Отца нигде нет.

Оля без стука толкает дверь, за которой живет бабушка.

– А, это ты, – без всякого удивления говорит Елена Васильевна, не поворачивая головы. – Скажи матери, чтобы принесла мне творог.

– Мама спит.

Олю не покидает ощущение ирреальности происходящего. Словно и дом, и комната, и монументальная бабушка вместе со стеной, от которой она не отрывает взгляда, – лишь иллюзия, возникшая по приказу Пудры из льда и снега. Оля поджимает босые пальцы и смотрит в пол. Он не разойдется под ней, нет, ни за что. Все это осталось во сне.

– На что ты там уставилась?

Бабушка повернулась к ней.

– Где он?

Оля не произносит «отец», но Елена Васильевна понимает, о ком идет речь.

– За продуктами ушел. От твоей матери мало проку.

Оля очень слаба. Собственная рука кажется ей невыносимо тяжелой. Но она думает, что если соберется с силами, то сможет ударить эту страшную старую женщину по мятой щеке.

– Дура, какая же непроходимая дура, – с укором говорит бабушка и откидывается на спинку кресла. – Подзуживала его, дразнила... Додразнилась.

– Заткнитесь!

Олин голос похож на писк комара.

– Безусловно, он превысил свои полномочия.

– Какие полномочия? Кто?

– Мне также не нравится использование телефона в несанкционированных целях. Да. С этим я не спорю. Каждому свое, я всегда придерживалась этой позиции.

При слове «телефон» Олю бросает в дрожь. Она вдруг понимает, что это за полномочия.

– Именно так. Аппарат был выдан под расписку. Но ведь инвентарь остался неповрежденным.

Голос Елены Викторовны стремительно обретает дикторскую четкость.

– Не нужно брать на себя невыполнимых функций, вот что я тебе скажу. – На Олю она больше не смотрит и обращается к кому угодно, только не к девочке. – Провокация приводит к наказанию. На. Ка. За. Ни. Ю. – Кулак ее обрушивается на подлокотник, словно вколачивая в него каждый слог. – Ею был подписан соответствующий договор за номером восемьдесят дробь сорок восемь, с приложением отпечатков пальцев и левой ступни, согласно которому она обязуется не вмешиваться, если подозревает нападение. Наказывай сына своего, изрек Господь, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Дочь кричит громче и противнее, возможно, это его останавливало. Но крик не повод! Нет, не повод!

– Что ты несешь? – беззвучно спрашивает Оля.

– Она обязана была предоставить ему свободу выбора! – с напором говорит Елена Васильевна. – Ее решение отвлечь внимание от ребенка привело к дисбалансу. Ты должен понимать, ему приходится крайне тяжело. Она спрятала дочь в тени своих проступков. Согласись, это бесчестно. Протокол за номером девяносто восемьдесят четыре разрешает ему любые действия, если это обеспечивает порядок и равновесие. Я предупреждала его – она большая, это создаст дополнительные трудности при закапывании. И потом, он плохо управляется с лопатой.

Оля приваливается к стене.

Елена Васильевна срывается в совершенно бессвязный бред. Девочка молча дослушивает до конца, дожидаясь, пока старуха обмякнет в кресле. Когда та закрывает глаза, она встает и, держась за стенку, выходит из комнаты.

Это не мама – глупая курица. Это она – глупая курица. Это не мама не умеет вовремя заткнуться и не перебивать отца. Это Оля не умеет вовремя сообразить: раз мать день за днем повторяет одну и ту же ошибку, возможно, это вовсе не ошибка.

Если допустить, будто она панически боится, что отец начнет бить ее ребенка... Если допустить, что раз за разом она поступает как куропатка, уводящая хищника от своего гнезда... Если только допустить такую возможность, это значит, что она давно поняла про своего мужа то, чего не поняла Оля.

Он не даст им уйти. Не позволит сбежать. Он найдет их и убьет, потому что *он здесь хозяин*.

На что она рассчитывала? Протянуть еще три года и услатить Олю прочь из Русмы? Три года побоев. Три года издевательств. Три года притворства

перед всеми, включая собственную дочь.

– Идиоты, – бормочет Оля, сама не понимая, кого имеет в виду. – Какие идиоты...

Из кухни доносится какой-то шум.

Она бредет туда. Отец стоит к ней спиной, выкладывая из сумки на стол красные яблоки и упаковки манной крупы. Почувствовав взгляд, он оборачивается и лицо его вспыхивает радостью.

– Ах ты ж етить... Лелька! Встала! Сама!

Он осторожно обхватывает девочку, без труда отрывает ее от пола и легонько встряхивает. Олины ноги болтаются над полом, точно две веревочки.

– Перепугала нас с матерью! – Он ставит ее на место и суетливо начинает разбирать продукты. – Пять дней температурила! Вирус ходит, все слегли. У матери на работе тоже... болят...

Он хватает яблоко и протягивает его девочке.

– Смотри, чего урвал! Это тебе не наши русминские. Сорт «Рихард» – во! Видала когда-нибудь такие?

Яблоко огромное, тяжелое, густо-красное.

– Как чувствуешь себя? – взволнованно спрашивает отец. – Ну-ка, дай.

Он трогает ей лоб, зачем-то щупает пульс. Его, кажется, пугает ее молчание, и он заполняет тишину своей возбужденной болтовней.

– Димка твой приходил каждый день. Утром и вечером, как на смену караула, ей-богу. Сначала под окнами стоял, потом мать его в дом стала пускать. Зайдет, посмотрит и уходит. Серьезный пацан!

Оля молчит.

– А тебе яблоко-то помыть? Не, постой: так сразу нельзя. После болезни знаешь что? Пить надо много! И кашей питаться. Я тебе сейчас... Да где ж чайник-то, елки?

Отец наливает ей прямо из-под крана, и Оля послушно отхлебывает неприятную на вкус воду.

– Манку сварить или овсянку?

Он выжидательно смотрит на нее, глуповатая улыбка играет на его лице.

– Лучше овсянку, пап, – подумав, говорит девочка. – И можно сахара побольше?

– Ты ж моя детка!

Он звонко чмокает ее в лоб и принимается греметь кастрюлями.

– Мать тебе уколы делала, я даже видеть не мог, веришь? От иголки в дрожь бросало. И смех, и стыд. А Натаха колола так, словно всю жизнь

руку на этом набивала. Она где?

– Спит.

– Ты уж не буди ее, Лель. Измучилась она за эти дни, по правде говоря. Да все измучились. Я ее и подменить пытался, и гнал от тебя. Она ни в какую. Вот я всегда говорил: с матерью тебе так повезло, как немногим везет! – Лицо его приобретает строгое и торжественное выражение. – Счастье большое – иметь такую мать. Посмотри на своего Димку! Подкинули родители его бабке – и свалили. Он им, поди, мешал булькаться под одеялом... – Отец спохватывается и криво усмехается. – Мы бы с мамой твоей никогда так не поступили. Потому что любим тебя очень. Сильно-сильно любим! Смотри как!

Он озирается, находит яблоко, которое Оля положила на стол. В каком-то исступлении хватает его и сжимает в кулаке. Раздается громкий хруст. Сок капает из его ладони на пол.

– Вот так тебя люблю, Лелька! Да что яблоко – камень мог бы раздавить! Верить? Хочешь, камень принесу? – Он смеется, бросает раздавленное яблоко в мусорное ведро и тут же спохватывается. – Эх, зря выкинул! В шарлотку бы пустили... Сдурел от радости, ага.

– Я пойду полежу, пап.

– Давай, Лелька, отлеживайся! Ты теперь знаешь как здорово будешь? Как на дрожжах! Или это растут? Расте тоже будешь!

Оля уходит, не слушая больше его жизнерадостный треп.

– Если мать проснулась, спроси – на нее тоже кашу варить? – кричит вслед отец.

– Спрошу.

Закрыв за собой дверь, Оля подходит к матери.

– Мам...

Та сидит неподвижно.

– Мам, у меня температуры нет...

Мать дышит ровно. Сон ее так крепок, что Оля растерянно садится на свою кровать. Не выдерживает, вскакивает и прижимается к горячему телу.

От прикосновения мамин сон не прерывается. Но Оля ощущает что-то твердое у себя под ребрами. Она недоуменно ощупывает мамину одежду, приподнимает край просторной рубахи.

Под рубахой за пояс штанов заправлен длинный нож в кожаном чехле.

– Я думал, он тебя убил, – говорит Синекольский и затягивается. – Потом гляжу – не, живенькая лежишь, даже шевелишься.

– У меня вирус был...

– А у меня триппер. Девки сами лезут, не могу отказать!

– Фу. – Оля толкает его в плечо и смеется. – Нет, правда. У меня и синяков-то не осталось. Кровоподтек на спине только. Но вроде прошел уже. А может, и нет, мне не видно.

– Покажь!

– Лень.

Они не пошли ни на поле, ни на чердак. За баней старухи Шаргуновой десять соток земли, засеянной луговой травой. Совсем недавно здесь паслась шаргуновская коза, но после смерти Пудры ее сразу продали. В центре зеленого островка лежат Димка с Олей и по очереди курят одну сигарету на двоих.

– Гадость. – Оля морщится. – Где взял?

– У бабаньки стырил.

– Твоя бабушка курит?

– Нет, Белочка, она в носу ими ковыряет.

Синекольский приподнимается на локте и с таким серьезным видом смотрит на Олю, что та несколько секунд воочию видит Ирину Сергеевну с сигаретой, торчащей из ноздри.

– Тьфу на тебя! Врун.

– На меня плевать не надо. Слушай, тебя родители плохо воспитывают! Вечно харкаешь на всех как верблюды...

При упоминании родителей Оля затягивается глубже. Дым раздрает горло, хочется откашляться и чем-нибудь запить эту гадость. Но Синекольский обещал, что ей понравится, надо только привыкнуть.

– Как мать-то? – после недолгого молчания спрашивает Димка.

– Молчит. Улыбается мне. С *ним* почти не разговаривает. Платочек носит на шее. У бабы Лены попросила на время. Так забавно...

Оля не поясняет, что тут забавного, а Синекольский не уточняет.

– Прихрамывать начала, не знаю почему. И когда наклоняется, сразу охает. Больно ей, Дим.

– В милицию так и не пошла, значит...

– И не пойдет. Не верит, что ей кто-нибудь поможет. Ты знал, что Марина два раза писала заяву на Виктора?

В глазах Синекольского вспыхивает изумление.

– Правда что ли?

– Ага. И оба раза заворачивали ее. Убьет, говорили, тогда и приходите.

– Откуда дровишки?

– Продавщица в хозяйственном трепалась с какой-то теткой, я подслушала.

– Какая продавщица? Ирка? Грудастая?

– Ага. Светленькая такая, в кудряшках.

– Да, эта точно в курсе. Она с Челпановым спит.

– А ты-то откуда знаешь?

– Бабанька говорила. У бабаньки везде уши. Как у Штирлица.

Оба некоторое время лежат молча, докуривая сигарету. Синекольский тушит окурок в земле.

– Вонючая какая гадость... – Оля разгоняет дым ладонью. – По-моему, я никогда не привыкну.

– Белка, а Белка...

– Чего?

– Вам бы смыться. Не то чтобы мне тут очень хотелось одному остаться... – На мгновение в Димкином голосе пробивается невыразимая тоска. – Но правда, нехорошо все идет. Ты и сама понимаешь. У вас с матерью отложены какие-нибудь деньги?

Оля садится по-турецки, срывает травинку.

– Не в деньгах дело, Дим.

– А в чем?

– Я раньше тоже так фантазировала. Думала, мы однажды соберем все вещи, сядем в автобус... Даже, может, записку ему какую-нибудь оставим, чтобы он разозлился сильнее! Напишем, что он урод, тварь, подонок... Я в словаре рылась, прикинь! Искала, как бы побольнее его задеть. Потом переедем в какой-нибудь город на море, где нас никто не знает. Мама устроится на работу, я в школу пойду. Еще беспокоилась, что не нагоню программу! – Девочка усмехается.

– А теперь чего?

– Да все не так. Я поняла. Бесполезно убегать, Дим. Мама будет постоянно бояться, что он нас найдет. Он слишком долго... как это сказать...

– ...бил ее?

– Владел. – Оля щелкает пальцами, отыскав точное слово. – Владел мамой, да. Она от этого никогда не избавится. Это как яд. И знаешь что еще?

– Ну?

– Он правда будет нас искать. Он нас не отпустит, нет. – Она рвет травинку на мелкие кусочки. – Ни за что! Он же здесь главный. Убежать из

Русмы – это как в лицо ему плюнуть. Даже хуже!

– Кастрировать? – подсказывает Синекольский.

– Что-то такое, ага. У него сдвиг на том, что все должны его уважать. У начальника тюрьмы заключенные не убегают. Мы с Мариной, конечно, играли в побег... Сейчас даже вспоминать смешно.

– Смешно? Мне вот что-то не смешно ни разу.

– Смешно, ага. И страшно. Я печенье грызла по дороге домой, а Марина в это время...

Сорока громко стрекочет на крыше. Димка вскидывает голову, но это ложная тревога.

– Он теперь точно не остановится, – говорит Оля. – Я по его лицу видела. Он хочет ее убить. Нет, не так: он хочет хотеть ее убить. Сам себя вводит в такое состояние, когда ему море по колено. В этот, как его...

– Транс, что ли?

– Да, наверное. Транс. Если бы баба Лена его не остановила, он бы задушил ее, я тебе точно говорю.

Синекольский долго смотрит на нее тяжелым взглядом.

– Если у вас так дела обстоят, тебе домой возвращаться нельзя.

– Ничего он мне не сделает, – отмахивается Оля. – Пока я не до конца выздоровела, он хороший папа. Такой заботливый, ты не представляешь. Утром кашу варит и пробует с ложки, достаточно ли остыла. Мама молчит, а он анекдоты травит. И даже не бесится, когда она не смеется! Он сейчас как будто сытый. У него даже лицо потолстело, честное слово! Щеки румяные – Деда Мороза может играть на утреннике. Я думаю, на пару недель его хватит, а потом он опять сорвется. И мама это знает. И я это знаю. И баба Лена. Все знают.

– И что ты собираешься делать?

Девочка поднимает на Димку ясные глаза.

– Я собираюсь его убить.

Сначала Синекольский помолчал. Потом спросил, чем папаша приложил ее по голове. Потом еще помолчал, и пауза длилась так долго, что Оле пришлось заговорить самой.

– Я нашла у нее нож, – сказала девочка. – Она все время носит его с собой. Понимаешь, что это значит? Что в конце концов она не выдержит и пустит его в ход. А может, она уже придумала какой-нибудь план, такой же идиотский, как все ее планы. Мама зарежет его, и ее посадят. Или он зарежет ее этим дурацким ножом! Но даже если это сделает она, все равно ничего не выйдет. Она не спрячет следы. Не сумеет.

– А ты... сумеешь, – вдруг заорал Димка. – Ты... маленькая, твою мать! Тебе тринадцать лет!

– Я сумею, – твердо сказала Оля. – Да. Я знаю, что надо делать.

Глава 12

Греция, 2016

1

С утра поднялся ветер. Он взбил море до белой пены, вывернул наизнанку пляжные зонты, испачкал ярко-розовыми кляксами цветущей бугенвиллеи расчищенную дорожку.

Илюшин взбирался по склону, слушая старческие жалобы пиний за домом Димитракиса. Перед тем как скрыться под пологом леса, он обернулся.

Никого. Серебристо-зеленая волна равномерно пробегала по кронам оливковых деревьев. Вечные цикады пели надтреснутыми голосами. От простора захватывало дух.

Макар прошел уже знакомой тропой, ища признаки присутствия человека. Но ни примятой травы, ни сломанных веток не попалось на его пути. Кто бы ни бродил в этих холмах, он не оставлял следов.

Мастерскую Катерины Илюшин обогнул стороной. Ему нужна была поляна со старой сосной, и, немного проплутав в роще, он выбрался, наконец, к знакомому камню.

С веток пикировали длинные иглы, плавно вонзались в песок. Море шумело как будто ближе, чем вчера.

Макар присел на корточки, провел ладонью по холодной поверхности валуна. Надпись выглядела по-прежнему совершенно неразборчивой. Илюшин сфотографировал ее со всех сторон. Но если его догадка была справедлива, расшифровать ее смог бы только тот, кто ее нацарапал.

Затем он вытащил из рюкзака саперную лопатку, отложил рюкзак в сторону. Начертил острием прямоугольник, намечая границы, – и начал копать.

Почва здесь была сухая, песчаная. Заступ легко входил в нее. Илюшин опасался, что помешают корни, – в пяти шагах золотисто-коричневые щупальца выгибались из земли, – но либо они не дотягивались сюда, либо кто-то заранее обрубил их. Он постарался аккуратно подцепить пласт земли с цветами и оттащил его в тень, чтобы они не завяли, пока он занимается своим делом.

Когда Илюшин снял верхний слой, дело пошло быстрее. Вскоре перед ним было ровное углубление в метр шириной. Макар вытер пот, глотнул из бутылки и продолжил рыть.

Острые лопатки ударило во что-то твердое. Илюшин ждал этого и все равно вздрогнул.

Когда он окончательно расчистил землю, его глазам предстала прямоугольная фанерная коробка, не больше семидесяти сантиметров в длину. Несколько секунд Макар в изумлении смотрел на нее.

Ему встречались подобные совсем недавно.

Крышка была заколочена, однако Илюшину удалось пальцами подцепить ее покособившийся край. Стиснув зубы, Макар потянул ее на себя; что-то хрустнуло, фанера отлетела, а он повалился на землю.

Перекатившись обратно, Илюшин заглянул в яму.

– О господи.

Его пронзило острое сожаление, что рядом нет Бабкина. Хотя на Сергея этот крошечный мумифицировавшийся труп произвел бы совсем уж тягостное впечатление. Так что, может, оно и к лучшему, что напарник сейчас летит обратно в Москву, а не раскапывает могилы.

Он хотел уже закрыть самодельный гроб, но его осенила новая мысль. Вытащив коробку и стараясь не приглядываться к ее содержимому, Илюшин снова начал копать.

Острые лопаты ударило в фанеру меньше чем через минуту.

«Иногда чертовски неприятно оказываться правым».

Вторая коробка выглядела в точности так же, как и первая. Трупик, который лежал в ней, истлел до костей. Илюшин поискал, нет ли надписей на крышке. Надписей не было, но внутренняя поверхность до сих пор хранила следы краски.

Вторая коробка заняла место рядом с первой. Макар глотнул воды, преодолевая тошноту. Посмотрел в яму. Из осыпающейся стенки торчали крысиные хвосты корешков.

«Два – вполне достаточно, – сказал себе Илюшин. – Их не может быть больше двух. Близнецы, скорее всего».

Но он знал, что это не близнецы. Близнецов похоронили бы в общем гробу.

Илюшин глубоко вдохнул и продолжил копать, на это раз сдвигаясь правее. Глуховатый стук заставил его замереть.

– Вы что, ополоумели? – вслух спросил он.

С третьей коробкой пришлось повозиться, и, увидев то, что находилось внутри, Макар пожалел, что ему удалось ее открыть.

Требовался небольшой перерыв. Илюшин порыскал по кустам, отыскал какую-то пахучую траву, натер ею носовой платок и сделал из него импровизированную повязку. Запах из гробов был почти не ощутим, но так он чувствовал себя спокойнее.

Четвертая коробка присоединилась к первым пять минут спустя. Судя по тому, что от тела осталась лишь горстка костей, оно было закопано первым.

Макар продолжил рыть, но стук больше не раздавался. Он отложил лопату, сел на землю и уставился на гробики. С него градом тек пот, который сразу же высыхал на ветру, и он отстраненно подумал, что его вдребезги продует во время этой эксгумации.

Четыре коробки выстроились поодаль. Они походили на упаковки для кукол. Макар допил воду, смочил лицо, и вытащил из рюкзака тонкие резиновые перчатки.

Ему не приходилось раньше заниматься ничем подобным. Он снова пожалел о том, что рядом нет Сергея. Солнце пекло все сильнее, а Макар не представлял, как на жаре поведет себя находка из первого ящика, и не хотел даже думать в эту сторону.

Он выбрал самый хорошо сохранившийся труп – непропорционально большая голова, скрюченные конечности. Осторожно ощупал череп, ища дыру или вмятину, но кость по всей поверхности оставалась гладкой.

– Профанация это все, – пробормотал Илюшин. – Экспертиза нужна.

Зашуршали кусты, и на поляну выскочила Катерина. Одним взглядом окинув раскопки, она уставилась на Илюшина.

Макар потянул к себе саперную лопату.

– Отличная была идея – отвлечь меня от камня рассказом о Гавриловой, – хмуро сказал он. – Ты молодец, девочка. Очень быстро соображаешь.

Катерина сбросила с плеч рюкзак – из него вывалились помидоры и три большие лепешки, один вид которых вызвал у Илюшина тошноту, – подошла к ящикам и что-то прошипела сквозь зубы.

– Бульжник ты зря притащила, конечно. И надпись на нем нацарапала зря. Я, правда, поздновато сообразил, что это надгробие. Надо было сразу связать его с твоей внезапно прорезавшейся речью. Спасибо, кстати, что не убила. Приложила бы сзади камушком по черепу, и лежал бы я, как эти четверо.

Девушка, вспыхнув, шагнула к нему. Илюшин перехватил поудобнее ручку лопаты.

Странно, но она не выглядела ни виноватой, ни испуганной.

– Ты дурак! – сердито сказала Катерина.

– Четверо младенцев, – сказал Макар. – Не знаю причин гибели, но подозреваю, своей смертью никто не умер. Судя по размерам, это новорожденные. Полиция проведет экспертизу и скажет точнее.

– Глупый дурак!

Не обращая на него внимания, она присела на корточки и начала прилаживать крышки к коробкам.

– Что ты делаешь? Катерина!

Девушка вскинула голову; синие глаза сверкнули гневом. Меньше всего Илюшин ожидал увидеть ее рассерженной.

– Илифиос!

– Звучит так, словно ты хочешь вызвать патронуса, – пробормотал Макар.

– Падла!

– Не самое уместное ругательство. Твоя русская старушка плохо тебя учила...

– Я спрятала их от нее! – перебила Катерина.

Не успел Илюшин возразить, как содержимое его рюкзака посыпалось на траву.

– Эй!

Яростно бормоча что-то под нос, девушка вытащила пару перчаток. Она действовала так уверенно, что Илюшину оставалось лишь в некотором ошеломлении наблюдать за ней. Он все же сделал попытку остановить ее, но Катерина повелительно ткнула пальцем в сторону, и Макар подчинился.

Девушка натянула перчатки и бережно вернула в гроб те кости, которые он успел вытащить. Перекрестила, певуче заговорила над ними по-гречески. Илюшин пытался понять, что она делает. Читает молитву? Просит прощения?

Как бы там ни было, ее гнев выглядел неподдельным. Он сидел в тени, наблюдая за ее скупыми, экономными движениями: как она поочередно закрывает крышки, ловко вбивает выскочившие из пазов гвозди его же собственной лопатой.

Закончив, девушка с сожалением посмотрела на разрытую яму.

– Ты прямо как белка, которая не знает, куда ей перепрятать орехи, – сухо сказал Илюшин. – Девочка моя, я жду объяснений.

Катерина что-то прошипела.

– По-русски, – попросил Макар.

Она поочередно опустила самодельные гробики в яму и не произнесла ни слова, пока не засыпала их землей. Притащила обратно слой травы и

полила цветы питьевой водой из бутылки Илюшина.

– Это ты их убила?

– Их никто не убивал.

– Катерина, хватит.

– Никто! Они сами!

– Почему ты закопала их здесь? Это ведь твоих рук дело?

Катерина села на землю, подогнула под себя исцарапанные загорелые ноги. Помолчала, собираясь с мыслями.

– Это из-за старухи.

– Которая жила с вами? При чем здесь она? Не говори мне, что это ее дети.

Девушка машинально разровняла ладонью землю.

– Лала когда стала старая, стала плохая. В голове песок и трава, руки и ноги сильные. Много говорила про своего мужа. Она его убила.

– Что? – переспросил Илюшин, решив, что ослышался.

– Убила. Давно. Была молодая. Он бил ее, бил сына. Сын был маленький, лала его любила сильно. До сына сделала четыре... Как сказать? *Эктроши*... Когда врач вытаскивает детей из живота.

– Аборты? Четыре аборта?

– Да. Ей муж приказал. Пятого родила, он ее за это наказывал. Не хотел детей. Они шумные. Лала боялась, муж однажды убьет мальчика. Она вылила водку из бутылки, налила... как это... спирт...

– Спирт?

– Да, спирт, неправильный...

Катерина защелкала пальцами, силясь вспомнить слово.

– Метиловый спирт? – медленно сказал Илюшин.

– Да! Человек умирает, если пьет! Она уехала к маме, ему оставила бутылку. Понимала, что он будет пить без нее. Вернулась через три дня, он уже мертвый лежал. И с ним еще двое. Его друзья. Она такого не хотела, говорила, что не стала бы оставлять отраву, если бы знала. Но я думаю, она все равно бы оставила.

– А при чем здесь дети?

– Лала захотела вернуть своих детей. Говорила, они не на небе, а из земли стучат, зовут ее, им страшно и темно, их червяки кусают. Очень кричала, громко, и плакала. Пошла на кладбище, ходила там, искала. Старое кладбище! Еще когда деревня очень большая была.

– Ты хочешь сказать, – начал Макар, прозревая истину, – этих несчастных мертвых детей выкопала безумная старуха?

– Я выкопала! – Катерина сердито посмотрела на него. – Лала кричала.

Плакала много, каждую ночь. У меня от жалости вот здесь иголками тыкалось. – Катерина стукнула себя маленьким кулачком в грудь. – Она нашла четыре могилы, где похоронили маленьких. Давно, очень много лет прошло, не знаю сколько. Она взяла лопату у Андреаса. Я подумала так: лала раскопает, увидит, что они мертвые, и у нее трава сгниет в голове. Корни вырастут из песка. Трава мягкая, корни жесткие, будут царапать изнутри.

– Ты вытащила трупы, чтобы эта сумасшедшая нашла только пустые гробы? – изумленно спросил Илюшин.

Катерина с гордостью кивнула.

«Индукцированный психоз», – подумал Макар. Однако ему была понятна логика ее поступка. Другое дело, что нормальный человек никогда не решился бы на такое.

«Начнем с того, что нормальный человек не стал бы притворяться немым».

– Лала пошла ночью. Раскопала первую. Там никого нет. Одну, вторую, третью. Я за ней следила, но далеко, чтобы она меня не увидела. Лала смеялась, говорила, что бог ее простил, забрал детей к себе. Она вернулась домой и спала целую ночь, а потом еще день. И поела. Я ее кормила. Она худая была, белая, как рыба кость.

Илюшин представил, как Катерина кормит с ложки сумасшедшую старуху, отказывающуюся есть, пока не спасет своих нерожденных детей. Как она разрывает могилы, одну за другой, и вынимает *то, что внутри*.

У него по коже пробежал озноб. Все-таки было в этой девочке что-то жутковатое.

– Похоронила их здесь. Камень принесла. Чтобы все как надо. Еще крест.

– Где крест?

– Цветы, – кивнула девушка.

Ах, вот оно что, подумал Макар. Ты еще и цветы посадила в виде креста, безумное ты дитя.

– Почему ты их не вернула на место? Когда твоя несчастная бабушка утихомирилась?

– Нельзя так с мертвыми поступать! Мертвые хотят покоя.

Катерина, кажется, была всерьез поражена его вопросом.

– Ну да, ну да, – пробормотал Илюшин. – Как из гробов их вытащить, так все в порядке. А как снова захоронить, так покой.

– Не хотела трогать. Они были очень старые. Как сухие веточки. Веточка сама ломается. Тронешь – она пополам.

– Мне показалось, у одного из них сломана шея.

– Может быть. – На этот раз его предположение не вызвало у нее ни удивления, ни гнева. – Их семьи давно закончились. Не живут здесь. Никого не осталось. Это ничьи дети.

Солнце неумолимо доползло до того места, где сидел Илюшин. Он передвинулся в тень.

Ничьи дети...

Все-таки хорошо, что здесь нет Бабкина, подумал он. Серега чувствителен к такого рода вещам. С него стало бы потащить давно усопших младенцев обратно на кладбище, где бы оно ни находилось.

Внезапно ему в голову пришла новая мысль.

– А их одежда? Не может быть, чтобы в греческом селе младенцев хоронили гольшом. Они наверняка были нарядные, в каких-нибудь кружевных платьях...

Катерина удивленно взглянула на него.

– Оставила в гробу. Как будто они там лежали, а потом ушли. На небо. На небе одежда зачем?

«М-да, логично».

– Не рой здесь больше, – сказала Катерина. – Нельзя. Нехорошо. Ты чужой здесь. Не твоя земля, не твои люди. Язык не знаешь. Я помогла тебе искать, ты мне сделал плохое. Я здесь все берегу.

Илюшин сложил вещи в рюкзак. Он всегда быстро принимал решения, но сейчас его охватили сомнения.

Возможно, следовало сообщить полиции о захоронении в лесу. Илюшин размышлял, поможет ли это в поисках Гавриловой. Получалось, что нет. Тела пролежали в песке довольно долго – не неделю и не две. Они не имели касательства к его расследованию. На все остальное Макару было наплевать. Допустим, думал он, младенцы были умерщвлены; допустим, к этому причастна девушка с острыми птичьими чертами смуглого лица, – что ему до того? Как справедливо заметила Катерина, это не его земля.

Он и на своей не отличался законопослушностью.

Пятью часами ранее, когда Илюшин сопоставил надпись на валуне, цветы и внезапную разговорчивость девушки, ему пришло в голову, что на поляне зарыта Ольга Гаврилова. Почти сразу он отказался от этой версии. Не столько потому, что убийцы не стали бы устраивать для жертвы персональное кладбище, – но камень слишком глубоко был утоплен в земле, да и цветы не успели бы вырасти за полторы недели.

– Катерина?

Она вопросительно взглянула на него.

– Что написано на камне?

Девушка пожала плечами.

– Нашла на берегу. Обмотала веревками, притащила. Больше ничего не делала.

Илюшин сдержал смешок. Вместо зашифрованной надгробной надписи – греческие Киса и Ося, оставившие свой легкомысленный след.

Он извлек из рюкзака планшет, отряхнул от песка.

– Ты видела когда-нибудь этого человека?

Девушка долго рассматривала фотографию Синекольского, но в конце концов решительно помотала головой.

– Не он был за рулем машины, в которую села туристка? Посмотри еще!

– Я посмотрела. Не знаю. Водителя не видела. Этого тоже никогда не видела. У него глаза от разных людей, я бы запомнила.

Илюшин вздохнул.

– Слушай, а ты уверена, что Ольга садилась именно в черный джип?

Катерина кивнула.

– Ты ее найдешь. – В ее голосе не было и тени сомнения. – Ты очень умный.

2

Когда Илюшин ушел, Катерина некоторое время сидела неподвижно, обдумывая, можно ли исправить случившееся.

Наконец она поднялась. Запихала в сумку припасы, убедилась, что Илюшина поблизости нет, и пошла прочь.

Девушка пересекла рощу, пробралась через вересковые заросли, то и дело оглядываясь. Отец ушел с утра в море, но кто знает, не вернется ли он раньше срока. И Мина... Дурочка при желании может быть незаметной.

Она прислушивалась к пению птиц. Не закричат ли тревожно?

Но все было тихо.

«Как выгодно казаться странным, – думала по дороге Катерина. – Можно позволить себе то, что другим не простят. Клеймо странного – это диагноз, но он же и рецепт. Вам выпишут от окружающих людей чуть больше терпения, снисходительности и насмешки. Пока люди смеются, они вас не бьют».

Дорога вывела девушку к обрыву. Здесь рос пышный тамарикс, усыпанный бледно-розовыми цветами. Катерина, оглянувшись еще раз,

полезла в гущу куста, осторожно отгибая ветки. Пробравшись через розовое облако и разогнав пчел, она оказалась на самом краю обрыва.

Внизу, в двух метрах от нее, из скалы выдавалась площадка – высунутый каменный язык, которым твердь дразнила море. Далеко под ним разбивались волны; шум стоял такой, что заглушал крики чаек. Девушка без раздумий спрыгнула на площадку, и слева открылся проход. Это был природный карниз, змеей опоясывавший мыс, длинный, но не больше полуметра в ширину; сверху его можно было разглядеть, лишь перегнувшись через край.

По этому карнизу и двинулась Катерина.

Уверенность, с которой она шла, изобличала в ней человека, не в первый раз проделывавшего этот опасный путь. Сторонний наблюдатель сказал бы, что ее намерение самоубийственно. Но этот же наблюдатель был бы очень удивлен, когда, пройдя не больше двадцати метров, девушка исчезла.

Здесь, в складке скал, таилась пещера. Катерина шагнула внутрь и пропала для внешнего мира.

Оказавшись в укрытии, она развязала рюкзак и вытащила двухлитровую бутылку и свежие лепешки, завернутые в бумагу. Затем на свет появились пакет с помидорами, огурцы и банка с медом.

В глубине пещеры завозились.

Катерина приблизилась к сонной женщине, закованной в наручники, и села перед ней на корточки.

– Я поесть принесла, – по-русски сказала она. – И мед. Ты любишь мед, Оля?

Глава 13

Русма, 1992

1

О чем думает девочка, готовящая убийство своего отца?

О чем она думает, заходя в зернохранилище и направляя луч фонаря в темную воду?

О чем она думает, когда вдвоем с другом тащит длинную узкую доску через поле?

Когда покупает рулон серой бязи на деньги, украденные из отцовского кошелька?

Когда вечер за вечером, дождавшись сумерек, идет через поселок до фермы Бурцева, запоминая каждую кочку на своем пути?

Она думает: «Этого не случится».

День за днем она повторяет себе, что ей не придется бежать по доске.

«Посмотри на него, – шепчет внутренний голос, когда отец ставит на стол тарелку каши. – Он совсем другой. Он старается угодить маме. Он испугался. Честное слово! Он же трус. До него дошло, что ему не скрыться, если он убьет ее. Его найдут и посадят. Он присмирел, понимаешь?»

Оля знает, что шепот – ложь. Но вслушивается в него с наслаждением, ведь эта утешительная иллюзия прекрасна. Она как распахнутое настежь окно в другую версию реальности.

Еще она знает, что отец вовсе не притворяется добряком. Он искренен, глядя по руке жену и целуя в макушку дочь. Он напевает песенки, отпускает глупые шутки, изо всех сил старается поймать их улыбку – но только не потому, что чувствует себя виноватым. Если сейчас напомнить, как он избил их две недели назад, лицо у отца вытянется, словно от огорчения, и он вздохнет: да, вспылит немного... но ведь не без причины! Это все из-за горячей любви к матери! Вот такой он хороший сын, да, не каждая мать может таким похвастаться. Да и какое там избиение... подумаешь, пошумел в сердцах... с кем не бывает!

Девочка следит за его руками, расставляющими на столе тарелки. Когда отец не замечает, она коротко взглядывает на его красивое

мужественное лицо с широким лбом и кудрявыми волосами. Она ищет признаки того, что он постепенно возвращается к своему обычному состоянию.

«Я здесь хозяин».

Ей приходится наблюдать не только за отцом, но и за матерью.

Кто бы мог подумать, что опасность будет подстерегать с этой стороны! Мама, кажется, делает все, чтобы вывести мужа из себя. Не улыбается, не греет ему суп, почти не разговаривает. И не заходит в комнату к бабе Лене, хотя лишь благодаря ей они с Олей остались живы. Мама существует сама по себе, словно не только ее семьи нет рядом, но даже время вокруг нее струится иначе, и она плывет в его потоке, равнодушно глядя на тех, кого уносит другим течением.

Оля, может, и поверила бы в то, что маме разом все стало безразлично. Но кое-что подсказывает ей, что мать такая же лгунья, как сама Оля.

Мама не позволяет остаться им наедине. Она взяла неоплачиваемый отпуск и с утра до вечера, как заведенная, отмывает, чистит, скребет свой дом. Мама не спрашивает, где Оля проводит свои дни, но девочка ловит на ее лице тень облегчения, когда утром убегает гулять, и замечает, как едва заметно поджимаются ее губы, когда вечером возвращается обратно.

Будь мамина воля, она не пускала бы Олю домой.

Нож по-прежнему при ней. Это очень плохо, потому что толстая неповоротливая мама не может зарезать даже курицу. Она слабая. Оля отобрала бы у нее нож, но мама найдет другой.

И еще она ищет для Оли интернат в соседнем городе. Девочка слышала обрывки телефонного разговора, короткие рваные фразы... Их хватило, чтобы она похолодела.

«Я никуда не поеду! – хочется ей крикнуть в замкнутое мамино лицо. – Я не брошу тебя!»

Наедине с мамой они в основном молчат. А если говорят, то о ничего не значащих вещах вроде лося, вышедшего на окраину Русмы, или соседского забора, который повалила свинья.

Если бы Оля могла предупредить ее без последствий! Она визжала бы и топала ногами: прекрати, прекрати сейчас же! Ты все испортишь, мама! Веди себя как обычно, спрячь свой дурацкий нож, начни разговаривать с ним. А главное – не вздумай бросаться на мою защиту, поняла? У тебя не получится. Ты угробишь нас обеих.

Тем временем с отцом ничего не происходит. Ничего такого, что подсказало бы Оле, что пошел обратный отсчет. Он по-прежнему мил и добродушен. Он, кажется, очень рад, что мама не ходит на завод, и пару раз

пошутил, что быть домохозяйкой ей к лицу. «Всю жизнь мечтал, чтобы жена по дому шуршала!» Как будто забыл о том, что, если она уволится, им не на что будет жить.

Встречи с коллективом продолжаются. Отец возвращается подвыпивший, но на ногах стоит крепко. Залатал подтекающую ванну, укрепил крыльцо, начал менять прогнивший шифер на крыше. «Хозяйственный у тебя мужик, Наталья, – сказала с завистью Галина Шаргунова, заглянувшая в гости. – Рукастый! А у некоторых вот ни мужа, ни дочурки...»

Тут она зарыдала. А отец принялся ее утешать: обнял, погладил по спине, потом налил стопочку.

«Соболезную», – говорит.

«Дай Бог вам никогда не испытать такого горя, Николай!»

Оля смотрела на них и думала: не может такого быть по-настоящему, ей показывают какое-то кино. Женщину, которая терпеть не могла Пудру, утешает мужчина, который ее убил. Ухохотаться можно! Синекольский говорит, от качественного косяка хорошо прет. Да как вокруг посмотришь, никаких косяков не надо!

Девочка молча смотрит, как отец наполняет опустевшую стопку Галины. Если бы сняли такое кино, думает она, получилось бы очень паршиво, и никто бы его смотреть не стал, и правильно сделал бы.

А еще ей начинает чудиться, что отец все понял.

Оля просыпается по утрам с мыслью, что он побывал на ферме Бурцева. Видел их приготовления. Теперь выжидает, когда Оля приведет его туда. Помешивает ложкой манную кашу, чтобы не было комочков, а в глубине души посмеивается.

Он и мамины приготовления видит насквозь. Может быть, сам и подсунул ей этот нож. Хихикает и ждет, вытащит ли она его из штанов. «В пупок себе не ткни, тупая дура!»

В холодильнике припрятаны две бутылки водки. Оля забирает одну. Отцу с чистосердечным видом кается, что разбила, пока мыла холодильник. Прежде он молча врезал бы ей. Но сейчас особенное время: его любимая дочурка едва выздоровела.

– Балда ты безрукая, – сокрушенно вздыхает отец. – Ладно, украдешь и новую купишь. Шучу!

Бутылку Оля приносит поселковому пастуху, и тот мастерит для нее кнут. У него небольшое кнотовище, чтобы удобно ложилось в маленькую Олину ладонь, но длинный и прочный ремень.

Несколько дней подряд Оля учится щелкать.

«Ничо, руку-то набьешь, – обещает старик. – А тебе оно к чему?»

«В ковбоев играем», – весело врет Оля.

«Ты только смотри, пацанам рыла не рассеки!»

Дома она заменяет свои разношенные тапочки на чешки. Обувь – это важно! Не менее важно, чем кнут.

Она держит его при себе, плотно обмотав ремнем кнутовище и научившись стряхивать одним точным движением. Мать невольно подсказала ей, куда его можно спрятать, и Оля носит штаны, а сверху мешковатую рубашку навывпуск. За резинкой пришит кармашек, в котором хранится ее оружие. Оно может пригодиться в любую минуту.

Но минута все не приходит и не приходит.

«Я ничего ему не сделаю, – все чаще повторяет Оля. – Только в самом крайнем случае».

Но продолжает бегать по доске и ждать, когда отец сорвется. Скорлупа миролюбия на нем очень тонка. Под ее защитой омерзительная тварь снова созреет, окрепнет и вылупится. Птица Феникс оживает из пепла. А отцовское чудовище раз за разом выбирается из яйца – гадина с мертвыми глазами и узким длинным ртом.

Она выберется и снова возьмет в лапы телефонный провод.

2

Утром она идет к Марине одна, без Димки. Садится возле могилы, отмахиваясь от комаров. Лопух увял. Оля вытаскивает его из земли и отряхивает от подсохших комочков.

Она думает о том, что приходит на кладбище, как многие приходят в церковь: за ответами, от которых в душе наступит покой. Но это неправильно. С кем здесь разговаривать? С портретом, на котором Марина – некрасивая испуганная тетка? Его ретушировали наспех, и справа от ее скулы торчит не до конца замазанное чужое плечо.

Можно поговорить с плечом.

Да и на что жаловаться?

Что отец никак не начнет дубасить маму? И что Оля уже так устала этого ждать, что сама готова вручить ему мешок с песком?

Девочка водит пальцем по земле. Что, что сказать? У нее было так много сумбурных мыслей, которые она таскала с собой, точно камни в оттянутом кармане. Но вот ее рука ныряет в карман, и там ничего, кроме мусора.

– Я его ненавижу, – говорит она наконец. – Знаешь, каково это? Будто проглотил целиком тухлое яйцо. Оно лежит в твоём животе, воняет и вот-вот лопнет. А когда ты открываешь рот, изо рта тоже воняет. Димка, кажется, еле терпит меня, потому что я только и говорю, что об отце. А когда не говорю, бегаю по этой чертовой доске.

И ещё мне всякие мысли в голову лезут... ну... больные. Как будто мама хотела выйти за другого мужчину, а отец украл у него тело и женился на ней. Влез в чужую кожу, как в скафандр. И если отца распороть, там внутри будет другой человек. Или не человек.

И ещё мне кажется, что он не спит. Совсем. Лежит в кровати и почесывается. Обычно он любит пальцы себе в волосы запустить, поскрести по коже, а потом наклонить голову и стряхнуть перхоть на пол. Я теперь даже видеть этого не могу. Меня тошнит сразу, Марина, понимаешь? От какой-то паршивой перхоти тошнит.

И каша эта. Знаешь, как я её ем? Представляю, что хлещу его кнутом. Первую ложку за то, чтобы врезать ему по шее. Вторую ложку за то, чтобы приложить его по спине. Третью ложку за то, чтобы огреть по ногам. Четвёртую...

Мне очень страшно от этого, Марина. Как будто я – уже не совсем я или даже совсем не я. Вот только непонятно кто. Я иногда перед зеркалом стою и лицо руками трогаю. Как будто оно чужое. И если меня разрезать, то внутри будут не кишки и кровь, а тоже кто-то странный, как у отца. Я в последнее время что-нибудь произнесу вслух – и сразу вслушиваюсь, кто это сказал: я настоящая или тот, кто внутри меня?

Так сходят с ума, да?

Мне постоянно мерещится, будто кошками пахнет. Я хожу, принохиваюсь. Вчера полчаса кота искала! Думала, баба Лена притащила тайком. Мама на меня так испуганно косилась. Потом спрашивает: Оля, ты зачем шкафы открыла? А что я ей отвечу? Что из них кошачьей мочой несёт? Сказала, что решила проветрить, потому что затхлое. Потом у бабки все обыскала, кошки не нашла. Вышла в сад – а там тоже вонь. Я тогда поняла, что это у меня внутри что-то... Может, тухлое яйцо как раз.

А мама, кстати, мне не поверила. Мы с ней вообще теперь друг другу не верим. Как враги, честное слово.

Я не знаю, что мне делать, Марин. То есть я знаю, что делать! Бегать по доске и ждать. Только мне все чаще кажется, что ничего я не дождусь. Умру от ненависти раньше, чем отец опять взбесится. Если гнилого мяса наестся, умрешь ведь, правда? Я теперь сама как гнилое мясо. Я сама себя съела.

Оля смолкает.

Какой смысл всё это вываливать... Если ей не помогла живая Марина, мертвая не поможет и по-прежнему.

– Ты, Бумбарашка, большой балбес, – произносит над ухом знакомый хрипловатый голос.

Девочка цепенеет. Она опускает глаза и видит, что увядший лопух в ее руке едва различим, их обволокло туманом. Откуда-то доносится запах кофе и сигарет. И комары – комары перестали звенеть.

Что-то есть за ее спиной. По позвоночнику бежит дрожь, словно проводят кончиком птичьего пера.

– Это большое счастье, что ты его ненавидишь. Гораздо хуже было бы, если бы ты его любила. Слушай меня, Бумбарашка: держись за свою ненависть. Не верь, если будут говорить, что ненависть разрушает. Это любовь разрушает – любовь к чудовищу, которое давно сожрало трухлявого человека. Думаешь, это ненависть наденет на тебя цепь и повернет ключ в замке твоей клетки? Не позволяй себе искать в звере человека: его там нет. Не держись за ложную надежду, девочка моя, – держись только за свою ярость.

У меня не было сил на ненависть. У тебя есть.

Он научил тебя гневу, научил отвращению, научил злобной хитрости и притворству. Не позволяй его урокам пропасть зря. Ты плод его воспитания; ты искалеченное деревце, выросшее из посеянного им семечка. Твое увечье тебя спасет. Ты согнешься там, где другой сломается. А потом выпрямишься и хлестнешь его.

Скажи ему спасибо за то, что он сделал тебя такой.

А теперь беги, Бумбарашка. Не приходи сюда больше.

Скажи своему дружку-пошляку, что карточки, которые он утащил, может оставить себе. И пусть сегодня вечером подсыплет еще немного земли на ткань.

Становится тихо. Оля видит неотчетливую зыбкую тень рядом со своими перепачканными коленями. Непереносимо хочется обернуться. Но она откуда-то знает, что оборачиваться нельзя. То, что находится за спиной, существует лишь до тех пор, пока на него не взглянешь.

Тихий звук, похожий на усталый выдох, проносится над кладбищем. Лист лопуха в руке девочки вдруг насыщается цветом, словно его окунули в зеленую гуашь. Над ухом звенит комар.

Оля встает, машинально сует лист в карман. И, не отряхивая колен, идет в сторону Димкиного дома.

Синекольский просьбе не обрадовался. Он собирался вечером смотреть передачу вместе с бабкой – едва ли не единственное их совместное времяпровождение, поддерживавшее в нем иллюзию близости. Димка помогал Оле во всем. Он был посвящен в каждую деталь замысла. Но чем больше времени они проводили вместе, тем больше у него набиралось дел, которыми он занимался без нее. Как будто упрямо очерчивал круг, в который девочке не было доступа. Место, где нет Оли и ее отца.

Оля молча соглашалась.

Однажды ей пришло в голову, что Синекольский приходит на ферму Бурцева не из-за нее, а из-за голубя.

Она, наверное, и сегодня уступила бы. Димка ныл, что бабка рассердится и что на ферме и без него все в порядке, зачем что-то менять... земля эта еще... что придумала! Но услышав про землю, девочка вздрогнула и почти бездумно сказала: «Кстати, карточки Маринины можешь оставить себе».

Синекольский побледнел. «Какие карточки?» – спросил он тонким голосом. «Я без понятия, – сказала Оля. – Это тебе Марина передала».

Димка сделал шаг назад и отчетливо стукнул зубами.

«Что?» – спросила Оля.

«Ага. Карточки. Хорошо».

Три слова дались ему с трудом.

«А ферма?» – спросила Оля.

«И ферма».

Больше они не разговаривали. Оля быстро ушла, погруженная в задумчивость, и через полчаса вообще забыла, что была у Синекольского.

До вечера она проводит время одна на краю Ямы. Сюда запрещено ходить детям, и, кроме Оли, вокруг на несколько километров никого нет. После гибели Мани возобновились разговоры о том, чтобы разобрать свалку. Но гигантская мусорная куча давно стала неотъемлемой частью Русмы. Она важнее, чем Пудра.

Яма убила живую речку, убила зеленый овраг. Зато сохранила никому не нужную память. Умрут люди, помнившие тех, чья собственность свалена в общую кучу. Их воспоминания навсегда исчезнут вместе с ними.

А скупая Яма сберегла платья, в которых танцевали; ложки, которые окунали в кисель; патефон, в котором бурлила музыка. Вон он, внизу – из-под груды потрепанных журналов торчит угол коричневого ящика и вывернутая серебряная трубка.

Не странно ли, что смерть владельцев вдохнула в их вещи искру жизни? Что сейчас, гниющие на свалке, они сильнее и страшнее, чем тогда, когда принадлежали материальному миру своих хозяев?

Оля с мамой тоже вещи. Вещи, принадлежащие отцу. Что случится с ними после его смерти? Очнется ли мама от своего глухого забвения?

«Интересно, кто сильнее – отец или Яма?» – думает Оля. И сама не понимает, как такая странная мысль пришла ей в голову.

Потом она просто сидит, вдыхая тянущийся снизу запах влажных гнилушек. Как хорошо ни о чем не думать! Все эти дни мысли носились в ее голове, точно попавшие в ловушку крысы, и скреблись изнутри, и визжали. Стоило лечь спать, и какая-нибудь обезумевшая мысль принималась царапаться особенно яростно.

Но сейчас в Олиной голове тишина. Утром – кладбище. Вечером – Яма, которая, по сути, тоже не что иное, как кладбище. Вот бы после смерти некоторых людей оставались только вещи! Никаких воспоминаний! Вещи легко забыть. Их можно выкинуть.

Девочка скользит взглядом по застывшим волнам мусора и закрывает глаза, когда ветер дует ей в лицо.

К своей калитке Оля подходит, когда уже начинает смеркаться. На улицах не встретишь никого, кроме кошек, – весь поселок смотрит вечерний повтор «Счастливого случая». В каждом доме два окна желтые, а третье мерцает голубоватым – там-то все и сидят, скучковавшись перед телевизором, точно племя возле костра, когда сытый шаман заводит историю о тигре-людоеде.

В Олином доме из всех окон падает теплый золотистый свет.

– А вот и Лелька! – отец приветственно машет из кресла.

Мама сидит на полу, подстелив старую простыню, и перебирает крупу. Гречка в местном магазине грязная, с мелкими камешками. Попадет такой во время ужина – и прощай здоровый зуб. Пухлая ладонь разравнивает гречку, мама пристально вглядывается, словно пытаясь обнаружить вражеского партизана, переодевшегося в солдатскую форму. Выуживает противника двумя пальцами и бросает в миску. Бряк! Бряк! Бряк!

– Я к тебе сейчас приду, – говорит Оля. – Только руки помою.

– Я уже почти справилась.

Бежевые волны гречки вокруг мамы говорят об обратном.

– Правильно, помоги матери, – отзывается отец. – А то шляешься целыми днями. Ни прибраться, ни по огороду...

– Прибираюсь я!

– Знаю я, как ты прибираешься...

Отец ворчит. Однако как Оля ни вслушивается, в его упреках нет угрозы. Он добродушный глава семейства, поучающий свою дочь больше по привычке, чем по необходимости.

– Где шлялась-то? Рассказывай!

Оля на ходу выдумывает историю о походе в лес. Они болтают с отцом, пока мать молча продолжает свою работу. Шуршит гречка, звякают камешки о дно эмалированной миски, басовитый хохоток отца перебивает Олин рассказ о Димке, который полез в дупло и застрял.

– Ха-ха! Рукой, значит... И чего, по локоть? А ты чего? А дрозды, значит, выются? Ах-ха-ха!

Успокоившись, он утирает выступившие от смеха слезы.

– Поужинай. Косточки вон торчат, смотреть страшно.

На столе преют под крышкой блины. Девочка заворачивает в верхний кусочки селедки. Сладкий блин с соленой селедкой – это очень вкусно.

– На улице чего-то тихо. – Отец приподнимается, смотрит в окно. – Не гуляет никто. Дождь, что ли, собирается?

– Не. Все передачу смотрят.

– Это какую?

– «Счастливый случай».

– А мы чего ж сидим? Натаха, включи-ка.

Мама коротко взглядывает на отца. Руки ее в пыли от крупы, спина согнута.

– Включи сам.

Он вздыхает и трет переносицу.

– А ведь я этот «Сони» в восемьдесят восьмом привез из рейса. В Гамбурге стояли, как сейчас помню... Порт, конечно, огромный. Целый город! Всю Русму можно в один пароход посадить. Лодочки такие бегают... черно-желтые... Видала ты, Оль, черно-желтые лодочки?

Девочка качает головой и мычит. Рот ее забит блинами. Она, оказывается, жутко проголодалась, пока шлялась по поселку.

– Но больше всего я на асфальт глядел. По нему идешь – а он такой чистый, что на нем спать можно. Потом увидел, что наплевано, и даже полегчало. Там у нас смешная история вышла. Вода нужна была питьевая на обратный путь. Подъехала машинка, тоже чистенькая, как игрушка. И

шланги чистые, без запаха. Закачали две цистерны. Капитан подходит, принохивается – а там не вода, а топливо! Еж твою медь! Топливо залили вместо воды, можешь представить? Капитан давай глотку драть! Аж перепонки лопаются. Вахте, понятно, люлей выписали, а потом вся команда наш питьевой танк отмывала от солярки – ну, бак от топлива то есть. Только я ходил радовался. Понимаешь, Лелька, почему?

– Нет. Почему?

– Так напутали-то на берегу! Немцы напортачили, понимаешь? Привезли топливо вместо воды. А мы не просекли, потому что у них все отмытое, чистенькое, без запаха. Ты бы на шланги в наших портах поглядела! От них вонь такая, что потом ее из носа выковыривать можно, как козявки. И грязные, хуже калош по осени! А у немцев не так. Смотришь – и завидно, и зло берет. Вот суки! Ну как без дерьма-то в нашем деле? А у них как-то получается... Только если шланг был бы грязный, мы не ползали бы потом в танке, точно в гробу, неделю с тряпками, да притом без всякого толку – ну никак в судовых условиях не отмоешь его, хоть языком вылизывай! Как мы этих немцев костерили! Вахтенный механик наш, Ванька Чепура, пять дней только матом мог разговаривать. Остались бы в порту – ей-богу, новую войну бы развязали!

Неужели, думает Оля, они с папой говорят нормальными человеческими голосами? Пахнет селедкой, лает уличный пес, светится торшер, гречка шелестит под ладонями. Все так обычно и так неправдоподобно...

Отец мечтательно посмеивается.

– Тому дураку-матросу, который на вахте стоял, хотели темную устроить. А он одно талдычит: «А я чего? Шланги чистые! У меня хозяйство в штанах так не блестит после бани!» Глянешь на него и понимаешь, что на его месте тоже бы прошляпил. Капитан потом замучился диспетчерам отвечать, зачем приняли дополнительное топливо, если были полные баки. Он такой: «По ошибке!» А они пальцем у виска крутят: как можно воду с соляркой перепутать? А вот так! Немцы, суки, подсуропили. Повесить бы их на портовых кранах и поглядеть, обосрались они или все ж таки в чистом исподнем болтаются.

Отец ставит свои большие ладони на подлокотники, выталкивает себя из кресла. Выпрямившись, покачивается, словно удерживая равновесие. Вразвалочку проходит четыре шага до телевизора. У него походка матроса, только что сошедшего на берег. Девочка не может удержать улыбку, глядя, как он дурачится.

Пальцы крепко обхватывают пульт. Уже не прикидываясь моряком,

отец быстро подходит к матери и со всей силы бьет ее пультом по тому месту, где под шеей на спине выпирает жировой бугорок. Мама иногда просит Олю по вечерам размять его. От неожиданного удара мамина голова подскакивает, и челюсти клацают с громкостью упавшей на кастрюлю металлической крышки.

– Я. Зачем. Этот. Сраный. Телик. Вез. Хрен. Знает. Откуда. – Отец вколачивает каждое слово в мамину спину. – Чтобы ты, сука, выкобенивалась мне тут? А?

Самое поразительное, что ухмылка так и не сходит с его лица.

Ему не нужно было разгоняться, с запоздалым ужасом понимает Оля. Ему даже не пришлось напиться. Все последние дни он пребывал в готовности к этому броску. Он был счастлив, ожидая этой минуты.

Оля вскакивает, но мама неловким движением перекачивается на бок. Рука ее ныряет под рубашку, а когда появляется снова, в ней сверкает лезвие.

Должно быть, она много тренировалась. Училась доставать его из любого положения.

Но первый же выпад отец без труда отбивает коленом. Хватает ее за запястье, выкручивает руку, и мама кричит от боли.

– Пасть закрой!

Нож со стуком падает на пол. Отец отшвыривает его ногой под комод, сдергивает со стола кухонное полотенце и запикивает матери в рот. Над нарисованными ромашками Оля видит вытаращенные в ужасе голубые глаза.

– Таковую технику испортила, тварь!

Отец снова бьет ее кулаком в живот, и на лице его наслаждение.

– Ох! Наконец-то...

Это он про мешок, понимает Оля, про свой мешок с песком. Не нравился он ему.

Мама мычит, глаза ее закатываются под лоб.

– Куда, сука? – От оплеухи она открывает их снова. – Рано. Рано!

Отец бросает короткий взгляд на Олю и на секунду замирает, озадаченный. Девочка стоит посреди комнаты, не пытаясь ему помешать.

– Ты же видела, да? – тяжело дыша, говорит отец, отвлекаясь от обмякшего тела. – Видела, как она меня послала?

Девочка молчит, но что-то в ее взгляде подсказывает отцу, что он обрел союзника. По его губам расплзается понимающая ухмылка. «Струсил. После прошлого раза не полезет, набралась ума».

Мама внезапно приходит в себя. Руки взлетают в воздух, она машет

кулаками, изредка попадая в отца.

– Видишь, мало ей!

Из забитого полотенцем рта раздается приглушенное мычание. «Оля, беги!» – кричат мамины глаза.

«Стой на месте», – приказывает себе девочка.

Она много раз представляла, как все случится. Но это все равно в миллион раз хуже, чем самая ужасная фантазия. В горле зреет то ли крик, то ли всхлип, и девочка до скрипа сжимает зубы. Ей нельзя мешать отцу.

При виде неподвижно стоящей дочери мама начинает отбиваться. Прежде она никогда не сопротивлялась, и отец откровенно рад ее слабым попыткам.

– Мужа не уважаешь!

Теперь Николай встряхивает ее за грудки, словно взбивает пух в подушке.

Мама, уловив момент, выдергивает изжеванное полотенце изо рта и хлещет им отца. Без труда перехватив у нее смехотворное оружие, тот ловко скручивает из него жгут и набрасывает маме на шею.

– Знаешь, что раньше с такими, как ты, делали? Обливали смолой и поджигали!

Отец безумствует. Он уже сорвался и несется вниз, ухая и взвизгивая от восторга. Кожа на побагровевшем лице натянулась, словно тварь внутри отца распухла и плотнее заполнила собой его тело.

– Зажигалка! – осеняет его. – Зажигалка где?

Кажется, мама понимает, что он хочет сделать. Извернувшись, она бьет его пяткой в пах. От глухого рыка Оля вздрагивает; отец в ярости отшвыривает маму. Поразительна легкость, с которой он управляет с ее громоздким телом, – будто мама не человек, а большой воздушный шарик.

От стука, с которым мамина голова врезается в стену, в Оле что-то коротко вспыхивает и перегорает.

Мама сползает на пол. В щели век видны синеватые белки.

– Вставай! – Отец пинает скрюченное тело.

Он опускается на колени, прижимает пальцы к ее сонной артерии.

– Дышит, стерва. Прикидывается.

На несколько секунд он замирает в странной неподвижности: плечи опущены, грудь мерно вздымается, точно у пловца, готовящегося к прыжку. Оля знает, куда он хочет нырнуть.

Вот теперь пора!

Когда пальцы девочки ложатся на кнутовище, они дрожат. Но хлыстом она орудует так, как учил ее пастух.

Ноги чуть расставить.

Встать уверенно.

Замахнуться, словно указываешь в небо.

Дернуть вниз.

«Руки у тебя сильные, – говорил пастух, – живо защелкаешь».

Но Оле главное было – не щелчок, которому мечтали научиться мальчишки, а точность попадания. Она часами тренировалась сбивать кнутом коробки и пустые консервные банки.

Раз, два, три!

Девочка выдыхает и протягивает кнутом по отцовской спине.

Раздается вопль такой силы, словно она взрезала его ножом. Лишь бы соседи не прибежали! Оля очень рассчитывает на телевизор, который интереснее, чем Белкины.

Отец оборачивается, пытаясь одновременно ухватиться за спину, и выглядит так смешно и нелепо, что Оля рассмеялась бы, если бы не мамино тело, распростертое на полу.

– ...!

Грязно бранясь, он вскакивает, и тогда кнут щелкает снова.

Отец взвизгивает, уворачивается, прикрывается руками. Боль не слишком сильна, все-таки в ее руках не настоящий пастуший кнут, а его имитация. Но отец очень давно не испытывал вообще никакой боли, не говоря уже о столь унижительной.

Вот оно, волшебное слово: унижение! Ради этого Оля тренировалась день за днем и терпела, глядя, как он выколачивает жизнь из мамы.

Ни одно другое средство не могло бы привести отца в такую ярость. Его? Кнутом? Как животное? И кто – его собственная дочь!

– Ах, сука...

Отец наконец выпрямляется. Губы скачут от бешенства. Но в глазах таится что-то еще. Это взгляд мясника, которого позвали прирезать свинью и он оценивает масштабы предстоящей работы.

Эта деловитость очень не нравится девочке. Он должен одичать, взбеситься и сам стать как одуревшая свинья.

– Иди-ка сюда, Оля, – хрипло предлагает отец. – Поговорим спокойненько. Как взрослые.

– Какой же ты тупой! – выпаливает девочка. – Будто баран холощенный!

Лицо отца снова меняется молниеносно и страшно. Он бросается к ней и дергается, когда кончик ремня обжигает его плечо.

– Стой, гадина!

Девочка ударяется всем телом в двери – одна, вторая! – выскакивает

наружу, в ветреную ночь, и мчится по Русме, отшвырнув подарок пастуха в кусты. Теперь он будет мешать.

Сначала она слышит только шелест травы, собственное дыхание и мягкое шлепанье чешек по земле. Оля знала, что у нее не будет времени сменить обувь.

Затем к этим звукам добавляется тяжелый топот. Девочка оборачивается и видит высокую темную фигуру, бегущую за ней следом.

Она все рассчитала правильно. Ударь она его палкой, он не одурел бы от бешенства, а вот кнута он ей не простит. Кнутом бьют рабов, а не хозяев.

«Давай, папа! Догони меня!»

Отец не сомневался, что Оля рванет к отделению милиции, и теперь наверняка озадачен.

Девочка бежит пустынными улицами, где закончились все люди. На дорогу вышли фонари. Многие не горят, а просто молча стоят, согнув головы и вглядываясь слепым стеклянным глазом в то, что шевелится внизу.

– Лелька! Игрушку-то свою забыла! На, возьми!

Отец нашел время поднять ее кнут.

Теперь они перешли на трусцу, и это до смешного похоже на вечернюю пробежку.

Улица безлюдна – пока безлюдна. Но что, если из подворотни выскочит шавка и вцепится в лодыжку ей или отцу? Оля запоздало понимает, как много в ее плане прорех: ткни посильнее – и он расползется по швам. А вдруг не собака? Вдруг это будет человек? Сторожа Ляхова, беспробудно пьющего со дня ухода жены, тоска выгонит из дома – а тут Оля с папой! Бегут себе, как марафонцы.

– Слышь! Ей-богу, не обижу!

Оля косит глазом через плечо. Обидит или нет, но только отец ускорил темп. Кнут волочится за ним по траве со змеиным шуршанием.

По небу беспорядочно несутся клочья облаков. На магазине, мелькнувшем слева, со скрипом раскачивается вывеска. Оля ощущает ветер всей кожей, словно в нее летят струи песка, и ее обжигает внезапной дикой радостью – от их ночного бега, и от ветра, и оттого, что она так легко держит дистанцию между ними. Кровь бросается ей в голову. Девочка словно опьянела от того, что наконец-то отхлестала его кнутом. Вспоминая, как он вздрагивал и закрывался руками, Оля беззвучно хохочет в темноте. Она больше не его вещь! Она врезала ему! Врезала!

Это хмельное буйство не изгнать даже страхом.

– Олька! Мать-то умирает! А ты сбежала!

Улыбка сползает с ее лица. Не отвечать ему, экономить силы! Мама не умирает, она жива, жива! А ты беги за мной, папа. Я знаю, ты взбешен куда больше, чем показываешь, и даже больше, чем я могу представить. Это здорово! Значит, пока все идет как надо.

Но когда окраина поселка остается позади, когда большие желтые окна, каждое из которых таило опасность, съеживаются до иллюминаторов пароходика, уносящего по темным волнам ночи Русму со всеми ее обитателями, вдруг случается то, чего Оля боялась.

Шаги стихают.

Обернувшись, девочка видит, что отец замедлил шаг и бредет еле-еле. В конце концов он встает, упирается ладонями в бедра, бросив кнут.

Они на проселочной дороге. Слева поле, справа лес. Луна то выплескивается на грязно-серое небо водянистым дрожащим пятном, то впитывается без остатка в шерстяную рванину туч.

«Только не возвращайся! – заклинает Оля. – Давай! Беги за мной!»

Все ликование, которое опьяняло ее, выветрилось без следа. Желудок полон холодной земляной тяжести. В ней прорастает страх.

Оля отдала бы все, что у нее есть, чтобы не подходить к отцу. Несколько секунд она торгуется с кем-то, кто с насмешливым равнодушием смотрит на нее из ночи. «Возьми у меня все хорошие воспоминания, и Яму возьми, и пусть у меня каждый день болит живот и выпадут все зубы, только не заставляй меня приближаться к нему!»

Но некому принять ее жертву.

Оля поджимает пальцы ног в своих истершихся чешках. Камешки впиваются в подошвы, когда она медленно, с демонстративной неторопливостью, идет к отцу.

Тридцать шагов между ними. Двадцать. Десять.

– Эй, пап!

Он не двигается. Оля шмыгает и сплевывает на дорогу. Половина ее лица кривится, и, подражая Синекольскому, девочка тянет:

– Пап, слушай... А знаешь, что мама говорит?

Молчание.

– Она говорит, у тебя между ног веревочка. Правда?

Кажется ей или нет, но едва заметная тень на земле вздрагивает.

– Ну скажи-и-и! – канючит она. – Раз уж мы взрослые!

Синекольский обучил ее самым непристойным ругательствам, а заодно просветил насчет физиологической стороны дела. Но даже в эту минуту Оле невыносимо повторять отцу то, что говорил Димка. Смешно! – она собирается его убить, но не может обозвать его хозяйство грубым словом.

«Я должна. Иначе он за мной не побежит».

Непроизвольно она копирует Димкину позу перед дракой – широко расставляет ноги, вскидывает подбородок. Верхняя губа вздернута, нос презрительно сморщен. Вместо лица у Оли сейчас одна из шутовских Димкиных масок, которую их русичка Кулешова называет крысиной. «Не смей показывать мне крысу, Синекольский!» Но Оле нужно быть крысой, злобной изворотливой шельмой. Ее маленький зверек щерится и бьет голым розовым хвостом.

– Мама говорит, ты ничего не можешь. Ты не мужик.

В канаве трещат кузнечики. Ветер усилился, он раскачивает сосны, словно пытаюсь заглушить оголтелый стрекот. Слева за Олиным плечом – ферма Бурцева. Отсюда ее не видно, но девочка знает, где она, тверже, чем если бы на нее указывала стрелка компаса.

– Ты поэтому ее бьешь, пап? Боишься, она трепать начнет? Ну и правильно. Она уже бабам своим на работе растрезвонила!

Теперь дергается не только его тень, но и тело. Оля нагибается, осененная новой идеей, и, не отрывая взгляда от отца, зачерпывает пригоршню гальки.

– А знаешь что?

Она прицеливается и бросает первый камень. Он попадает точно в его шевелюру и застревает в густых отцовских волосах.

– Женьке Грицевцу тоже расскажу. Завтра же! А он папке своему.

Второй камень шмякается ему под ноги. Третий отскакивает от плеча.

– Все узнают! – выкрикивает Оля, швыряя снаряды один за другим. – Вот дружки-то твои поржут! У Белкина хрен толщиной с комариный! А, пап? Табличку на дом приедем, чтобы все знали, что ты... – она набирает воздуха, прежде чем выпалить самое запретное слово, – ...импотент!

Отец медленно поднимает голову. Их разделяет десять шагов, но девочка читает с такой ясностью, словно они стоят лицом к лицу: все, это конец. Она нарушила табу – произнесла слово, которое нельзя было даже хранить в голове. У отца чужое лицо, и рот поведен вбок, и оттуда, где она стоит, кажется, что это и не рот вовсе, а узкая щель, как в почтовом ящике на калитке. В щели белеет письмо. Это отец написал Оле. Ядовитые буквы разбегутся по ее телу, прогрызут дырки в коже, вползут, точно осы, откладываящие личинок внутри гусениц, и новорожденные буквы, собравшись в слова, сожрут ее изнутри. От Оли ничего не останется, кроме того, чем он нашпиговал ее: «Твоя мама умирает. Это ты виновата».

Он срывается с места так стремительно, что девочка не успевает даже вскрикнуть. В два огромных прыжка отец преодолевает разделяющее их

расстояние. В последний момент кто-то невидимый отдергивает Олю в сторону, и волосатая рука загребает воздух в миллиметре от ее плеча.

Отец издает совершенно звериный рык. Он стоит на корточках и рычит, глядя на ошеломленную Олю.

С места они срываются одновременно.

Теперь Олю гонит только ужас. За спиной хрипят, словно у отца на шее затянута веревка. «Не собирался он возвращаться! – осеняет ее. – Он просто хотел отдохнуть!»

Запретное слово, которое она швырнула ему в лицо, вышибло из него усталость. Несколько раз отец оказывается так близко, что она чувствует селедочную вонь. Он не кричит, не зовет ее. Девочка то и дело вырывается вперед, но когда ослабевает, расстояние между ними неуклонно сокращается. Это слышно по его сопению, по топоту, который все громче отдается у нее в ушах.

«Я не успею!»

Едва не пролетев в темноте мимо мостков, Оля в последний миг сворачивает направо – и теперь бежит уже по полю.

Рапс мокрый от вечерней росы, и штаны у Оли тоже разом пропитываются влагой. Земля разъезжается под чешками. Если она упадет...

От отцовского топота содрогается поле. Отец как будто растет с каждым шагом; не человек, а великан преследует Олю. Влажные штаны липнут к ее ногам. Сердце пульсирует неравномерными толчками где-то в горле, уши ломит, словно в них насовали сосулек, и все ближе чужое дыхание за спиной.

Ферма Бурцева похожа на горбы гигантского спящего верблюда. При виде двух амбаров Оля из последних сил отрывается от отца.

«Димка!»

Она едва не падает. Нет, его там не может быть, он давно все закончил и вернулся домой. А если он внутри... Господи, только не дай ему выскочить сейчас, когда они уже совсем рядом.

Перед двумя зернохранилищами Оля, точно в панике, мечется туда-сюда, и в конце концов выбирает тот амбар, где нет двери. Черный проем манит к себе – как прорубь во льду, как нора в корнях дерева, как бельмо слепца.

«Я в ловушке», – думает Оля.

«Ты в ловушке», – думает ее отец.

Еще он думает о том, что шея у нее очень тонкая, не то что у матери. Все произойдет очень быстро. Ему не хочется причинять ей лишних

страданий, даже несмотря на все те подлости, которые девчонка совершила.

Когда она бросила то слово... черт, за такое надо вырывать язык! Зато он сразу понял кое-что. Если бы любовь не застила ему глаза, разглядел бы это раньше.

Она не его дочь. Жирная сука обманывала его много лет подряд. Залетела, пока он был в рейсе и трудился до седьмого пота, чтобы обеспечить ее, ленивую дрянь. Про сроки соврала, а он и не проверил. Доверял ей.

Разве родная дочь могла сказать то, что заявила эта узкоглазая девка с хитрой мордой? Разве стала бы она стегать его кнутом, если бы в ней текла его кровь? Да она и не похожа на него!

Выходит, он тринадцать лет гробился ради чужого выродка.

Но теперь-то все. Теперь хватит. В его семье гнилое семя, и его надо выкорчевать, пока она не наплодила новых ублюдков.

Он растил ее как родную... столько вложил... так заботился о ней! И чем она отплатила? Настоящее продолжение своей матери. Видит бог, он сделал все что мог. Он пытался исправить свою распущенную жену. Надеялся слепить из нее человека. Бесполезно. У кого-нибудь другого давно опустились бы руки... но ведь он любил ее, черт побери! Он боролся, как мог, за свою семью! Другой давно ушел бы, бросил бы эту шалаву с нажитой на стороне девкой. Только не он.

Что ж, правильно говорят: не делай добра – не получишь зла. Он сделал – и что получил?

Табличку на дом прибьем!..

«Я тебе на хлебало табличку прибью».

Он втягивает носом воздух. От входа его отделяет пять шагов.

Оля, вбежав в амбар, делает то, чему училась много дней подряд, – пробегает по доске, как пробегала уже тысячу раз, и оказывается на другой стороне бассейна.

Секунду спустя в амбар врывается отец.

– На хлебало! – тонким голосом выкрикивает он.

Перед ним бассейн, затянутый маскировочной тканью. Синекольский постарался на совесть, художественно разбрасывая по ней мусор и песок: с двух шагов в темноте поверхность не отличить от цементного пола – в точности такого же, как в соседнем зернохранилище.

В этом и состоит Олин расчет. Отец не вспомнит, в каком из амбаров была яма с водой.

На мгновение он замирает перед бассейном. Не успев ни о чем подумать, девочка взвизгивает:

– Импотент!

Отец бросается к ней, словно его подхлестнули кнутом.

Он бежит по ее следам, по мостку, прикрытому тряпкой. Он успевает добежать до середины.

Доска выдержала вес девочки, но на вес взрослого мужчины она не рассчитана. Она рассчитана на то, чтобы сломаться под ним.

Раздается хруст, словно огромный кочан капусты разрубили топором. Отец проваливается в ледяную воду бассейна, не успев даже вскрикнуть.

Зато кричит Оля. Потому что из темноты противоположного угла выскакивает фигурка с огромным фонарем и кидается к ней. Пятно света прыгает по стене.

– А-а-а!

– Заткнись! – орет Синекольский. – Живо, живо, живо!

Оля действует автоматически; сейчас она солдат, бегущий в атаку после десятков тренировочных сражений. Ее сторона – левая, Димкина – правая. Бросив фонарь на пол, они стремительно выдергивают из-под тела, барахтающегося в воде, длинные полосы ткани. Те были сметаны на живую нитку ровно посередине, и почти невидимые стежки в самом начале тренировок помогали девочке сообразить, где доска. Даже сквозь крик отца, попавшего в ловушку, она слышит, как рвется тонкая нить. Быстрее, быстрее! После них не должно остаться следов.

В школе на уроке географии им рассказывали, что при температуре воды пять градусов по Цельсию человек может плавать в ней десять минут. Оля рассчитала так: если в бассейне десять градусов, человек продержится от силы час. Затем он либо утонет, либо замерзнет. Когда она впервые изложила это Димке, они притащили градусник, сунули в воду и через восемь минут тянули его друг у друга, желая скорее узнать, что приготовили им местные подземные ключи.

Ртуть поползла до одиннадцати градусов и остановилась.

Вот тогда-то Оля и поняла, что у нее все получится.

Отец вынырнул и теперь пытается выбраться. Пальцы его хватаются за цементный край ямы, но раз за разом грузное тело под собственным весом соскальзывает вниз. Ледяные брызги летят во все стороны.

– Дай руку! Руку дай, сука! – ревет он.

Оля не отвечает.

– Вытащи меня отсюда!

Он уже понял, в какой капкан она его загнала. Оля поглощена тем,

чтобы вытащить из бассейна все куски ткани, скрыть следы их преступления, пока отец не спохватился. Но краем глаза она видит, как по его лицу расползается страх, как сереет его кожа, когда он осознает, что самому ему не выбраться.

– Лелька, что ж ты делаешь?

Он подплывает к ней, Оля отбегает в сторону.

– Стой... Ты чего, Лель? Ты же моя дочь! Дочурка моя родная!

– Пошел на...! – кричит Оля. – Никакая! Я! Тебе! Не дочь!

Она не дочь этой твари, день за днем убивавшей маму. Она ему никто. Если сейчас вспомнить, как маленькая Оля надувала перед зеркалом пузырь из розовой жвачки, как, хихикая от предвкушения, разжимала большой папин кулак, в котором прятался смешной магнитик, как проводила языком по кончику фломастера, млея от сладковатого запаха, – если вспомнить, как она любила человека, который сейчас умоляет спасти его, можно сразу прыгать следом за ним. Все равно ей конец, хоть меньше мучиться.

– Лелька! Ну, пошутили – и хорош!

В два гребка отец пересекает яму и пытается выпрыгнуть прямо у ее ног, точно гигантская рыба за мотыльком. Он нелепо взмахивает руками и с громким всплеском падает обратно.

Вынырнув, отец кашляет и отплеывается. Мокрые волосы прилипли ко лбу. Губы серые – то ли от холода, то ли от страха. Его глаза в свете фонаря похожи на две дыры. В них не видно зрачков.

– Что творишь-то, дурочка! – увещевает он. – Грех какой страшный берешь на душу!

Оля комкает мокрые тряпки и сует в пакет, который был спрятан в углу. Камни! камни не забыть бросить туда же...

– Не сможешь ты с этим жить! – сипит снизу отец.

А куда спрятать пакет? Об этом они не говорили... Впрочем, какая разница! Бросят на поле или закопают.

– О матери подумала? Она ведь любит меня! И я ее люблю! Хочешь мать вдовой оставить?

– Я хочу живой ее оставить! – кричит Оля. – Слышишь, ты, сволочь! Живой!

Отец странно скрючивается в воде. Потом выпрямляется, и какой-то предмет летит по воздуху. Он врезается Оле в лоб. За ним следом в плечо ее ударяет второй с такой силой, что едва не сбивает с ног.

Два мокрых ботинка шмякаются на пол. Оля не чувствует боли, хотя по лбу, кажется, течет кровь.

– Ботинки, Дим! Ботинки его тоже заведи!

Ответа нет. Она поднимает глаза и видит, что Синекольский тычет пальцем в бассейн.

– Доска! – одними губами произносит он.

Отец с другой стороны бассейна снова пробует подтянуться, уцепившись за борт. Он выбирает место подальше от детей, боясь, что они его столкнут.

Оля переводит взгляд туда, куда показывает Синекольский, и цепенеет. Они не вытащили вторую половину доски. Первый обломок лежит у ее ног, но другой плавает возле ближней стенки, и если он останется здесь, кто-нибудь рано или поздно поймет, что в действительности произошло.

Они с Димкой так привыкли действовать слаженно, что обходятся без слов. Оля хватает обрывок ткани, Димка бежит к ней. Один конец полосы девочка крепко зажимает в ладонях. Другим Димка обматывает запястье, ложится на живот и сползает вниз, свободной рукой пытаясь выловить обломок бывшего мостка. Оля изо всех сил вцепляется в страховочную ткань.

Ее левая чешка, протертая от бега до дыр, едет по ровному полу. Оля вскрикивает, пытается удержать равновесие, но под тяжестью Димкиного тела девочку тащит вперед.

Синекольский нелепо взмахивает рукой. И срывается с края бассейна в темную воду, где плавает Николай Белкин.

Глава 14

Греция, 2016

1

– Ян, давай еще раз наведаемся в твою деревню.

Парень, казалось, искренне обрадовался. Они пошли пешком, и Ян всю дорогу болтал, не замечая, что его спутник непривычно молчалив.

До этого Макар снова внимательно изучал местные новости. Ян послушно читал все подряд:

– «Исламисты из Швеции задержаны в фургоне с мороженым». «Двенадцать человек утонули из-за неисправности лодки». «Россиянка задержана за кражу шубы». «Албанец открыл стрельбу из автомата Калашникова в баре». «В центре Неа Калликратии произошли столкновения беженцев с полицией».

– Стоп, – сказал Илюшин. – Вот это переведи, пожалуйста, целиком.

– «Мэр города заявил, что ситуация близка к критической. Поток нелегальных мигрантов непрерывно увеличивается, и мы в очередной раз вынуждены констатировать некомпетентность полиции, не способной отследить каналы, по которым иммигранты попадают в страну. Департамент береговой охраны Греции уже выступил с заявлением, что штат не укомплектован на семьдесят пять процентов». Дальше тут много говорят о том, что не хватает ресурсов. Читать?

– Не надо.

Он сам открыл английскую версию сайта и пробежался по заголовкам.

– Вы ищете, не обнаружено ли тело? – простодушно спросил Ян.

– Не совсем, – отозвался Макар. На несколько минут он застыл, склонившись над компьютером, затем поднял на Яна глаза, приняв какое-то решение. – Пойдем прогуляемся, если ты не возражаешь.

Заходящее солнце вытянуло из-под корней длинные тени. Ветер стих.

– Когда ты последний раз виделся с Андреасом? – вдруг спросил Илюшин.

Ян покраснел и споткнулся.

– На днях... Покупал у него рыбу. Я же говорил.

– Да, я помню, – рассеянно кивнул Илюшин и больше до самого

Дарсоса не проронил ни слова. Реакция парня на невинный вопрос сказала ему все, что требовалось.

– Что вы хотите посмотреть? – спросил Ян, когда они вошли в деревню.

– Новую церковь. В прошлый раз о ней кто-то упоминал...

Они свернули в проулок, и невдалеке Макар увидел белое здание с синим куполом.

– Она открыта?

– Не уверен, что ее вообще закрывают.

Внутри было прохладно и пусто. Илюшин ожидал строгой простоты, но убранство поразило его роскошью, несоразмерной скромной деревне. Вокруг икон поблескивали чеканные серебряные оклады, пол был выложен мозаикой. От двух больших резных распятий, каждое в полтора человеческого роста, едва уловимо пахло свежим лаком. Сквозь узкие длинные окна с витражами проникали вечерние лучи и распадались внутри на волшебный kaleidoscope из алого, изумрудного, золотого и синего лоскутов света.

Ян притулился на скамейке возле стены и терпеливо ждал, пока Макар все осмотрит.

– Как вы собрали средства на всю эту красоту? – обернулся к нему Илюшин.

Тот замялся.

– Жители собирали. Все вместе.

– Кто-то пожертвовал больше остальных?

Ян пожал плечами.

– В толпе вчера назвали имя Андреаса, – настаивал Макар.

И глядя, как румянец расплзается по щекам юноши, подумал, что лгать тот не умеет.

– Да, я вспомнил. У него было много отложено... Он все отдал на церковь.

– То есть фактически она построена на его деньги?

Прижатый к стенке Ян признал, что именно так и обстоят дела.

Макар собрался уходить, но остановился в дверях:

– Что еще здесь построено Димитракисом?

Выяснилось, что рыбак помог двоим односельчанам отремонтировать дома и купил кое-какую сельскохозяйственную технику Туле Катракису, у которой самый большой земельный участок и плантация винограда.

Макар настоял на том, чтобы дойти до Тулы. Едва услышав о рыбаке, та захлопнула перед ними дверь.

Илюшин вовсе не выглядел обескураженным. Он одобрительно похлопал Яна по плечу и двинулся в сторону отеля, ощипывая на ходу невесть откуда взявшуюся гроздь незрелого винограда.

Когда стемнело, Макар занял наблюдательный пост в номере Гаврилова. Он оборудовал себе место возле окна, забрав у Петра плед и кресло, и поставил на телефоне будильник, пиликавший каждый час.

– Что ты придумал? – спросил Гаврилов.

– За птицами собираюсь понаблюдать, – безмятежно отозвался Макар. – А вы спите, Петр Олегович.

– Я хочу помочь!

В дверь постучали. Услужливый Ян принес термос с кофе. От Макара не укрылось, как метнулся в сторону взгляд юноши, когда он увидел приготовления Илюшина и сопоставил бинокль с кофе.

– Можете помочь, Петр Олегович, – согласился Илюшин. – Если возьмете нашего юного друга, отведете в бар и будете сидеть с ним всю ночь. Только не напивайтесь, чтобы он не сбежал.

– М-мне домой надо, – запинаясь, выговорил Ян.

Гаврилов поднялся, навис над ним.

– Выбирай: или в номере торчать, или в баре, – предложил Илюшин.

– Вы не имеете права...

– Значит, в номере.

Гаврилов сел на пол, прислонился спиной к двери. Было ясно, что он не сдвинется с места. Ян затравленно посмотрел на него, на Илюшина, невозмутимо пившего кофе, и опустился на кровать. Вид у него был жалкий.

– Тебе хоть платили, чтобы ты им все докладывал? – спросил Илюшин, не оборачиваясь. – Или на добровольных началах?

Парень промолчал.

Ночь тянулась долго-долго, бесконечная и тоскливая, как артхаусный фильм. Ян вскоре уснул на кровати. Гаврилов щелкал шарики, играя на телефоне, но и он продержался лишь до трех, а потом задремал, уронив голову на грудь. Макар изредка поглядывал на них, но все его внимание было приковано к дому на скале.

Он видел удаляющиеся огоньки в ночном море, слышал плеск волн. Отдыхающие угомонились к полуночи, и после часа ничто не нарушало тишины, кроме равномерных вздохов прибоя и редких выкриков одинокой птицы, несшей свою вахту, как и он.

В шесть начало светать. Сначала растаяли звезды, потом на горизонте из темноты проступила узкая лазурная полоса, словно оттуда брало начало море.

По двору Димитракиса прошел человек.

Илюшин ждал этого, но в первый момент ему показалось, будто это игра сознания, измученного бессонницей. Он с силой потер уши и на секунду отвел взгляд от бинокля.

Когда он снова настроил окуляры, ворота были распахнуты. Человек – теперь Макар ясно видел, что это Андреас Димитракис – шел к дальнему сараю. Он скрылся внутри, а пару минут спустя оттуда выехал крытый фургон неприметного серого цвета.

– Много ж ты рыбы наловил, – тихо сказал Илюшин.

Фургон выбрался на главную дорогу и свернул в сторону Неа Калликратии. Ворота за ним закрыла Мина.

Макар бесцеремонно растолкал Гаврилова.

– На кровать иди. Все, твой дозор окончен.

– А ты куда?

– Прогуляюсь.

– У меня так жена уже прогулялась, – хмуро сказал Петр. – Где тебя искать, если что? Давай, сознавайся. Твой Халк мне голову свернет, если ты пропадешь.

Илюшин задумался.

– В бухте под домом рыбака, – наконец сказал он. – Если не вернусь через час, буди местных. Но, думаю, все будет в порядке. Хозяин уехал, остальные в доме.

– С тобой пойду. – Гаврилов стал застегивать рубашку.

– От тебя больше пользы здесь. Проследи, чтобы парнишка никому не начал звонить.

– Да он вроде спит...

– Вот пусть спит и дальше, – сказал Макар.

Он вышел на берег, поежился – свежий ветер дул рывками, словно бился в невидимую дверь. Побережье выглядело абсолютно пустынным. День светлел с каждой минутой, и то, что было темно-синим, становилось голубым, а черный перерождался в зеленый.

Илюшин заторопился. У него не было никакой уверенности, что маршрут рыбака пролегает до города. Возможно, он встречается с тем, кто заберет у него груз, где-то на середине пути. Это было бы безопаснее для всех. Автомобильного движения тут никакого, нет риска, что их заметят...

Бинокль висел у него на груди, натирая шею ремнем. Однако ведущую вниз тропу Макар обнаружил и без него. Камни шуршали и осыпались под его ногами, пару раз ему пришлось уцепиться за торчащие кустики травы. Он ободрал ладонь, а последние пять метров проехал на спине, когда шарахнулся от юркнувшей под ногами крошечной серой змейки и потерял равновесие.

Илюшин поднялся, не сразу сообразив, что изменилось. Затем понял: ветер стих. От него защищали скалы, выдающиеся далеко в море и образывавшие естественные стены бухты. Он пошел по берегу, утопая в песке, и обнаружил еще две тропы и деревянную лестницу, поднимающуюся по крутому склону зигзагом. Снизу дом рыбака не был виден, но Илюшин не сомневался, что ступеньки ведут к нему.

«Вот как ты сюда попадаешь».

В глубине бухты он увидел разинутую черную пасть грота. Широкая борозда обозначала путь, которым тащили лодку по песку. Но больше, чем она, Илюшина заинтересовали многочисленные следы ног. Часть смыло волнами, но и оставшихся хватало, чтобы понять: здесь был не один человек и даже не двое.

Он осторожно приблизился к пещере.

Изнутри не доносилось ни звука. Макар включил фонарик на телефоне и заглянул под высокий свод.

Внизу камни были закрыты подобием опалубки и дополнительно прикрыты сверху шинами – на случай шторма, понял Илюшин, чтобы лодки не разбило.

Сами моторки белели в глубине. Одна совсем небольшая, рассчитанная на двух-трех человек. Во второй можно было разместить не меньше двадцати. Палуба была прикрыта брезентовым полотном; Илюшин приподнял его и обнаружил внутри только весла, свернутую старую сеть и консервы с тремя бутылками воды в водонепроницаемом ящике. Оба снятых мотора нашлись чуть поодаль на перевернутой деревянной лодке, очевидно, служившей Андреасу столом и полкой.

«Как же он большую моторку стаскивает в воду?»

Ему вспомнились слова Агаты. «Катерина не помогает отцу на рыбалке. Бережет руки. С ним ходит только Мина, его любимица».

Мина, значит.

Что ж, логично. Бедная дуреха не понимает, что они делают, а самое главное, вряд ли может кому-то об этом рассказать. Андреас хорошо ее натаскал. «Спросите у Катерины!»

Он задумался, знает ли семья Димитракиса, что немота младшей

дочери – притворство. И какую роль играет сама Катерина в том, что регулярно происходит в этой пещере.

Обратно Илюшин взобрался по другой тропе. Он поднялся наверх, запыхавшись, и вздрогнул, увидев фигуру невдалеке.

Катерина его не заметила. Она быстро шла к обрыву, закинув за плечи рюкзак. В ее действиях сквозила целеустремленность человека, поглощенного одной мыслью.

Макар двинулся за ней, стараясь держаться ближе к кустам. Несмотря на все усилия, он чувствовал себя как таракан посреди бальной залы. Если Катерина обернется, его слежке конец.

Девушка обернулась лишь один раз, но не на него, а в сторону дома. Она застыла, напряженно вглядываясь, как никогда похожая на птицу, готовую взлететь при первых признаках опасности.

Затем сделала два шага – и пропала.

В отличие от нее, у Илюшина был бинокль. Поэтому он увидел, как мелькнуло на втором этаже за щелью в ставнях чье-то лицо.

Новый поворот тропы скрыл Катерину: теперь ее не мог видеть ни Илюшин, ни тот, кто следил за ней из окна. Макар ускорил шаг, но, обогнув поросший мхом огромный валун, остановился.

Катерины не было.

Он сделал полукруг и снова вышел к обрыву.

– Разбежавшись, прыгнуть со скалы...

Мысль о том, что девушка покончила с собой, Илюшин отверг без раздумий: самоубийцы не тащат с собой рюкзаки. Ему вспомнилось, как накануне ее сумка опрокинулась и из нее вывалились лепешки и помидоры. Похоже, Катерина собралась выйти в море и хорошо подготовилась.

Но бухта Андреаса осталась в стороне. Или у нее своя лодка?

«Для начала понять бы, как она до нее добралась».

Илюшин приблизился к краю и остановился в изумлении. Здесь не было спуска. Скала выглядела так, словно по ней рубанули топором: почти отвесная поверхность без возможности проложить путь вниз.

Он постоял с минуту, решая эту загадку, потом развернулся и пошел прочь. Тайну исчезновения Ольги Гавриловой он практически раскрыл, и ему оставалось лишь побеседовать напоследок еще раз с Дмитрием Синекольским. С дочерью рыбака можно будет разобраться позднее.

Сутки спустя, когда все было кончено, Илюшин не мог не подумать о том, что его ошибка стоила жизни двоим людям.

Русма оказалась одним из тех поселков, о которых люди добросердечные говорят «милая провинциальность», а прочие прибегают к разнообразным синонимам слова «захудалый». Бабкин провел здесь всего два дня, однако уже был сыт Русмой по горло. В гостинице его в первую же ночь искусили комары. На вторую Сергей, бормоча «кому комиссарского тела», перебил их газетой, но место павших заняли мушки, после которых по всему телу вздулись багровые волдыри.

Вокруг много пили. Добротные дома соседствовали с такими халупами, в которых Сергей не поселил бы и дворнягу, а в Русме вокруг них бегали дети и сидели на скамейках старики, улыбаясь железными зубами.

Зато места были живописные. Благодатные были места. Он всегда удивлялся тому, как по мере удаления от Москвы небо становится светлее и голубее – словно возвращаешься в собственное детство. И пахло не автомобильными выхлопами, а скошенной травой, дымом и тем особым, трудноопределимым запахом, в котором смешалась дорожная пыль, свежеструганные доски и коровий навоз.

Все, что интересовало Сергея, он выяснил в первый же день, а на второй просто ждал приезда Ольгиной матери, которая должна была вернуться из райцентра.

Семья Белкиных жила в Русме с девяносто первого по девяносто третий год. Отец, Николай Белкин, судя по воспоминаниям знавших его людей, много пил и бил жену. Однажды, будучи нетрезвым, он свалился в какой-то не то водоем, не то бассейн и утонул.

Вскоре после этого Белкины переехали в Ростов. А восемь лет назад мать Ольги возвратилась вместе с новым мужем.

Сергей понимал, отчего Илюшин зацепился именно за эти два года, проведенные Белкиной-Гавриловой в Русме. Дмитрий Синекольский не просто так пытался отыскать подругу детства. Что-то было в их общем прошлом, какая-то тайна, и страх на его лице говорил о том, что речь шла не о подростковых дурачествах.

Однажды Бабкин видел передачу про паука Дарвина. Это существо, рассказал ведущий, обладает способностью стрелять паутиной на большие расстояния – например, на двадцать пять метров, если ему требуется перебраться через реку. Но вряд ли, думал Сергей, ниточки из детства Ольги протянулись так далеко в будущее и догнали ее в Греции.

Бабкин побеседовал с местными полицейскими. Провел три часа в библиотеке, где оказался неплохой архив и, что ещё более ценно, старенькая библиотечарша, из тех женщин, у которых вместо памяти цементный раствор. Она рассказала ему, что в тот год, когда утонул Белкин, случилось еще две трагедии: сильно пьющий Виктор Левченко забил жену насмерть, и школьницу придавило на свалке.

Сергей насторожился. Три смерти за лето на один небольшой поселок – это было чересчур.

– У Виктора Левченко все к тому шло, – сказала библиотечарша, глядя на сыщика через очки в черепаховой оправе. Глаза ее за огромными батискафными стеклами были похожи на двух бледно-голубых рыб. – Он тогда связался с Белкиным... А Белкин, надо вам сказать, был исключительным отродьем.

– Как? – переспросил Сергей.

Он предусмотрительно захватил с собой из Москвы несколько коробок шоколадных конфет. Одна из них, с золотой надписью «Рот Фронт», лежала на столе перед библиотечаршей. Морщинистыми пальцами та деликатно брала по конфете и на секунду опускала в чашку с горячим чаем, прежде чем положить в рот.

– Мразью, – твердо сказала Мария Семеновна. – Вы меня извините за грубость, но иного слова подобрать нельзя.

– Я слышал, он бил жену? – осторожно сказал Бабкин.

Старушка пренебрежительно махнула рукой.

– Ах, да здесь половина жен в те времена ходила в синяках, а половина сама распускала руки. Конечно, ничего хорошего. Но так жили, и никто не видел в том большой беды. Говорят, человек ко всему привыкает. Я вам так скажу: привыкает и битым быть, и небитым быть. Нынешние привыкли к тому, что их пальцем не трогают. Ну а мы жили по-другому.

– Что же в этом хорошего?

– Бывали вещи и похуже, – сказала старушка. – Вот как раз про Белкина я хотела вам рассказать... Он был плесень, человеческая плесень, потому что рядом с ним из любого вылезала такая дрянь, такая мерзость... Если вы сунете плесневелую корку в пакет с хлебом, у вас через час не останется ни одной съедобной горбушки. Плесень расползается быстро. Она ведь во всех есть, эта мерзость и гнусь. Что бы о себе человек ни воображал, святых мало. Вы почему чай не пьете? Не нравится?

– Пью, очень вкусно, – соврал Сергей. – Вы хотите сказать, Белкин настропалил Левченко убить жену?

– В том-то все и дело. Ему не нужно было ничего специально

говорить, никого подзуживать. Он был природный катализатор зла. За свою жизнь я видела нескольких таких людей, и все они, давайте уж начистоту, были женщины. Частенько их называют роковыми. Хотя что уж там рокового, кроме истеричности и повышенного либидо, я, право слово, не знаю.

Мария Семеновна строго глянула на Бабкина и поднесла чашку к сухим губам. Он подумал, что зря не захватил две коробки конфет.

– Витя Левченко убил жену, потому что она наставляла ему рога со всем поселком, включая того же Белкина.

– А мне говорили, они с Левченко были друзья.

– Не было у него никаких друзей, вранье это. Не будь в тот год Николая рядом, беспутная эта Маринка осталась бы жива, это я вам точно говорю. Он их отравил, и все отравил вокруг себя. Взять хоть его Наталью – тишайшая, добрейшая женщина. Вот в ком зла не водилось! Но пока она с ним жила, ее раздуло, как дохлого кита. Потому что тело умнее головы! – старушка постучала себя по лбу крошечным кулачком. – Тело Натальино выдавливало ее мужа из дома, а возможно, и придавить хотело во сне, кто знает. Так подсознание работает, и ничего с ним поделать нельзя. Ее счастье, что судьба распорядилась по-другому.

– А что случилось с девочкой? – спросил Сергей. – Которая умерла в том же году?

– А, Мария... Она была умственно отсталая. Мать клялась, что убьет ее, если Маня вздумает принести в подоле, что, безусловно, рано или поздно произошло бы. Очень развитая росла девочка, я имею в виду, в физиологическом отношении. Кое-кто даже болтал, что это мать ее убила...

– То есть все-таки были подозрения о насильственной смерти?

– Эх вы сразу вскинулись, – усмехнулась старушка. – Были, были. Сплетничать все горазды. Но разговоры начались уже после того, как умерла средняя Шаргунова. Старуха, Манина бабка, протянула после смерти внучки совсем недолго. Галина осталась без матери и без дочери, как ей всегда и мечталось, но мечты – это одно, а реальность – совсем другое. Вам наверняка известно, как зачастую сама мечта обесценивается... как бы это выразить... способом своего осуществления. Галина много раз твердила, что ждет не дождется, когда на ее шее перестанут висеть беспомощная старуха и дурной подросток. Но когда они умерли с разницей в полгода, оказалось, что она совершенно не приспособлена жить самостоятельно. Галя ударилась в загул, завела каких-то мужиков, жила с ними то по очереди, то со всеми сразу... Прежде ее от подобных безрассудств удерживала мать, да и Мани она стыдилась. А тут ее

прорвало. Галя начала пить и очень быстро спилась. Кажется, года не прошло. Да вы можете посмотреть, если зайдете на наше кладбище. Все трое Шаргуновых там похоронены, в соседних могилах.

Сергей подумал, что вряд ли он пойдет на местное кладбище, но все-таки кивнул.

– И это тоже заслуга Белкина, – неожиданно сказала старушка.

– Почему?

– Одно время он начал привечать Маню. Подкармливал ее, как щенка, а затем она ему надоела. Она вообще была очень приставучая девочка, липучка, и он должен был об этом подумать, прежде чем приручать ее. Меня не покидает чувство, что Николай отравил ее своей заботой, а через нее – и всю семью Шаргуновых. Плесень! Ядовитая плесень расплзлась от него!

«Рехнулась старушка», – подумал Бабкин.

– Вы полагаете, что у меня в голове сплошное ку-ку! – Мария Семеновна вновь постучала себя кулачком по лбу. – Но я совершенно уверена, что семью Николая спасло только то, что он погиб. Даже после своей смерти он сумел зацепить тут кое-кого, достать из могилы...

– Кого?

– Знаете, это уже такая литературщина, даже говорить неловко.

– Мария Семеновна! – умоляюще протянул Бабкин.

– Честное слово, жизнь бесстыднее вымысла. Вы ведь знаете, что Белкин утонул на ферме Бурцева?

– Да, я читал об этом. Только фермы не нашел.

– И не найдете. Ее снесли, сейчас там только овес да клевер. Сам Бурцев после гибели Николая никогда здесь больше не появлялся, хотя прежде, как я слышала, высказывал намерение восстановить свою заброшенную ферму. Якобы ему сообщили о способе, которым можно было отвести в сторону подземные воды, загубившие все его предприятие... Не знаю... Суть в другом. Тело Николая нашли только через неделю. Оно сильно пострадало.

– В закрытом резервуаре? – удивился Сергей.

– Один наш местный товарищ, полагающий себя хитрее и умнее прочих, придумал разводить там раков. Идея, конечно, была обречена. Вы же знаете, что ракам нужна проточная вода. Но за те семь дней, что покойный Белкин провел в их компании...

Старушка выразительно посмотрела на Сергея.

– Объели его, – кивнул Бабкин. Он помнил вид трупов, вытащенных из реки.

– Я сама, конечно, не видела, но мне рассказывали. – Мария Семеновна понизила голос. – Ужасающее было зрелище! И вот наш Алексей Иванович, тот самый, который...

– ...раков запустил?

– ...да! Наш Алексей Иванович немного спятил на этой почве. К нему до сих пор является Белкин, как утопленник у Пушкина. Вы же помните, конечно! – И она продекламировала, отбивая такт рукой: – «Из-за туч луна катится – что же? Голый перед ним! С бороды вода струится, взор открыт и недвижим, все в нем страшно онемело, опустились руки вниз, и в распухнувшее тело раки черные впились!»

– Из этого стихотворения я в детстве впервые узнал, что раки не красные, а черные, – сказал Бабкин. – А прежде пытался в нашей речушке красных ловить.

– Прикладная роль поэзии сильно недооценена, – согласилась Мария Семеновна.

Вечером второго дня Бабкин постучал в дверь дома, утопающего в бледной сирени. Он помнил слова библиотекарши: «Раздуло, как дохлого кита», и потому был очень удивлен, увидев мать Ольги Гавриловой.

Перед ним стояла полноватая миловидная женщина лет шестидесяти пяти. Круглое лицо выглядело моложавым, его не старила даже седина.

– Никаких известий? – испуганно спросила она, прежде чем поздоровалась.

Бабкин покачал головой.

Они разговаривали до этого лишь раз, по телефону. Вживую у нее оказался мягкий округлый голос, и вся она производила впечатление мягкости и уюта.

Его провели в просторную комнату. Сергей заметил в шкафу за стеклом Ольгин портрет. На кровати, застеленной белым покрывалом с кружевным подзором, одна на другой были выложены четыре подушки: от большой до маленькой, которую бабушка Сергея называла ласково «думочка». Его окатило приступом ностальгии.

Пришел муж Натальи Ивановны, молчаливый мужчина с невыразительным лицом и огромными как лопата руками. Он сел в углу и ни словом не нарушил их разговор – лишь единственный раз, когда жена поежилась от сквозняка, встал и так же безмолвно накинул ей на плечи шаль.

– Как вы думаете, ваша дочь могла уйти от мужа?

– Оля – от Пети? – удивленно переспросила женщина. – Что вы! Никогда. Она его очень любит.

Если Наталью и интересовало, зачем он приехал в Русму, она ничем этого не выдала. Отвечая на вопросы, Белкина потихоньку рассказала ему свою жизнь. Пока она говорила, в его тарелке словно сам собой образовался борщ, а на столе возникли сметана и хлеб. В этой естественной, незаметной заботе было что-то умиротворяющее, словно рядом неслышно пели колыбельную, знакомую с детства.

Заговорили о ее покойном муже.

– ...думали, сбежал. Никому в голову не приходило его искать. Наверное, поэтому тело обнаружили так поздно. Вы приехали вчера?

– Вчера рано утром.

– Значит, вам уже доложили о нашей семейной жизни. В тот вечер Коля меня сильно избил, я потеряла сознание. А Оля сбежала от него и пряталась по чужим огородам. Бедная моя девочка... Я ужасно виновата перед ней. Как вы думаете, что могло случиться в Греции?

– Похоже, она уехала, только непонятно, по какой причине. А почему виноваты, Наталья Ивановна?

– Потому что я ее развращала, – тихо сказала женщина.

Бабкин переспросил, решив, что неправильно понял.

– Я боялась Колю, – сказала Наталья. – После того, как мы переехали в Русму, в моей жизни не было ни одного часа, когда бы я не думала о нем, и ни одного дня, проведенного без страха. Оля росла, думая, что то, что происходит, нормально. Я ее в этом убеждала. Говорила ей, что все в порядке. Мне казалось тогда, что я уберігаю ее от чего-то ужасного. Но не уверена, кто причинил ей больше вреда, я или мой муж.

– Вы-то ее не били, – заметил Сергей.

– Нет. Знаете, я много думала над этим. Мне ведь Бог большого ума не дал, – Наталья виновато улыбнулась. – А подумать пришлось хорошенько. Я поняла вот что: зло – это неизбежность. Оно есть всегда, когда-то маленькое, когда-то большое. Беда не в том, что оно рядом с вами, а в том, что вы не называете его злом. Мой муж – он был, как сейчас бы сказали, садист. Не просто вспыльчивый или раздражительный человек. Ему нравилось, что он причиняет мне боль. Первый мой грех в том, что я позволила ему жить рядом с моим ребенком. Но за это меня еще худо-бедно можно простить, я была до смерти перепуганная забитая дура, да к тому же сильно любила его. Вторая моя провинность хуже. Я не назвала вещи своими именами. Вы читали книжки по истории?

– Читал... не очень много, – Бабкин пытался понять, куда она клонит.

– Я из них вот что узнала. При царях жили шуты. Они могли любому придворному и даже самому царю сказать правду, и ничего им за это не

было. А среди простого народа жили юродивые. Они тоже говорили правду, и бить их за это никто не смел, их почитали, почти как святых. В наше время нет ни шутов, ни юродивых. Бывает, и захочешь, чтобы тебе правду сказали в лицо, – а некому.

Наталья заволновалась.

– У взрослых какой-никакой, но свой ум есть. А перед ребенком отвечают его родители, чтобы у него в голове была человеческая картина мира, а не такая, где папа маму лупит смертным боем, и вроде как все в порядке, все тишком. Я Олю своим молчанием калечила. Стыдно мне перед ней. Даже сказать не могу, как стыдно. До сих пор внутри болит.

– Двадцать с лишним лет прошло, – осторожно сказал Сергей.

– Да хоть сто. Не лечится это временем. И хорошо что не лечится, правильно. Я когда дочери звоню, все время себе удивляюсь. Откуда у меня право с ней говорить? За что меня Бог наградил таким подарком? Да я ей до конца жизни должна твердить одну только фразу: «Прости меня, моя девочка», – и больше ничего. А мы с ней про погоду... и что помидоры плохо вызревают...

Она судорожно вздохнула. Сергей взглянул на перекрученные концы бахромы и подумал, что тему раскаяния надо закрывать, пока женщина не сорвалась.

– Кто нашел тело вашего мужа?

Наталья потерла лоб.

– Знаете, я уже и не помню. Помню, как прибежали соседские ребята, кричат, и вроде испуганные до смерти, а у самих глаза аж светятся от радости – ну такое событие, такое событие! Я пошла к ферме, но на половине дороги ноги у меня отказали, села прямо на землю. А потом уж меня подхватили под руки и отвели.

– Кто опознавал Николая, вы?

– И я, и мать его, Елена Васильевна. Тело было сильно изуродовано, мы и хоронили-то его в закрытом гробу. Он неделю пролежал в воде. Я когда его увидела, первая мысль была – «Не Коля это!» И хотела, чтобы он умер, и боялась поверить. А потом как стала рассматривать... Господи, и штопки на носках мои, и рубашка та, что я ему дарила. А Елена Васильевна шрам углядела на локте. Я его и не помнила, но ведь мать – она каждую царапину на теле сына знает. Очень они с Николаем близки были. Меня-то он не любил, просто держал при себе, чтобы было об кого кулаки чесать. А вот мать обожал.

– Она жива?

– Что вы! Следующим летом ее не стало. Ушла в лес и не вернулась.

Здесь вокруг такие чащобы! В них не то что одна старуха, там вся Русма может сгинуть без следа. Но знаете, я почти уверена, что она хотела для себя такого конца. Даже думаю иногда: уж не подалась ли она туда умирать специально? Подальше от людей, как собаки или кошки, когда смерть свою почуют.

Наталья налила ему чай, придвинула пирог.

– Нас с Олей к тому времени здесь уже не было, мы уехали почти сразу после Колиной гибели. Не могла я здесь оставаться.

– Почему же вы вернулись?

Эти слова сами сорвались у него с языка. Наталья поняла его невысказанный вопрос. «Если тебе приходилось здесь так тяжело, что заставило тебя снова приехать в Русму?»

– Мы с Васей как раз тогда поженились. – Она вспыхнула короткой улыбкой в сторону мужа. – Мне хотелось... как бы прожить здесь время заново, по-человечески. Дом, конечно, пришлось перестраивать, но это даже и лучше.

– Ольга сюда приезжала?

– Никогда. – Ответ прозвучал твердо, словно захлопнулась дверь.

– А Синекольский?

– Дима? – женщина явно удивилась вопросу. – Не знаю... Думаю, что нет, иначе он зашел бы ко мне. Его бабушка умерла, родители развелись и разъехались по разным городам, как я слышала...

Сергей решил идти напролом.

– Оля и Синекольский дружили. У вас нет предположений, что они могли совершить тогда, в девяносто втором? Что-то серьезное, что они скрыли бы от взрослых?

– Вы думаете, это поможет найти мою дочь?

– Я – нет, – спокойно ответил он. – Мой напарник так думает, иначе не отправил бы меня в Русму.

Сергей хотел добавить, что у его напарника звериная интуиция и природное чутье на людей, но застеснялся собственного пафоса и промолчал.

Наталья встала, сняла с полки буфета сахарницу.

– Одно время я думала, что они с Димой убили Маню Шаргунову, – не поворачиваясь к нему, сказала она.

Бабкин чуть не поперхнулся пирогом. В поисках поддержки он посмотрел на молчащего мужа, но тот сидел, сложив большие кротовьи лапы на коленях, и бесстрастно смотрел в окно, за которым сгущались сумерки.

– Маню? Зачем? Я слышал, она была безобидная дурочка...

– Была. – Наталья подошла к столу и поставила сахарницу рядом с его чашкой. – Но Коля однажды пожалел ее. Ребята привели ее к нам домой, побитую, заплаканную. В нем тогда единственный раз проснулось что-то человеческое. Я радовалась, конечно. А Оля – нет. К ней он никогда так не относился. Я видела, как она смотрит на эту девочку, и мне становилось страшно.

– Она ревновала ее к отцу?

– Очень! Олюшка-то ласки от него совсем не видела. Меня будто иглой кольнуло в сердце. И какой-то странный голос шепчет внутри: «Не к добру Коля это все затеял». Так оно и оказалось. Я еще почему на Олю грешила? Они часто в Яме пропадали – это свалка наша поселковая, огромная, сто лет уж ей, не меньше. Они там, кажется, все вещи знали, как свои. А Маню как раз на свалке нашли. Чего уж проще было – отвести ее туда, сказать, чтобы лежала с закрытыми глазами. Господи, да она за шоколадку на все была готова.

– Но в итоге вы все-таки решили, что Ольга здесь ни при чем?

– Я расследование провела. – Наталья покраснела. – Выспросила у жены нашего начальника милиции, во сколько смерть случилась. Аккуратно так, чтобы она ничего не заподозрила. А потом походила, поспрашивала, не видел ли кто в это время Олю с Димой.

– Вы уверены, что свидетельству этого человека можно доверять?

– Четверых, – кротко сказала Наталья. – Их видели в магазине, возле школы, у дома Димы... Достаточно?

Сергей кивнул. Но по привычке доводить каждое дело до конца, спросил:

– Кто-нибудь из этих четверых сейчас живет в Русме?

– Кулешова переехала... А, Ляхов остался. Только он немного не в своем уме. Старенький совсем.

Бабкин записал, где живет старенький Ляхов, и вспомнил, что о свихнувшемся старике он уже сегодня слышал.

– Ляхова, случаем, не Алексеем Ивановичем зовут?

– Да, это он. Вы с ним уже познакомились?

– Нет, не успел.

Они поговорили еще, но ничего нового к сказанному Белкиной добавить было нечего.

Дело о смерти ее мужа давно списали в архив, и когда Сергей спросил в полицейском участке, можно ли найти акт экспертизы, его подняли на смех. Он и не ожидал, что ему повезет. Часто эксперты помнят «свои»

трупы, но эксперт, занимавшийся всеми тремя делами, умер несколько лет назад. Оставалось полагаться на показания свидетелей.

– Вы никогда не думали, что вашего мужа утопили?

Наталья невесело улыбнулась.

– Единственный человек, который мог его утопить, – это я. В Русме у Коли не было врагов.

– Может быть, кто-то очень симпатизировал вам...

Она покачала головой.

– Я была жирная, неповоротливая, забитая... во всех смыслах. Нет, никто не мстил за меня, если вы об этом.

– У Шаргуновых были родственники?

– Нет... кажется, нет. А почему вы спрашиваете?

«Потому что если ты заподозрила собственную дочь в убийстве младшей Шаргуновой, до этого мог додуматься и кто-то другой».

– Просто уточняю, – солгал Бабкин.

Возвращаясь поздно вечером в гостиницу, он думал о том, что рассказала Белкина.

Все трое Шаргуновых умерли в течение короткого времени, и если существовал тот, кому были дороги мать, дочь и бабушка, он вполне мог желать смерти виновнику. Отомстить сразу у него не было возможности – Наталья увезла дочь из поселка. Но допустим, они столкнулись много лет спустя...

Сергей позвонил Илюшину.

– Макар, та русская пара в отеле... Они по-прежнему торчат у бассейна или уехали?

– Не знаю, проверю. А что?

– Сбрось мне их фамилии и сфотографируй.

– Подозреваешь, они из Русмы? – понял Макар.

– Допускаю.

– У Гавриловой были враги? Такие серьезные, чтобы мстить выросшей девчонке двадцать с лишним лет спустя?

– Слушай, это ты меня сюда заслал, – флегматично сказал Бабкин. – Я всего лишь обрабатываю версии. Пока ясно, что здесь за одно лето созрели три трупа, из них один стопроцентно криминальный, а к двум другим есть вопросы. Так что сбрасывай фотки и не выеживайся. У тебя новости появились?

– Нет, – сказал Макар. – Слушай, можно визуально отличить труп двадцатилетней давности от, скажем, четырехлетней?

Бабкин надолго замолчал.

– Повторяю свой вопрос, – наконец сказал он. – Есть новости?

– Так можно или нельзя?

– Можно. Но зависит от почвы и не только от нее. Официально принятый срок полного разложения тела – пятнадцать лет. На практике обычно года-двух хватает. Через два могут оставаться сухожилия, мышцы... Запах был?

– Только из одного гроба, но совсем слабый.

– Что значит – только из одного? – Бабкин даже остановился под фонарем, и его немедленно облаяла из подворотни дворняга. – У тебя их там сколько? Макар!

– А вот если мумификация? – сказал Илюшин, будто не слыша. – Ты что там, хвост собаке прищемил?

– Мумификация все очень затрудняет. Ты имеешь в виду – естественным путем?

– Ага.

– Ну, в сухой почве, да, бывает. Тоже за год-два. Чем глубже похоронено тело, тем дольше разлагается. Слушай, тебе все эти вопросы надо эксперту задавать, а я не эксперт – так, нахватался по верхам от наших. И ты уже расскажешь мне наконец в чем дело, или так и будешь наводить тень на плетень?

– Сразу видно человека, гостящего в русской деревне, – почтительно заметил Илюшин. – Плетень! Как много в этом звуке!

«Убить упрямую тварь», – бессильно подумал Сергей.

– Завтра все расскажу, – пообещал Макар. – Мне пока нужно кое-что обмозговать.

Бабкин двинулся дальше, пытаясь сообразить, о каких телах, да еще мумифицировавшихся, мог говорить Илюшин. Ясно было только одно: отыщи он труп Белкиной-Гавриловой, вопроса о четырех или двадцати годах захоронения не возникло бы.

Он возвратился мыслями к Шаргуновым. Матери Ольги не было известно об их родне. Библиотека, конечно, в этот поздний час была уже закрыта, а спросить у Марии Семеновны адрес или хотя бы телефон Сергей не догадался. Он взглянул на табличку, прибитую к ближайшему забору, и обнаружил, что название улицы ему знакомо. Он сам записал его в блокноте каких-то двадцать минут назад.

– Буровая, Буровая, – бормотал Сергей, ища нужный дом. – Почему ты, улица, Буровая? Что здесь бурили?

Из лопухов выскочила курица и заполошно метнулась ему под ноги.

– Тьфу, черт!

Навстречу Сергею попадались то алкаши в картузах, окидывавшие его мутными взорами, то коренастые женщины с веселым румянцем. У этих, напротив, взгляды были цепкие и любопытные; точно вязальными крючками, из Бабкина вытаскивали все петли личной жизни: разведен, женат вторым браком, детей нет, непьющий. Непьющий! Тут взгляды из просто заинтересованных превращались в глубокомысленные, словно женщины стремительно обдумывали некую идею и уже готовились переходить к ее реализации.

Будучи третий раз подвергнут этой незримой процедуре, Сергей почувствовал себя неуютно. Но нужный дом вдруг сам вышел вперед, решительно раздвинув соседние заборы.

На стук выполз старик лет семидесяти. Был он, без всяких сомнений, пьян, причем пьян привычно, и вряд ли вообще когда-нибудь трезвел полностью, много лет существуя в легком блаженном дурмане, – это Бабкин с ходу определил наметанным глазом.

– Алексей Иванович?

– Я! – неожиданно молодцевато гаркнул хозяин.

– Можно с вами поговорить?

– Да отчего ж нельзя... Давай поговорим, если человек хороший.

– Я человек выдающихся душевных качеств, – заверил Бабкин.

– В продовольственный сгоняешь? – спросил Ляхов.

– Закрыто же, Алексей Иванович!

– Ах ты ж... – Ляхов огорченно поскреб макушку. – Тогда завтра приходи.

– Завтра тоже приду, – пообещал Сергей.

Под его взглядом старик вздохнул и сдался.

– Бог с тобой... раз уж принесло на ночь глядя... Какой у тебя ко мне интерес?

Они сели в замызганной комнатухе, в которой жилище холостяка узнавалось безошибочно по запаху прежде, чем оно открывалось взгляду. Под кроватью сквозняк позвякивал пустыми бутылками. На грязном столе скучала муха. Контраст с домом Натальи Белкиной был красноречивый. Но и в этой комнатухе был свой уют – парадоксальный уют неприбранности – и, говоря по правде, Бабкин чувствовал себя здесь в своей тарелке.

– Не пылесосил давненько... – пробормотал Ляхов. – Малек запылилось.

Сергей объяснил, кто он и что делает в Русме. При упоминании

фамилии Белкиных старик отчетливо вздрогнул и вытер ладони о штаны.

– Помню девчонку ихнюю... Потерялась она, значит? Может, запила?

– А Шаргуновых помните?

– Их забудешь!

– У них были родственники? Или те, кто был к ним привязан?

Ляхов с сомнением покачал головой.

– Родни точно не было. А привязан... Младшая на голову слабая, средняя – на передок, бабка страшна как война. Кому они сдались?

– А отец Мани? Кто он?

– Этого тебе, милый мой, никто не скажет. Да и Галька-покойница вряд ли знала. – Он суетливо перекрестился.

Минус одна версия, сказал себе Бабкин. И все-таки как бы папашу-то найти...

Он спросил насчет алиби Ольги и Синекольского на день смерти Шаргуновой и ожидаемо услышал, что упомнить это не в человеческих силах. Слишком много прошло времени.

Постепенно сужая круги, Сергей подбирался к теме, которая интересовала его больше всего.

– А вот был у вас такой Бурцев...

– Был, да сплыл, – отрезал Ляхов. – От долгов утек, тому уж много лет как. И никто его с тех пор не видал. У него, говорят, под Свердловском, который нынче Екатеринбург, предприятие по добыче минералов. Он там под другой фамилией хозяйничает. Не иначе как Наташка, Ольгина мать, у него научилась.

– В каком смысле?

Старик хихикнул.

– Так ведь она тоже из Русмы сбежала, едва мужа похоронила. Тот долгов набрал, как дурак карамелек. Был у нас такой Митька Грицевец, пристрелили его в девяносто шестом... Лютого нрава мужик! Он бы свои деньги назад требовал, да Наталья смылась под шумок, пока не начали считаться, кто кому должен. А уж к Колькиной матери никто не полез, она не в себе была. Маразмус сенилис! Слышал о таком?

– Доводилось, – сказал Бабкин и выстрелил наугад. – А вот скажи мне, Алексей Иванович, золотой ты мой человек... Колю Белкина, гниду эту, – кто прикончил?

Старик ахнул, тревожно обернулся и обшарил взглядом пустоту за спиной. Дернул небритым подбородком, собрал пальцы в щепоть и зачем-то перекрестил ковер на стене. Затем перегнулся через весь стол, придавив отупевшую муху, и с ужасом прошептал, обдавая Бабкина удушливым

запахом старческого рта:

– Я его убил. Я!

Катерина

Как я увела русскую из нашего дома?

Очень просто. Скорила Луне пучок трав из мешочка, который всегда ношу при себе. Накануне я обновила запас мохнатой кровянки и портулака – как чувствовала, что они пригодятся.

Коза закричала и начала рожать. Я прибежала к Андреасу, знаками показала, что происходит, и он бросился за мной. Роды у козы всегда должен сопровождать человек, а Луна еще ни разу не становилась матерью.

Новорожденные малыши умерли у него на руках. Кровянка для них ядовита. Андреас так плакал над маленькими тельцами! И Мина плакала, и моя мать, словно эти крошки могли вернуть радость в нашу семью.

Каждый спасается как может.

Если ты схватишь ящерицу, она отбросит хвост. А пойманный человек отрезает от себя собственные куски.

Моя мать давно перестала смотреть в окна. Она старается не смотреть даже себе в глаза. В действительности она совсем крошечная, моя мама, – съжившийся человечек, закрывшийся изнутри в своем доме.

Ее выбор – слепота. Мой – немота. Вот только меня молчание делает сильнее. Я отрезала свой голос, чтобы стать неуязвимой. Когда Андреас кричит на меня и не получает ответа, мне хочется рассмеяться ему в лицо. Но вместе с голосом я отрезала и смех. Не весь, и это плохо. Человек больше говорит о себе смехом, чем словами.

Мама же слабеет с каждым днем. Она уходит все дальше, по сухой тропе, над которой сомкнуты ветви мертвых деревьев, – бедная моя мама, которая ничему не могла помешать.

На ней нет вины. Я готова повторять это снова и снова, будто убеждаю толпу, собравшуюся перед помостом. Моя мать ни в чем не виновата!

Но оставшись одна, без невидимых судей, я не могу не спрашивать себя: слышит ли она по ночам младенческий плач? А тишину, каждый раз падающую, как гильотина, и отсекающую живое от мертвого?

Я прикидывала, как можно избавиться от русской. Это просто! Вывести ее на край пещеры, снять наручники, толкнуть в спину. Скормить человека морю: оно обглодает его, а костями будет играть в глубине.

Из-за нее мы в огромной опасности. Я должна была красться окольными тропами, а вместо этого выбежала на поле во время грозы и подняла над головой железный прут.

И кто будет виноват, если в меня ударит молния?

Но если я так поступлю, если избавлюсь от нее, – значит, во мне пророс мой отец?

Нет. Ни за что.

Когда умерла лала, я выдернула нитки из ее одежды и сплела браслет. Он всегда на моем запястье. Старуха была сильной, жестокой, и я хочу быть такой же.

Иногда он говорит со мной ее голосами. У нее их было два: один из новой жизни, второй из старой. Браслет окаймлен черной и серой нитью. Они не пересекаются.

Это не колдовство, а я – не ведьма.

Чем старше я становлюсь, тем меньше вижу. Но некоторые неслучившиеся события по-прежнему лежат в моей голове, как в ящике, словно они существуют вечно, а я лишь выдвигаю его и рассматриваю содержимое – задолго до того, как они произойдут в нашей реальности.

Мне всегда известна погода, которую принесет новый день. Я умею слышать время и определять стороны света с закрытыми глазами. Север пахнет соломой, юг – подтухшей рыбой, восток – воробьиным пером, запад – ножом и пожаром.

Вещи, особенно потерявшиеся, зовут меня тихими колючими голосами. Похоже на репейник, зажатый в ладони.

Собаки разговаривают с людьми. Нет, не тогда, когда они лают, когда молчат.

Но в целом собака, если только она не черная и не хромая, – бестолковый зверь.

Кошки намного сильнее. Кошка может гулять по нашим снам, и еще она единственная из всех живых существ способна поймать двухголовую змею, а у кого есть двухголовая змея, того слушаются духи земли. Наше счастье, что кошкам это ни к чему. Бог часто дарит бесполезные возможности. Не знаю зачем. Может быть, он просто слишком старый и не помнит, что к чему.

Закончив свое дело в пещере, я бегу на поляну и выкапываю коробки. Перепрятываю в лесу – одну, вторую, третью, четвертую. На это уходит целый день. Руки и плечи ноют после тяжелой работы. Я еще долго не смогу рисовать.

Но если все пойдет так, как я задумала, это и не понадобится.

Андреас уверен, что они похоронены в море.

Я обманула его. Вернее, ему просто в голову не пришло, что я могла поступить иначе.

И про надпись на камне я сегодня солгала. Там четыре раза написано «συγγώμη» – «прости».

Мне некого спросить, смогут ли в полиции определить причину их смерти. Думаю, это нетрудно. Назначат экспертизу и увидят на каком-нибудь безумном современном аппарате все сломанные косточки, весь воздух, которого не хватило их крошечным легким.

Тогда нам конец.

На следующий день я приношу в пещеру паспорта и сменную одежду. Это старые вещи, мать давно их не носит. От них пахнет ветхостью и покоем.

Русская пытается говорить со мной, подползает, хватается за меня, и я затыкаю ей рот кляпом, а наручники перекидываю назад, чтобы запястья оказались скованными у нее за спиной. Выкрики мешают мне. Они как надоедливые рыбины, поднимающие муть со дна перед ныряльщиком.

К тому же она все время повторяет одно и то же.

В углу лежит второй рюкзак, неотличимый от первого. Я кладу в него еще одну сегодняшнюю добычу – крем от отеков. Без него матери будет плохо. У нее болят ноги, и она отвыкла ходить вне дома.

Крем я украла в аптеке. На покупку мне не хватило бы денег. Пришлось дожидаться, когда внутри появится компания парней. Они долго выбирали презервативы, гоготали, отпускали шуточки, и когда стали выходить, я скользнула за ними. Сработала сигнализация. Как вы думаете, кого остановили в дверях – их или молчаливую девушку? Пока парни скандалили с аптекарем, я уже уходила прочь, унося с собой бесценную добычу.

Не знаю, проверяет ли Андреас уровень крема в той банке, что стоит у матери возле раковины. Не удивлюсь, если так и есть.

Он хитрый. И умеет наблюдать.

А еще отец всегда будет защищать свое.

Как-то раз несколько людей из тех, что ночевали в сарае, зашли в наш дом. В ту ночь их прибыло особенно много. Не десять и не дюжина – не меньше двадцати. Им не хватало места, а еще они просили еды. Потом один из них увидел Мину и ухмыльнулся.

Он больше ничего не делал: просто смотрел и посмеивался. Сестра

была в коротком платье, подаренном отцом. Оно выставляет напоказ больше, чем скрывает.

Их было пятеро, Андреас – один. Но он избил этого человека так, что его зубы градинами рассыпались по нашему полу. Остальные даже не пытались вмешаться. Им сразу стало ясно, с кем они имеют дело.

Понимаете? Из-за одного только взгляда. Мина – дочь Андреаса; лишь он имеет право смотреть на нее.

Мне постоянно чудится, что Андреас у меня за плечом. Каждое утро я просыпаюсь лицом в подушку. Даже во сне пытаюсь обернуться. Кошка согревает мою постель. Иногда я прошу ее отогнать того, кто стоит за моей спиной, и тогда, открыв глаза, вижу сухие пучки трав над головой, а не смятую наволочку. Но в такие ночи приходит другая беда: мне снится пожар вокруг нашего дома, и я слышу крик матери за закрытой дверью.

Дверь запиралась на ключ. Я никогда не держала его в руках и даже не знала, что он существует. Когда все закончилось и мы вернулись домой, я видела, как моя мать яростно забивает замочную скважину жвачкой.

Отец взрезал новый замок. Мать испортила и его.

Я подхожу к кусту тамарикса, и из-за ближайшего валуна выходит Мина.

Кажется, она все-таки следила за мной. Солнце уже садится, мне непременно нужно до заката попасть в пещеру. В темноте опасно идти по каменному карнизу, к тому же отец всегда проверяет, вернулась ли я на ночь в свою мастерскую. Я бы, не задумываясь оставила русскую голодной и без воды. Но в лесу меня словно обожгло: я забыла вытащить кляп. Женщина осталась с тряпкой во рту. Что, если она задохнется?

Я показываю Мине на дом. Знаками объясняю, что ее ждет мать.

Сестра не верит. Она не любит меня с тех самых пор, как я взяла первое дитя и унесла его с собой. Мина кричала, что я во всем виновата, пока Андреас не приказал ей заткнуться.

Но она по-прежнему так думает. Невинное чудовище...

Я развожу руки: смотри, какой огромный пирог испекла для тебя мать!

Мина упрямо качает головой. Я начинаю всерьез тревожиться: еще двадцать минут – и отцовская лодка прошуршит днищем о песок.

Вдруг меня осеняет. Из моего кармана появляется на свет монета: один евро, тот самый, который вручил мне старый Персакис. Глаза сестры загораются жадностью.

Я кладу монету в ее ладонь. Показываю на солнце и в сторону

Дарсосу. Мина отлично понимает, что я имею в виду: если ты поторопишься, еще успеешь в магазин и сможешь купить там самый большой чупа-чупс.

Ей запрещено бывать в деревне. Но Мина знает, что я ее не выдам. Ведь не рассказала же я отцу, что она утащила велосипед русской, пыталась кататься на нем и в конце концов бросила в кустах!

Зажав евро в кулаке, сестра со всех ног кидается прочь. Магазин давно закрыт, но у Мины останется монета. Купит себе что-нибудь завтра.

Память меня не подвела. Русская действительно лежит с кляпом, и когда я вытаскиваю грязную тряпку, жадно хватая воздух. У нее онемели мышцы, некоторое время она даже не может сомкнуть губ. Я сковываю ей руки впереди. Не забудь я сделать это сразу, она вытащила бы кляп сама и мне не пришлось бы рисковать, пробираясь сюда вечером.

Женщина пытается что-то сказать. У нее не получается, да это и не важно: наверняка очередное нытье и просьбы отпустить ее.

Но когда я уже закидываю рюкзак на плечи, она все-таки ухитряется выдавить из своего распухшего рта несколько слов. Я оборачиваюсь к ней и не могу скрыть удивления.

Она говорит: «Ты не похожа на него».

Глава 15

Греция, 2016

1

Макар выскочил из такси, затормозившего перед отелем, с неприятным ощущением, что приехал слишком поздно. Но менеджер в ответ на его вопрос кивнул в сторону дивана. Рядом с ним стояли три чемодана, возле которых топтался рум-бой.

«Успел», – подумал Илюшин.

Не то чтобы это имело большое значение. Но он привык удовлетворять свое любопытство. Вопросы, на которые он не получил ответа, ныли, как больной зуб, и эта боль могла длиться годами.

Илюшин взбежал на второй этаж и едва не сшиб красивую молодую гречанку, выходящую из номера Синекольского. На плече у нее висела спортивная сумка. Дмитрий стоял в дверях с переноской в руках.

– На пару минут, – сказал Макар, наступая на него и вынуждая зайти внутрь.

– Пошел ты! – Синекольский оттолкнул его. – Меня такси ждет. Вы, два урода...

– Ольгу убили, – прервал его Илюшин.

Дмитрий медленно опустил на пол переноску. Изнутри тихо заскулили. Он стоял и смотрел на Макара, и с лицом его творилось что-то странное: оно разъезжалось на две полумаски; губы подергивались в тщетной попытке что-то сказать, а верхняя часть окаменела, перекосившись, и один глаз остался прищуренным, а второй раскрылся так широко, словно пытался охватить все, что когда-либо происходило.

– Доказать это я не могу, – устало сказал Илюшин. – Тело мы не найдем. Если только он не полный идиот, а не похоже, чтобы это было так. Наверняка вывез ее на своей лодке в открытое море и там сбросил в воду. С грузом, чтобы труп не всплыл.

В переноске царапалась и скулила собака. Макар придвинул стул и сел. Гречанка что-то требовательно сказала и, не дождавшись ответа, исчезла.

– У меня было ничем не подкрепленное подозрение, что к

исчезновению Ольги имеет отношение старый грек, который живет в доме напротив отеля, – сказал Макар. – Теперь я уверен, что так и есть. Он переправляет нелегальных иммигрантов на континент. У него моторка на двадцать человек и крытый фургон, в котором он привозит их сюда, в Калликратию. Ольга узнала об этом. У нее был мощный бинокль, подарок мужа. Она встала рано утром, навела бинокль на дом рыбака, и, судя по всему, заметила что-то из ряда вон выходящее. Может быть, кого-то убивали. Не знаю. Как бы там ни было, она схватила велосипед и поехала к мысу, никому не сказав ни слова. Мы его нашли потом в кустах неподалеку. Велосипед.

Гречанка снова возникла в дверях. Недовольно спросила о чем-то, но осеклась на полуслове, увидев лицо Синекольского.

– Я сегодня там был, в бухте, где он хранит лодки. На песке куча следов. Явно прошло очень много народу, а ночью Андреас выходил в море. Опять же, два сарая на участке. Я думал, может, второй для коз... Но скорее всего, он для людей.

– Зачем ты мне все это говоришь? – прервал молчание Дмитрий.

– Вы были друзьями. Я решил, ты должен знать.

– Я не видел ее пятнадцать лет!

– Вы были друзьями, – повторил Макар.

Синекольский опустил на пол рядом с переноской. Девушка в дверях позвала его по имени. Он не ответил.

– Идиотизм какой-то, – в голосе Синекольского звучало детское удивление. – Спасись от этого уroda, реализовать такой план... И погибнуть, не дожив до сорока?

– Какой план?

– Я, наверное, в глубине души был уверен, что она бессмертная. И еще радовался, что она живет как надо, хорошо живет, раз не отвечает мне на письма, и правильно делает, что не отвечает... Вот если бы она написала, что так и быть, давай увидимся, я бы знал, что у нее не все в порядке. У нее же совершенно благополучная жизнь, муж, работа, пять аккаунтов в соцсетях, статус «Счастлива по умолчанию, не лезьте в настройки». Идиотизм эти статусы, ничем не подкрепленные претензии на уникальность... и этот тоже... чисто бабский, слегка агрессивная демонстративность, да?

– Есть такое, – согласился Илюшин.

– Я думал, это офигеть как круто. То, что она теперь обычная баба, с глупостями своими, с пафосными фотками всех этих свадеб, размытыми фонами, тупыми рожами, силящимися выдать счастье в Самый

Торжественный День. – Он интонацией обозначил издевку. – Как же она так, а? Зачем она туда поехала?

Макар не ответил.

Некоторое время они сидели молча. Гречанка ушла, собака свернулась клубком и успокоилась.

– Что у вас произошло в Русме? – задал, наконец, Илюшин тот вопрос, ради которого он приехал.

Он ожидал чего угодно – молчания, ухода, насмешки, – но только не того, что случилось.

– Мы убили ее отца, – безразлично сказал Синекольский.

Макар затаил дыхание. Затем очень медленно, замерев, словно опасаясь неосторожным движением вспугнуть внезапную откровенность, сказал:

– Белкин, кажется, утонул в резервуаре с водой...

– Да. Это мы его туда заманили.

Илюшин припомнил все, что успел узнать от Сергея.

– Вы его столкнули?

Синекольский покачал головой.

– Это от начала до конца была Белкина идея. На ферме Бурцева было два зернохранилища, в одном бассейн, который постоянно наполнялся водой из подземных ключей. Мы перебросили через него доску, такую, чтобы выдерживала только Белкин вес. Сверху затаили тканью всю поверхность этого амбара. Набросали немного земли и пыли, по краям придавили камнями... они могли нас выдать, но в темноте их не было видно.

На этот раз Илюшин не смог сдержать изумления.

– Вы создали видимость твердой поверхности? Из ткани?

– Да, какая-то серая холстина... Не помню уже. Ее тоже Белка покупала. Разрезали на длинные полосы.

– Зачем?

– Чтобы выдернуть из-под тела, которое будет барахтаться в воде. – Он удовлетворенно улыбнулся. – Иначе этот гад оказался бы в мешке, когда доска сломалась бы под ним, и выбрался бы.

– А не проще было его толкнуть? – не выдержал Макар.

– Проще. А кто должен был толкать, как считаешь?

И тут Илюшин понял. Они не хотели быть убийцами, эти двое детей, придумавших нелепый, громоздкий и сложный план, который, однако, сработал, как это часто случается с нелепыми и сложными планами. В их замысле все как будто происходило само: достаточно было взрослому

человеку ступить на доску, а остальное завершали холодная вода и высокие стенки бассейна.

– Он действительно был такая сволочь?

– Хуже. – Синекольский закурил. – Он был выродец и насильник. Убил двоих: Маню Шаргунову и Аделаиду.

Макар опешил. Сергей по телефону не упоминал о женщине с именем Аделаида, но, возможно, ему было известно не все.

– Маню он трахал, – продолжал Дмитрий. – А Аделаида ему просто под руку подвернулась. Он бы и Белкину мать убил, все к тому шло. Белка все очень хорошо продумала, я бы так никогда не смог. Достойная дочь своего отца! – Он засмеялся было, но резко оборвал смех.

Илюшин осмыслил сказанное.

– Ты поэтому ей писал? Хотел поговорить о том, что вы сделали?

– Я в бассейн упал, – сказал Синекольский, глядя сквозь него. – Половина доски в воде осталась, я стал ее вытаскивать и свалился.

– Зачем вытаскивать?

– Чтоб следов преступления не оставалось. Белка меня не удержала, я прямо в эту воду ухнул. А она ледяная, как... как... – Он пошевелил пальцами, подыскивая слово, – как лед. Жидкий черный лед. И ты в этом льду барахтаешься. А в двух метрах – Белкин. Я думал, прямо там сдохну, сердце разорвется. Мы же его убивали, почти убили! И тут – я. У меня потом пять лет подряд ночи спокойной не было, чтобы мне не приснилось, как он ко мне подплывает и смеется. Я ни к озеру близко не подходил, ни к самой дохлой речке. Днем на унитаз боялся сесть, потому что там вода. Можешь себе представить? Однажды, когда уже в Москве жил, снял в баре телку одну... под кайфом был, конечно... Привез ее к себе... В такси-то темно, не разберешь, а на хате свет включил, а она на меня пялится глазами синющими, как, блин, сраные васильки... У меня на этом весь стояк закончился. Не просто упал, а как будто гирию к нему привязали. На полгода она меня импотентом сделала, эта синеглазая куколка.

– А Ольга?

– Что – Ольга... Уехала через месяц после похорон, и с концами. Бросила меня одного разгребаться со всем этим дерьмом...

– Как ты выбрался оттуда?

– Уехал, когда окончил восьмой класс. Сказал матери, что либо пусть забирает меня, либо я вскроюсь, без вариантов. Она не особо обрадовалась, но пристроила меня к дальней тетке в Реутове. А дальше уж я сам...

– Да нет, из бассейна.

– А! Из бассейна было малость попроще. – Синекольский глубоко

затянулся. – Белка меня вытащила. Не растерялась, умница. Сунула мне второй огрызок доски, чуть по башке не саданула... Я в него вцепился как зверь, разве что зубами не вгрызся. Пока ее папаша сообразил, что происходит, она меня уже подтянула наверх, а там мы как-то совместными усилиями... Я тебе рассказываю сейчас и думаю, что все это заняло минуту, а то и меньше. Пятьдесят долбанных секунд. Всего пятьдесят секунд ужаса – это ж не так много, верно?

Он уставился на Макара.

Сигарета дотлела и обожгла ему пальцы. Синекольский с ругательством выронил ее и затряс рукой.

– А что потом? – спросил Илюшин.

– Белкин сначала орал, умолял ее, потом замолчал. Стал плавать туда-сюда, наверное, хотел согреться. А мы ушли. Белка, конечно, была девка с железными яйцами, но смотреть, как твой собственный отец умирает... Мне-то пофиг, я его просто ненавидел за Аделаиду. И потом, я вымок весь, замерз, мне нужно было переодеться.

– И вы не возвращались?

– Зачем? – вопросом на вопрос ответил Синекольский. – Если бы кто-нибудь нас там заметил, потом вспомнил бы... начались бы вопросы... Нет. Просто ждали, когда его найдут. Через неделю Женька Грицевец сунулся туда со своими приятелями, хотел курнуть травки в тишине... Ну и получил тишину. – Он ощерился. – Мертвую!

Илюшин хотел еще что-то спросить, но вместо этого сказал совсем другое:

– Хороший ты был ей друг.

Синекольский захлопнул дверцу переноски.

– А толку? Все равно все умерли.

– Ты-то вроде живой.

Дмитрий поднялся и впервые за все время разговора посмотрел прямо в глаза Илюшину.

– Не, – сказал он. – Это тебе кажется. Я давно подох.

Доехав до перекрестка, Андреас Димитракис спохватился, что забыл права. Можно было бы и не возвращаться, понадеяться на удачу, но в последние дни ему было неспокойно.

Зайдя в комнату, он увидел старшую дочь: Мина сидела за столом,

поджав ноги, и крутила перед собой круглый розовый леденец на палочке.

– Где взяла? – резко спросил Андреас.

В дверях кухни выросла жена. Роза все больше становилась похожа на тень, такая же плоская, темная, безмолвная.

– Говори!

Мина пыталась спрятать чупа-чупс в ладони. Андреас разъярился: девку кто-то угостил, и это наверняка не просто так.

– Тебя лапали? Руки тебе совали под юбку? Шлюха! Рассказывай!

Мина уклонилась от пощечины и вскочила. Щеки вспыхнули от возмущения.

– Я сама купила!

– Врешь!

– Нет! Сама! Денежка была!

– Ты украла у меня деньги?

– Ни у кого не крала!

– Врежу тебе сейчас, – пригрозил Андреас. – Ох, как я тебе врежу...

– Катерина дала, – нехотя созналась Мина.

– Катерина?

Он насторожился. Что младшая дочь крысятничает, припрятывает кое-что, Андреасу было известно. Но прежде она никогда не расщедривалась...

Все подозрения последних дней ожили в нем.

– За что она дала тебе денег?

– Просто так! Мина – красивая!

– Очень красивая, – согласился Андреас. – Но Катерина злая. Мы накажем ее за то, что она плохая. Правда?

Мина задумалась. Это было что-то новое: раньше она охотно последовала бы за отцом, даже вздумай он утопить младшую дочь в нечистотах.

– Очень злая, – нетерпеливо продолжал Андреас. Ему почудилось протестующее движение у двери, но меньше всего его мысли сейчас занимала бессловесная жена. – Но мы будем к ней добры. Просто заберем у нее монеты. Все-все! Отдадим их Мине. Пусть Мина купит себе сладкое.

– А ты не отберешь мою денежку?

– Ни за что!

– И не будешь бить Катерину?

Андреас усмехнулся. Как же просто оказалось купить расположение дурочки: один евро – вот цена ее симпатии.

– За что ее бить? Разве она в чем-нибудь виновата?

– Нет...

Он обнял Мину и на секунду прижался губами к ее мягким влажным коровьим губам.

– Ты моя умница. А теперь расскажи мне все. Когда Катерина дала тебе деньги?

3

На обратном пути Илюшин свернул налево от отеля и пошел вдоль обрыва, уходя от гостиницы все дальше и дальше, пока не добрался до пустынной площадки, откуда даже не видно было бухты с туристами. Выжженная солнцем трава шуршала под ногами, как нарезанная бумага. Он сел и стал смотреть на море.

Надо было собраться с силами и рассказать Гаврилову о своих выводах. Но кроме этого, Илюшин чувствовал, что ему требуется переварить рассказ Синекольского.

Он думал о двоих детях, от отчаяния задумавших убийство. О Русме, в которой он никогда не был. О человеке по имени Николай Белкин, убившем слабоумную Маню и неизвестную ему Аделаиду, и о десятках людей, живших вокруг и не вступившихся за женщину и ее дочь.

Потом он подумал про Бабкина и вытащил из кармана сотовый.

– Есть новости? – спросила телефонная трубка, не поздоровавшись.

– Есть, – сказал Илюшин. Он вдруг почувствовал такое облегчение, словно тонул и нащупал спасательный круг. Это был голос из другой жизни, где не били своих женщин и не калечили детей, где вещи были просты и понятны, а если и непонятны, значит, нужно было всего лишь сесть и спокойно в них разобраться. Он временами завидовал этой ясной простоте. А сейчас особенно остро ощутил, до какой степени ему не хватает не только Бабкина, но и его жены – не по отдельности, а обоих вместе, чтобы можно было сидеть у них на кухне, слушать, как они спорят, кому варить кофе, и быть включенным в их болтовню, в их счастье, в их смыслы, которые они сами создавали для себя, а не питались чужими.

На миг он испугался того, как глубоко эти двое проросли в его жизни. Потом вспомнил несчастного Синекольского и сказал себе, что есть вещи и пострашнее.

Бабкин что-то неразборчиво, но осуждающе пыхтел.

– Что?

– Долго, говорю, я буду слушать этот нудный прибор? Он мне еще в Греции осточертел.

– В Русме, надо думать, тебе больше нравится?

Бабкин помолчал, затем хмыкнул:

– Как ни странно, да. Ну, знаешь, лето же... Везде хорошо.

– Марию Шаргунову убил Николай Белкин, – сказал Илюшин.

– Откуда ты знаешь?!

– Синекольский раскололся. Белкин, похоже, был психопат.

– Это я уже понял, – сказал Сергей. – Мне тут порассказали про него...

– И они вдвоем его убили.

В трубке повисла тишина.

– Алло! – сказал Макар. – Ты там?

– Кто вдвоем?

– Гаврилова и Синекольский.

– Они же были совсем мелкие, – недоверчиво проговорил Сергей.

За это недоверие Илюшин готов был обнять его, если бы только подобные проявления чувств не были ему чужды. Десять лет проработать оперативником – и сомневаться в существовании детей, убивших отца одного из них. Да благословит Бог чистых сердцем, сказал он себе с насмешливостью, в которой была изрядная доля зависти.

– Мелкие, да. Хитрые. Умные. Заманили его на ферму Бурцева и сбросили в воду. – Макар опустил подробности.

– Да-а-а... Жаль, Ляхову рассказать нельзя.

– Какому Ляхову?

– Да есть тут один... непросыхающий старикан. Одно время работал сторожем у Бурцева, а потом, когда все предприятие накрылось, решил использовать эти руины с пользой. Пытался там раков разводить. Считает, что Николая прикончил он.

– С чего бы? – удивился Макар.

Бабкин усмехнулся, вспомнив вчерашнюю беседу. Старый пьяница был и смешон, и жалок. Чтобы успокоить беднягу, ему пришлось сбегать к соседке и сторговать у тощей и плосколицей как индеец карги чекушку, за которую оборотистая бабка, мигом поняв всю безвыходность его положения, содрала с него стоимость неплохой бутылки коньяка.

– Задним умом думаю, что развели меня как ребенка, – усмехнулся Сергей. – Спектакль разыграли, красавцы. Хотя, может, и нет. Я вчера выслушал занятную теорию о том, что Белкин распространял вокруг себя яд. Те, кто послабее, от одного его присутствия портились или малость сдвигались по фазе, как Ляхов.

– Что-то в этом есть. Ладно, возвращайся в Москву.

– А с Гавриловой как?

- Возвращайся, – повторил Макар.
- Ясно, – помолчав, сказал Бабкин другим тоном. – Ты тело обнаружил или просто предположение?
- Предположение. Тело не найдем. Море же...

Нажав отбой, он вновь стал смотреть на медленно катившиеся синие волны. Где-то глубоко под ними лежала Ольга Гаврилова, и предстояло сообщить об этом ее мужу.

За спиной прошуршали шаги. Макар обернулся, готовый вновь увидеть Катерину, но это оказался Ян.

– Я вас из холла заметил, – смущенно сказал он.

Потоптался и, не дождавшись ответа, сел рядом.

– Я его боюсь, – после долгой паузы сказал Ян. – Его все боятся. Но он много хорошего сделал. Церковь построил. Помогает. Многим людям помогает.

– Он женщину убил, – сухо сказал Илюшин. – Молодую женщину, у которой мать есть, и муж, и оба ее любят. А вы станете молиться за его здоровье в церкви, построенной на его деньги.

– Я не стану.

Илюшин покосился на мальчишку, увидел, что тот чуть не плачет, и устыдился. Кому он читает морали? Зачем? Что может сделать этот парнишка да и любой из жителей деревни? Нет ни улик, ни свидетелей, разве что семья Димитракиса, где не сразу разберешься, кто из них страшнее.

– Лучше вот что скажи: где ты язык выучил? В самом деле у наших туристов?

Ян кивнул, украдкой вытер глаза.

– Девушки отдыхали, две сестры. Красивые очень. Русские все красивые. Прошлым летом, на три месяца приехали. Тогда работы было мало, кризис, отель совсем пустой стоял. Илиодор разрешил брать машину, я их возил по стране, мы даже на острова ездили... Я, наверное, влюбился, только не знал в кого.

Макар сдержал улыбку.

– Значит, ты с ними много разговаривал?

– Разговаривал, да. И слушал. Когда других слушаешь, хорошо запоминаешь. Люди между собой и с иностранцем по-разному говорят.

– Да, это правда, – согласился Макар.

– Надеюсь, они этим летом тоже приедут. Телефон им оставил. – Ян вздохнул. – Такие красивые... Как снежинки!

– Ты снег когда видел?

– У нас снег почти каждый год бывает, – обиделся за страну Ян. – Только тает быстро. Жалко!

Он посидел еще, затем озабоченно дотронулся до непокрытой головы и встал.

– Извините, Макар... Я пойду, хорошо? Бежал сюда быстро, забыл кепку. Без кепки нельзя.

– Подожди! Я у тебя еще что-то хотел спросить. Вылетело... А, вспомнил! Отсюда до кладбища далеко?

– Какого кладбища?

– Вашего. Где вы усопших хороните. Ты знаешь, кстати, такое слово – усопшие?

Ян недоуменно уставился на него сверху вниз.

– Макар, у нас нет кладбища. В Неа Калликратии есть. Мертвых туда везут.

– В Неа Калликратии? – повторил Илюшин.

По спине у него пополз холодок.

– Да, в городе. Возле него большое кладбище. Там у меня бабушка и дедушка похоронены. Что с вами, Макар?

Илюшин несколько секунд смотрел на него до того диким взглядом, что Яну стало не по себе.

– Где, где он? – забормотал Макар, вскочив и хлопая себя по карманам.

– Что вы ищете? А! Телефон! Вот он, на траве. Вы сейчас на него наступите...

Илюшин схватил сотовый.

– Серега, – сказал он, едва ему ответили. – Немедленно! ты понял? – немедленно! – иди к Наталье Белкиной и спроси, где отец ее мужа. Сейчас же! И сразу перезвони мне.

– Что случилось?

– Быстро! – заорал Макар.

Ян вздрогнул. Он отчего-то полагал, что этот обаятельный спокойный парень вообще никогда не кричит. Он бы удивился, узнав, что Сергей Бабкин думал так же.

Звонок раздался минуту спустя.

– У меня есть ее телефон, я просто позвонил, – сказал Сергей. – Отец Белкина умер много лет назад. Отравился паленой водкой. Причем что интересно...

– ...вместе с ним отравилось еще двое?

– Ну и зачем меня гонять, если сам в курсе?

Илюшин оцепенел. Он не слышал удивленных вопросов напарника, не замечал испуганного взгляда Яна. Из хаоса фактов – странных, нелепых, необъяснимых – сложилась неправдоподобной четкости картина, словно к его глазам поднесли бинокль. В этой картине две плоскости, которые виделись ему разделенными перспективой, пришли в движение и совместились.

Наконец он вздрогнул и пришел в себя. В телефоне бесился Сергей.

– Один вопрос, – сказал Макар. Тотчас наступило молчание. – Сторож Ляхов... Сторож, мать его, Ляхов считал, что он убил Белкина, потому что тот являлся ему после смерти?

Теперь замолчал Сергей. Он пытался понять, каким образом Макару стало известно содержание его вчерашнего разговора со старым алкоголиком.

– Серега!

– Да. Только откуда...

– Он ее убьет, – медленно сказал Илюшин. – Как только он догадается, где ее прячут, он ее убьет. А он догадается. Ему Мина расскажет. Она следила за сестрой.

– Кто убьет? – взвыл Бабкин, и в далекой Русме от него шарахнулись идущие мимо старухи. – Макар, твою мать! Кто кого убьет?

– Николай Белкин, – сказал Илюшин, лихорадочно обшаривая взглядом берег. – Николай Белкин убьет свою дочь.

Пройдя по тропе до пещеры, Катерина ахнула: пока ее не было, пленница поползла, как червяк, до входа, и теперь лежала на краю, вывернув голову и таращась на море.

– Ты что, сошла с ума? – девушка бросила рюкзак, схватила ее за связанные ноги и потащила обратно. – Хочешь упасть?

Она подняла обрывок веревки. Один ее конец еще вчера вечером был обмотан вокруг камня в глубине пещеры, второй Катерина привязала к наручникам. Развязать его было невозможно. Ольга его просто перегрызла.

– Глупая ты, – буркнула она по-гречески. – Здесь тебе безопаснее, чем снаружи.

Время уходило, Катерина физически ощущала, как его поток, стремительно ускорившись, протекает мимо нее. Андреас сказал, у него дела в городе, – это значит, у нее три часа, максимум четыре. Хорошо, что

она все заранее подготовила.

В углу пещеры лежала сумка с документами и деньгами. Катерина на секунду закрыла глаза, прислушиваясь к звуку невидимых минут. Русская заговорила, и девушка сделала знак: молчи!

Ей нужна была тишина.

Через три секунды она открыла глаза. Без пятнадцати одиннадцать. Паром уходит в час. Они успеют.

Сердце у нее колотилось, но голова была ясная. Все складывается как нельзя лучше. Надо только отвлечь Мину, чтобы та не вцепилась в мать...

– Слушай, – сказала за спиной русская. – Ты хороший человек, я же вижу. Ты меня спасла. Вот чего ты хочешь?

Катерина дотронулась до запястья и обнаружила, что бабушкиного браслета нет. Наверняка свалился, когда она в последний раз переодевалась. Она села на корточки и принялась рыться в вещах.

– Я думала, я его убила, – бормотала сзади Ольга. Она повторяла это раз за разом. Катерина не сомневалась, что когда русская остается одна, она без конца говорит эту фразу, и когда засыпает, ей снятся одни и те же слова. – Я думала, я его убила! – хрипло крикнула она. – Ты понимаешь или нет?

«Я понимаю, что должна спасти нас с матерью, – мысленно ответила Катерина. – Я увезу ее, и он никогда нас не найдет. А ты разбирайся с ним сама, если хочешь».

– Отпусти меня, а? – попросила Ольга. – У меня ноги болят. Руки болят. Горло болит. Спина болит. Памперс мокрый. Я устала. Я здесь больше не могу!

Она зажмурилась и почти беззвучно заплакала.

Катерина обернулась и посмотрела на нее, закусив губу. Время, конечно, уходило, и не стоило тратить его на утешение. Но внутри шевельнулась жалость.

– Слушай. Слушай меня! – она присела перед Ольгой, тряхнула ее за плечо. Та сразу замолчала. – Я должна уехать. Ты останешься здесь. Сиди тихо. Вечером я позвоню в полицию и скажу им, где ты. Они тебя найдут. Все будет хорошо.

– Ты позвонишь в полицию? – недоверчиво переспросила та.

– Да.

– Обещаешь?

Катерина не могла удержаться от смеха. Обещание – это просто слова. В них даже меньше веса, чем в обычном «здравствуйте».

– Обещаю.

Кажется, этот глупый ритуал успокоил Ольгу. Как ребенок, снисходительно подумала Катерина.

Она вернулась к поискам. Браслета не было, а без него уходить она не хотела. Девушка снова зажмурилась, вытянула перед собой руки ладонями вниз, обвела мысленным взглядом пещеру. В левый мизинец вонзилась крошечная искра. Открыв глаза, она последовала за источником слабой боли, и обнаружила браслет в трещине возле дальней стены.

Неожиданно свет померк, и вдруг страшно, протяжно закричала Ольга. У входа в пещеру стоял Андреас.

– Девочки вы мои, – по-русски сказал он, укоризненно качая головой. – Эх, дурочки, дурочки.

Взгляд его упал на наручники.

– Ай, Катерина! Ай, молодец.

Он вздохнул, подошел к Ольге, склонился над ней, вглядываясь с улыбкой в ее лицо.

– Только сейчас тебя узнал, – весело сказал он. – Вот так встреча, а! Будем, значит, долги возвращать. Один раз ты меня убила, второй раз я тебя убью. Квиты, а, Лелька?

Деловито вскинул ее на плечо, как мешок, и понес к выходу.

Раздался пронзительный визг, эхом отразившийся от стен; казалось, сами камни исходят диким криком. Катерина пронеслась по пещере и врезалась в Андреаса – он едва устоял на ногах. Девушка кинулась на него, молотя кулаками с неожиданной силой, то налетая, то отскакивая, точно мангуст на кобру, не давая ему подобраться к выходу.

– Ну, сука...

Андреас не смог закончить – Ольга укусила его в шею.

Он отшвырнул ее и заплясал, прижимая ладонь к окровавленной шее; греческие и русские ругательства вперемешку срывались с его губ. Катерина успела достать ключ от наручников и подобраться к Ольге, но ее схватили за волосы и потащили к обрыву. Ключ звякнул о камни. Катерина, не издав ни звука, выхватила из кармана нож. Освобожденно сверкнуло лезвие. Размахнувшись, она полоснула отца по запястью. Он на секунду выпустил ее, и тогда Катерина извернулась и изо всех сил толкнула его ногами от себя.

Какое-то мгновение обеим казалось, что он упадет с обрыва. Андреас взмахнул руками, в глазах мелькнул страх. Но до выхода на тропу оставалось не меньше трех шагов. Он всего лишь попятился и остановился, тяжело дыша. С рассеченной руки на камни капала кровь.

Катерина схватила ключ, провернула в замке наручников. В два взмаха

распорол веревки, перетягивавшие щиколотки пленницы.

– Сначала одну сброшу, – раздался за ее спиной хриплый голос. – Потом вторую.

Андреас поднес руку к губам и слизнул кровь. Сморщился, точно ребенок, которого угостили кислым яблоком:

– Что ж вы за люди-то такие...

– Кто там был? – вдруг просипела Ольга. – Там, в зернохранилище. Кто?

Он усмехнулся.

– Вон ты что вспомнила! Бурцев там был, фермер. Помнишь его, Лелька?

Глаза ее расширились.

– Не может быть!

– Отчего же не может? – Андреас как будто обиделся.

– Как он там оказался?!

– Ваша дощечка-то осталась в воде. Я на нее пузом лег, как вы ушли... Только поэтому и не помер. Господь – он меня любит. Этот дурик ни свет ни заря приехал на свою ферму. Я его потом спрашиваю: ну допустим, я пьяный был, а ты-то чего сюда приперся? Он мне такую проникновенную телегу задвинул – рассвет, говорит, хотел встретить на своей земле, начать новую эру. Ну смешной!

– Бурцев тебя спас, – медленно сказала Ольга. – Он тебя спас, а ты его убил.

– Ну а как же, девонька моя, – удивленно отозвался отец. – Сама подумай, как удачно все легло, одно к одному. Роста мы одинакового, волосня у нас черная, курчавая. Машину он неподалеку бросил, она мне потом очень кстати прищлась. Я его притопил, а как он дергаться перестал, вытащил и одежду поменял. Вот это труднее всего оказалось. Как вы, бабы, младенцев-то одеваете? Я чуть не спятил! Так намучился с ним, с уродом!

Андреас замолчал и снова присосался к запястью. Когда он отнял руку от лица, губы его были в крови.

– Потом к Ляхову пошел, он раков в садке держал. Уж светать начало, кажись... Я только и успел, что забрать их и вернуться. Алексей Иваныч, кстати, меня видал. Только пьяный был, ничего не понял. Вот такие дела, Лелька. А ты, кстати, тощая выросла! Думал, покрепче будешь.

– Как Мина? – вдруг прошипела Катерина.

– Чего?

– Думал, она будет как Мина?

– А чего Мина? – Его губы растянулись в плотоядной ухмылке. – Мина

– славная девочка. Жирненькая моя, ух, ляжечки трясутся! Люблю это все! А вы – две воблы. Дохлятины. Тьфу!

Андреас сплюнул. Затем шагнул к ним и замер, переводя взгляд с одной на другую. Лицо его стало отрешенным, почти одухотворенным.

Все, поняла Катерина. Конец. Он выбирает, кого из нас убить первой.

– Катя, – тихо сказала Ольга. – Катенька...

В ее голосе Катерина уловила не страх, а глубокое недоумение. И вдруг осознала, что в пещере есть кто-то еще.

За отцом возникла маленькая фигурка в черном платье.

Катерина хотела крикнуть, но от ужаса у нее отнялся язык.

Андреас обернулся и озадаченно присвистнул.

– Роза? Ты чего приперлась? А ну, пошла домой! Мину одну оставила, дура! А если она опять спичками станет баловаться?

Женщина не двинулась с места.

– Пошла! – прикрикнул он, как на собаку. – Пошла, пока я тебе руки не переломал!

Роза что-то тихо произнесла.

– Чего?

– Прости меня, моя девочка. – Она смотрела только на Катерину. – Прости меня, моя девочка.

– Спятила! – Андреас уверенно пошел ей навстречу.

– Моя девочка...

– Мало тебе кнута давали?

– Прости меня.

– Старая идиотка!

– МАМА, НЕТ!

Безумной силы вопль, наконец вырвавшийся у Катерины, прозвучал слишком поздно. Роза обхватила подошедшего мужа – мягко, робко, словно хотела о чем-то попросить – и так же мягко потянула за собой. Две фигуры на мгновение замерли у края скалы, словно вырезанные в небе силуэты, сквозь которые был виден черный космос без единой звезды, а затем просто исчезли.

Ольга вскрикнула. Снизу донесся какой-то странный, ни на что не похожий звук, и наступила тишина.

– Господи... – Преодолев оцепенение, женщина поползла к обрыву. – Господи ты боже мой...

– Не надо, – вслед ей сказала Катерина.

– Что?

– Не смотри туда.

- А если они живы?! Помочь... надо помочь...
- Они разбились, – сказала Катерина.
- Откуда ты знаешь?
- Они разбились, – повторила девушка.

Она закрыла глаза, прислушалась. Мама была где-то рядом, но таяла с каждой секундой. От отца не осталось ничего.

А еще к ним быстро приближались два человека. Сейчас они находились как раз над пещерой, но один из них уже догадался, куда нужно идти, и Катерина подумала, что пора выбираться, пока они не переломали весь ее тамарикс.

5

- По-моему, вы уже все знаете и без меня, – сказал Илюшин.

Он устал так, словно бежал марафон. Пришлось несколько часов объясняться с полицией, а потом ждать в участке, когда отпустят Ольгу. С происходящим Макара примирило лишь выражение лица Гаврилова, когда тот увидел жену.

- Ничего не знаю, – сказал Петр. – Оля молчит и за меня держится.

На самом деле это он держался за жену. Когда Ольга на две минуты отошла в туалет, Гаврилов весь извелся. Если бы не Илюшин, он бы сел под дверь и скулил.

Но женщина и в самом деле молчала. Молчала и смотрела на мужа.

– Хорошо, – согласился Макар, – я буду рассказывать, а вы, Оля, поправлять меня там, где я ошибусь. Договорились?

Белкина кивнула.

– Вы проснулись восьмого июня, подошли к окну и взяли бинокль. Навели его на дом Димитракиса и увидели своего отца, который утонул в Русме двадцать четыре года назад. – Макар налил себе чай, но пить не стал, просто держал горячую чашку в ладонях. – Я должен был догадаться. Что может заставить человека выбежать из номера в пижаме и тапочках и кинуться к чужому дому? Если бы вы стали свидетелем преступления, то позвали бы на помощь. Но вы не могли позвать. Потому что когда-то вы убили своего отца.

– Да. Я не могу даже приблизительно описать, что почувствовала. Это было... как взрыв. Понимаете, прошло двадцать четыре года...

- Он мало изменился?

– Да. Но это мог быть и не он. Я должна была проверить сразу,

немедленно.

Макар кивнул.

– Вы схватили велосипед, который стоял у входа в отель, подъехали к дому и пытались пробраться внутрь. Кто вас заметил? Андреас?

– Нет, девушка... Такая толстая, странная...

– Мина. Значит, она подняла тревогу, и Андреас вас схватил. Свою дочь он, конечно, не узнал?

– Конечно, нет. – У нее даже хватило сил улыбнуться.

– Это вас спасло. Иначе он сразу бы вас убил, прямо на месте. А так он потащил вас... куда? В сарай?

– В подвал.

– Ага, в подвал. И собирался прикончить уже там, потому что решил, будто вы узнали о его делах, о том, что он помогает перевозить нелегалов. Кто-нибудь из них наверняка прятался у него в сарае, ожидая отправки в город. Но вы о них понятия не имели. Андреас вас не прикончил, потому что ему что-то помешало... Догадываюсь, что это была младшая дочь.

– Да. Катерина. Она ворвалась, жестикулировала, хватала его за одежду... И он ушел. А она увела меня в пещеру и оставила там. Я не могла сбежать, она меня связала.

– Почему Катерина это сделала? – вмешался Гаврилов. – Почему просто не отпустила Олю?

– Потому что готовила побег. Ей нельзя было привлекать внимание к их дому. Она боялась полиции, сыщиков, случайных прохожих – всех! Ей нужно было спасти мать, увезти от Андреаса, чтобы он никогда не нашел их. Она готовилась к этому долго и тщательно.

– Я не понимаю, – сказал Гаврилов. – Тихая женщина, в перевозке нелегалов явно не участвовала... Арестовали бы этого мерзавца, и дело с концом. Она свободна.

Илюшин потер лоб. Надо бы как-то деликатно рассказать об отце Ольги Гавриловой... Но на тактичность у него не осталось сил.

– Андреас много лет спал со своей старшей дочерью, Миной. Он раскормил ее до скотского состояния. Во-первых, ему нравились толстые женщины, он и с бывшей женой поступал точно так же. Во-вторых, так никто не догадывался о ее беременностях.

Ольга ахнула.

– О чем? – переспросил Гаврилов. – О беременности?

– О беременностях. Во множественном числе. Она рожала в том же подвале, куда притащили Ольгу. Успела родить четыре раза.

После его слов повисло молчание.

– И где дети? – наконец спросил Гаврилов.

– Ну, они были для Белкина – то есть уже для Андреаса – кем-то вроде кутят, от которых необходимо избавиться. Он их просто душил.

Ольга вскочила и быстро вышла. Сквозь тонкую дверь туалета Илюшин слышал, как ее тошнит.

– Кофе в участке был паршивый, – хрипло объяснила она, вернувшись.

Судя по цвету лица, Гаврилов был готов последовать ее примеру.

– Жена Андреаса все эти годы знала о происходящем. Знала и не вмешивалась. Она была смертельно запугана, конечно. Вы, Оля, должны себе представлять... Тела младенцев прятала Катерина – думаю, Андреас даже не интересовался, что она с ними делает. Они для него не существовали, разве что как досадная помеха. Катерина была уверена, что все они совершают преступление, – так оно и было, кстати, – и если об этом кто-то узнает, их всех посадят. Она не боялась за себя. Она боялась за мать. Младенцев она хоронила и ухаживала за могилой, а когда я наткнулся на нее, без труда меня провела. Не ждешь от такой диковатой девочки, что она будет виртуозно и убедительно лгать. Это не отменяет, конечно, того факта, что я идиот.

Чай совсем остыл. Илюшин выплеснул его в раковину, налил новый и снова начал греть ладони.

– Собственно, она провела меня два раза. Второй – с захоронением. А первый – когда заметила, как я рыскаю вокруг дома, и сообразила, что надо меня отвлечь. Она молодец. Большая умница, правда. Русских здесь часто видят на джипах. Она солгала, что вы, Оля, сядились в большую черную машину, и я охотно пошел по ложному следу. Ваш друг детства Дмитрий Синекольский оказался тут очень кстати. Катерина, конечно, понятия не имела о его существовании, но в мою версию он вписался идеально.

– Как Белкин попал в Грецию? – спросил Гаврилов. – Без денег, без документов...

– Деньги у него были. Он ограбил Бурцева. К тому же не забывайте, он занял у кого-то из местных приличную сумму, которой с запасом хватило бы и на новый паспорт, и на новую жизнь. А вот с Грецией сложнее. У меня есть только одно объяснение. Николай когда-то был моряком, у него могли сохраниться прежние связи. Легально он пересек границу или нет, но в Греции он материализовался уже Андреасом Димитракисом.

– И сразу женился!

– Почти сразу.

– Он был очень красивый, – сказала Ольга, словно оправдывая Розу.

– Красивый и хитрый, – согласился Макар. – Сообразил, как

использовать легенду о ведьме, и всячески поддерживал дурную славу вокруг дома. Никто не совался к нему. Одновременно он задобрил жителей деревни. Это все было не слишком трудно. А вот как он переправил к себе мать – это вопрос!

Ольга покачала головой.

– Не могу поверить, что Елена Васильевна прожила здесь еще столько лет! Мы все были абсолютно уверены, что она заблудилась в лесу и погибла.

– Не такой она была человек, чтобы заблудиться. Она не сомневалась, что рано или поздно сын заберет ее – знала с того момента, как якобы опознала его. Жена Николая Белкина могла ошибиться. А вот его мать – никогда. Ей было сразу ясно, что из бассейна вытащили кого-то другого, не ее сына. У меня начало проясняться в голове, когда я услышал от местного паренька, что он хорошо говорит по-русски, потому что провел много времени в компании двух девчонок. У Катерины очень чистая русская речь, почти без акцента. Можно было сообразить, что рядом с ней много лет разговаривали по-русски двое. Николай общался с матерью на родном языке. А когда мой напарник рассказал, что отец Белкина умер от отравления, все сошлось. Катерина упоминала, что сумасшедшая бабка, о которой никто и не думал, что она родная мать Андреаса Димитракиса, убила собственного мужа – отравила метиловым спиртом. Дальше мне оставалось только вспомнить, что я видел у нее в рюкзаке продукты, которые явно ей не были нужны. У нее дом в двух шагах. Можно было предположить, что она собирается куда-то далеко, чтобы рисовать... но ни мольберта, ни красок, ни холстов... Нет, она несла продукты кому-то другому. Кстати, как она ухитрилась провести вас этой жуткой тропой?

– Подталкивая в спину, – хмуро сказала Ольга. – Бежать мне было некуда, и в моих интересах было не спотыкаться. А потом мне еще и связали ноги.

– Она пыталась спасти и вас, и себя, и мать. Если бы не Роза, вас обоих уже не было бы в живых.

– Катерина сказала, что ее отец и мать разбились... Она даже не видела их...

– Там высоко, а внизу камни. Они действительно погибли сразу.

Ольга помолчала.

– Вы знаете, где его найти? – вдруг спросила она.

Илюшин понял, о ком она говорит.

– Нет. Но у менеджеров в отеле должен быть записан телефон.

– Мне его не дадут...

– Дадут. Скажите, что он обещал продать вам своего пса, но вы потеряли номер. Собаку зовут Мармадюк.

Катерина

Я иду к морю под огромным небом, распростершим надо мной облачные крылья.

Что бы ни случилось, я иду к морю. Не знаю, как живут люди, у которых поблизости его нет. Возможно, они придумывают свое собственное море. В конце концов, оно вовсе не обязательно должно состоять из воды.

Здесь, на берегу, всегда ветер. Он гладит мое лицо, мокрое от слез. Если вы думаете, что я плакала по матери, то ошибаетесь. Я плакала по Мине, которая ходила по дому и звала Андреаса. Он насиловал ее с тех пор, как ей исполнилось двенадцать, выдавая в качестве награды флакончики с лаком, а она тоскует по нему и спрашивает, когда вернется отец.

Моя новая сестра вчера сказала: «Мы все-таки спаслись от него».

Мина не спаслась.

Я кое-что не понимала прежде. Бывает зло, от которого нельзя сбежать. Его можно только уничтожить.

Моя сестра догадалась об этом. Она убила отца. Но он воскрес, как воскресают демоны.

Бедная мама! Она влюбилась в чужака, в иностранца – красивого, молчаливого, сильного, – и вышла за него замуж, а когда поняла, с кем имеет дело, было слишком поздно.

Но она защищала меня изо всех сил: например, не позволила мне растолстеть, как Мине. Отец сходил с ума от толстух. Я вызывала в нем лишь брезгливость.

Такие как Андреас рано или поздно пробуют избавиться от своих детей. Они чувствуют в них собственную злую силу и знают, что когда-нибудь с ней столкнутся. Как он радовался, когда родилась Мина! Безобидная, глупая Мина, которую нетрудно было раскормить, чтобы пользоваться ее телом.

Андреас пытался убить Ольгу, пытался и меня – в ту ночь, когда поджег наш дом, надеясь, что я сгорю в закрытой комнате. Моя мать чудом вышибла дверь и вытащила меня из огня, а затем сбежала, унося дочь не от пожара, а от чудовища, бегущего следом.

Должно быть, я всегда знала об этом. Просто не помнила. Так бывает:

знание – словно разлом в коре океанического дна, покрытый толщей воды. Рыбак, живущий на берегу, думать не думает о нем. Но однажды на него идет гигантская волна и сносит и человека, и сети, и хижину. Все из-за этой невидимой трещины.

Хорошо, что память не вернулась ко мне раньше. От некоторых вопросов в человеке что-то ломается. Только никогда не знаешь заранее, с кем это случится, – с тем, кто спрашивает, или с тем, кто отвечает.

Например: мама, как ты могла остаться с ним после этого?

Меня спасли козы. Андреас не мог допустить, чтобы они погибли в огне. А затем появились люди и помешали довести начатое до конца.

Так что когда я думала, что моя немота – это дар, я и сама не представляла, до какой степени была права. Если бы я продолжила болтать, рано или поздно он избавился бы от меня.

Разве не забавно? Моя жизнь стоила двух взрослых коз. Жизнь Ольги – двух козлят, родившихся раньше срока. Дочери Андреаса дорожат со временем!

Я сажусь на камень и думаю, что мне нужно отмыть дом от сажи.

А еще – купить трех коз. Мина сможет пасти их; это дело ей по силам.

Мы так долго были пленниками, что приспособились жить в тюрьме, притворяясь, будто вокруг нет никаких стен. Как теперь осваивать настоящую свободу? Я словно училась плавать в бассейне, готовясь к морю, а меня швырнули со скалы и приказали: «Лети!»

У Ольги получилось.

Не знаю, получится ли у меня. Для начала мне нужно заговорить. Неплохо бы придумать какой-нибудь смысл, что-то вроде подпорки – например, убедить себя, что Мине нужен мой голос.

Я всегда презирала бедную дурочку. Ее нынешние страдания кажутся мне преступными; своими слезами она словно оправдывает отца. Но у нее ведь больше нет ничего, кроме горя. А у меня нет никого, кроме нее. Значит, придется брать Мину вместе с ее горем.

Я отмою стены, найду врача для своей больной сестры. Кости младенцев, которых она родила, оставлю там, где они покоились до сих пор. Русский никому не расскажет об этом.

Ветер усиливается, гонит меня с моего места. Подталкивает: иди, займись домом! займись своей жизнью!

Я встаю и впервые понимаю, что наконец-то могу не оборачиваться. Дыхание отца каждую минуту обжигало мне затылок. Даже в полной тишине меня догонял его смех, его сиплый шепот. Теперь он исчез,

развеялся навсегда.

Какое счастье – позволить себе не оглядываться. Ни на отблески пожара, ни на свое прошлое, ни на других людей.

Нет кузнечика в траве. Жаба ползет, тяжело волоча свое грязное брюхо; от нее разит тиной и зловонием жирных болот; она крутит головой и открывает пасть, словно задыхаясь от ненависти. Но нет кузнечика в траве. Где он? Исчез. Быть может, укрылся в поле среди голубого цикория и ромашек. Или мчится по зеленым холмам. Или стоит на скале, заложив тонкие лапки за спину – глупый, свободный, живой.

Возле нашего дома заплаканная Мина сидит у ворот, прямо в пыли. Она смотрит на меня, и я вижу по ее глазам, как ей одиноко и страшно.

Я опускаюсь рядом с ней. Протягиваю перед собой кулак. Внутри слабо щекочется.

Я разжимаю пальцы. Хрупкое существо на моей ладони замирает, словно ошеломленное внезапной свободой.

– Кузнечик, – говорю я. – Смотри. Кузнечик.

Мина вздрагивает от неожиданности, услышав мой голос.

Кузнечик с силой отталкивается от моей руки и по огромной дуге уходит в вышину.